Волга

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ

Издается с января 1966 года
САРАТОВ

1-2 (472)

2018

СОДЕРЖАНИЕ

ПОЭЗИЯ И ПРОЗА

Дмитрий Гаричев. «Воспоминание» *и др. стихи*.....3
Григорий Стариковский. Плоскогорье *(боливийский дневник)*. *Повесть*.....10
Владимир Ермолаев. Чистая речь. *Стихи*.....29
Владимир Аристов. Жизнеутвердительные рассказы. *Из цикла «Жизнь незамечаемых людей»*.....37
Вадим Ярмолинец. Ключи. *Рассказ*.....50
Елена Сунцова. Ответный взмах. *Стихи*.....54
Анатолий Бузулукский. «Эгоист» *и др. рассказы*.....60
Янис Грантс. «Месяц» *и др. стихи*.....67
Вячеслав Харченко. Света-щука. Залом. *Рассказы*.....78
Евгения Изварина. «Через подтопленные плетни...» *и др. стихи*.....81
Гала Узрютова. «Снег, который я пропустил» *и др. рассказы*.....85
Алексей Порвин. «От сырости деревья пустотелы...» *и др. стихи*.....93
Михаил Бару. Уравнение воздушного поцелуя.....99
Сергей Слепухин. «Хор ангелов над цепью горной...» *и др. стихи*.....152

ДЕБЮТ

Андрей Дудко. «Лежатель Свиридович» *и др. рассказы*.....156

ВОСПОМИНАНИЯ

Сергей Боровиков. Мой театр.....181

ИЗ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Георгий Квантришвили. «В ладонях завтра»: *биография писателя Александра Кремлёва*.....199
Александр Кремлёв. Рассказы. *Публикация Георгия Квантришвили*.....206

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Игорь Караулов. Суровый стиль по-ржевски
Любовь Колесник. Мир Труд Май.....214

Марина Кузичева. «Тишина аки лев рыкающий...»
Андрей Тавров. Речи в огне (Дети Ра. 2017. № 5), Из Византии (Волга. 2017. № 9-10).....216

Лариса Сонина. Герой в интерьере
Ольга Славникова. Прыжок в длину (Знамя. 2017. № 7, 8).....218

Сергей Шиндин. «Шишига его смутил...»
Мандельштам О.Э. Собрание стихотворений 1906–1937 / Сост. О.А. Лекманова, М.А. Амелина, предисл. О.А. Лекманова, коммент. и библиогр. О.А. Лекманова, Е.А. Глуховской, А.А. Чабан.....220

АРХИВ

Ирина Тарасова. Мальдяк: история одного расстрела.....234

© «Волга», 2018

Дмитрий ГАРИЧЕВ

воспоминание

пока ещё был август за столом
и на земле всё тяжелело,
в том доме, где спала моя семья,
один и тот же слизень по ночам
являлся под рукой мне. ростом в четверть,
медноголовый, он совсем едва
качал рогами, телом же нисколько
не подвигался впредь на простыне,
как будто бы всего ему хватало
и некуда спешить. два первых раза
я руку отнимал, но дальше не умел
ни спрыгнуть, ни спиною повернуться,
не чувствуя в себе обычной связи,
и так лежал без мыслей ни о чём
и засыпал в поту. два первых дня
я через силу говорил с родными
о посетителе своём, и слышал
от них всё одинаково, что я
не холоден и не горяч, а тёпл
как прелый лист во всём ему знакомый
и так же неспособный к бегству. с тем
я проходил оставшееся время
на отвлечённой местности, пока что
дневная ось не прогорала в поле,
до жгущего истёршись волоска.

ночь вырастала у меня во рту
как яблоко, и что я мог сказать,
уже в своём лице подозревая
нарушенность и крови сладковатость
или щекой проваливаясь всей
к себе же в расслоённое предплечье.
на третий раз всё было как всегда:
рога вращались скупо, остальное
держалось без движенья, как всегда.
родные спали крепко, далеко.
в распахнутом саду кивала прелесть
и все деревья выше и честней
вытягивали горла, и тогда
я сел и встал, забрал свою одежду

Дмитрий Гаричев родился в 1987 году в г. Ногинске Московской области. Окончил МГЛУ, работает переводчиком. Стихи публиковались в журналах «Знамя», «Homo Legens», «Воздух».

и вышел прочь из дома, в сад и дальше,
за вешала и задние дворы
на чистое жнивьё, один как призывник.
отсюда можно было выбирать
любое направленье. шелуха
кралась в ногах, и близящихся звёзд
молочная взмокала толкотня.
но медлить было некогда, и здесь же
я продолжал, что начато. я шёл
за зерноток, за дикие купальни
и силосные крепости, и дальше
за оба кладбища. я шёл так долго,
как может только тот, кто прав и твёрд,
и этой утверждённой правоте
не хочется ни имени, ни дома.

напишем так, что лучшее сбылось.
все новости погашены подавно,
дороги спутаны, и ни о чём
нет ясности в траве и на камнях.
вводи войска, никто меня не сдаст.
никто не скажет, как меня зовут
и где мой адрес в этой ровной тьме.
пусть доносящиеся голоса
как поезда, идут на юг и дальше.

maldoror

с того места, как ты умерла
ни гвоздя, ни шнурка, ни сверла
встанешь осенью крепкой нежданской
отменённые листья дрочить
ни штыком, ни отвёрткой гражданской
не пришлось мне тебя приручить
ничего не случилось на свете
шильца-щупальца, зеркальца эти
стернотом закалённый во льду
никого не имеют в виду

золотая воркует ничья
из господних карманов течмя
с хлопким вымпелом в поймах утиных
с лыжной палкою ли наголо
слышь заложница, там на плотинах
обрушается всё что могло
выше щиколотки и колена
вырастает алмазная пена
сети блещут по обе руки
в подземельях щебечут станки

***

что гайдар ночей не спал, а мать кормила
грудью губернаторских собак
за пакет крупы, осколок мыла,
чтобы в бургеркинг или макдак
шли теперь все выблядки из тыла –
в это мне не верится никак.

или чтоб с ветвями краснотала
ради поруганья от ментов
выдвигались против капитала
несколько гуманитарных ртов –
нам носили хлопья из подвала,
тоже примириться не готов.

страшно ждать заказа, но сдаётся
общий счётчик, женщина смеётся
как ещё до обнуленья лет,
но и в забытьи не признаётся:
просто лучшего у мира нет.
будь же ласков, сядь же вместе с ней:
здесь твоя положена расплата
слаще крови пролетариата,
обморока школьного честней.

***

мальчику не жалко лётчиков
там разбитых или пленных
денег ни на что проглотчиков
от больниц и школ бесхлебных

вместо новых книг для чтения
или тех же простыней
только видно превращение
в камни зданий, в пыль камней

здесь же держатся по самое
каждая палата ссаная
каждый класс шнурком подвязанный
над собой стишок рассказанный
жердь косая спортплощадная
перекличка беспощадная
стёганая безоконщина
но и с ними будет кончено

***

выбывают чужие друзья как один мудак, а мои не так
не с тифозных сквотов с именами как у котов
не с отшельных урочищ по грудь в хвоще, не из свободы вообще

а менты из-за армии, сисадмины под козырьком
ни о лающем гарме, ни о хармсе хотя б каком
если кто и гонял что из зарубежной, то не вдуплял
если кто и стоял при манежной, то оцеплял

ладно что спелеолог, переводчик неловкий куда ни шёл
но и с этих отчёт недолог, и слог тяжёл
наградные листы, приключенье одной кисты
но на всех и не было спрошено красоты

словно бы на площадку, где нечего больше жечь, сам несёшь деревянный меч
и картонный шлем, несколько газет, связку аудиокассет
для сухого пламени на двоих, чтобы не оставило здесь возню
за простую музыку для своих, кто не спросит, за всю русню

К.

после всех собак, бегущих утром
стрельб неловких, вспышек ножевых
это мы теперь в порядке ртутном
выдвигаемся за всех живых

не плечом, а только что губами
к ягодам, впитавшим черноту
над химическими погребами
пачкаясь и сталкиваясь лбами
пропадаем как в чужом порту

сколько в эту землю ни воткнули,
что-то ещё можно говорить,
в октябре, как в ледяном июле
зыбкий чай на месте заварить
но из раненого промежутка
пахнет щёлоком, и каждый раз
досягает смех и прибаутка
человека, ко́рмящего нас

неизвестно, где в его работе
примененье наше, каково
пар над полем, ржавчину в болоте
удержать вот так руке его
сколько заплатили вестовому,
почему закуплен перегной
ничего не нужно знать живому
жалостью затянутой одной

***

нет крови в нас, и дети не стоят:
на стянутых шарфах несут со стадиона,
расстёгнутых по темечко бесцветно.

один, один туберкулёзный сок
гуляет как подкошенный внутри.

всё, говорят, от лиственниц; во всём
одна и та же притча, как на спичках.
смотри теперь, как моль над самым парком
рисует пепловатые круги,
какое у неё соревнованье.
пусть объявляют, что хотят,
трубят в пластмасску и трещотку вертят,
а ты не слушай и не отвечай.
наступит ночь, и все они уйдут.

уже возможно не запоминать
ни грубых клятв, ни флага городского,
ни прозвища для скорости какого,
ни пальцы как попало разминать.
на летнюю эстраду в ледяной
уже обёртке, чтобы не смеяться,
живая девочка, всему свидетель,
в последний раз стесняется взойти.

А.

что тебе объясню, смотри:
выше твоей страны
звери носят льдины с огнём внутри,
и алмазные лыжи навострены,
выгнаны марсовы пузыри,
нет никакой стены.

так и взялось у нас оргстекло,
тоже скажем и пенопласт,
ртуть разожжённая повезло
к потолку поднялась,
блёстки на жвачке, в снегу бинты.
запоминай и ты:
эти цветы не для красоты,
ночь не для темноты.

раньше космос сложится позарез
и планеты с полок падут,
а лайтбоксы всё же на азс
не устанут гореть в аду.
мы прочесть не можем их букв святых,
все слезится, лопаются ремни,
но и нас не гасят, пока они
принимают нас за своих.

***

турники обглоданы в снегу, черная напачкана помада
сколько видно здесь на берегу, ничего не стыдно мне, не надо

стыдно было павича дарить, есть еду из курского вокзала
а с детьми под путиным ходить, так ещё природа подсказала

девушка безумная, о чём ты поешь и делаешь плечом
словно бы в двухтысячном году мы стоим навеки на пруду

смотрим влюблены в нечёткий лёд, нас пугают колья автошколы
а любая власть с хлопком падёт от карбида в банке из-под колы

***

на кругу, когда уже невзвидишь
у отметки своего следа
ласточек над клочьями чирлидерш
всё же что-то прощено всегда

август на плакатах, копья тёплы
пыль построена наверняка
на трибун дырявые костёлы
долго опускается рука

тренер говорит, как это больно
но никто не слышит ничего
чистят перья, мяч берут футбольный
ночь приходит высосать его

***

школьницы возвращаются по двое через небрежный лес
к прежним баракам, можно только смотреть.

просека ли совьется, сера ли нападет,
сказано, я ничего для них не могу.

можно смотреть: они покупают сок,
перебегают рельсы, не дотерпев;
ходят на тайку, чтобы мочь выбирать
или не выбирать.

каждое воскресенье, или через одно,
их отцов выносят во двор, но они стоят ни при чём.

на кровавых акциях в честь основных свобод
лица их на открытках как ярый воск.

плейлисты их и геотеги мимо меня;
новые их стихи лучше, чем у меня.

клены железные, глиняные вереи
пусть сохранят меня.

***

что было взять с домашних и собрать
в посуду разрешенную, мы взяли:
слюну и воск, и сукровичный взнос,
полостяного ила образцы,
из-под белья их суточную пену,
мокроты лепестки, и от ногтей
слепые плёнки, словно бы едва
новорождённые, песок и дёготь
ещё идущий, кожи лоскутки
и узелки волос, и отнесли
такую жертву, как нам объяснили,
на чистый стол с восьми до десяти,
не называя вслух, в чём наша просьба,
и вспять не оборачиваясь к ним.

теперь они построили здесь дом
канадский, если не бельгийский,
отмыли двор, поставили деревья,
на фонари приделали цепей,
и с чем бы мы сюда не притекли,
нам нет приёма ни в какое время.
рожок почтовый оглашает утро,
но прошлая немеряная дань
из-под панелей каплет и теплеет,
на поручнях висит, с краёв течёт,
скользит под пальцами, в глаза смеётся,
как дурочка гремит себе ключами
и тёмным детям в ёлочном окне
подсказывает, как же откупиться.

Григорий СТАРИКОВСКИЙ

ПЛОСКОГОРЬЕ
(боливийский дневник)

Повесть

> *If there is one question I dread, to which I have never been able to invent a satisfactory reply, it is the question what I am doing.*
>
> Samuel Beckett, *Molloy*

3 июля, ла-пас, дворик в пансионе

ночью в номере холодно. отопители есть, газовые, но их надо заказывать у консьержа. в комнате две кровати. моя – возле окна, выходящего на задворки. на другой кровати спит тио. я проснулся за полночь. одеяло не согревало, пришлось надеть рейтузы и рубашку. включил ночник и взглянул на тио: четкие контуры склоненного набок узкого лица на коричневой наволочке. утром я принял душ, отогрелся теплой водой. зябкое утро, изо рта идет пар. клочья пара над верхней губой тио, светлые волосы льются на плечи, гибкость движений, которую я не замечал прежде. отдаленность промытого взгляда. мне нравится его голос, валлийский выговор – эластичный бинт, который можно растягивать без конца.

весь отряд – двенадцать школьниц из выпускного класса. тио – руководитель группы, я – помощник, присматривающий за девушками, что-то вроде дуэньи. девушки сидят на серой с розовыми прожилками плитке внутреннего дворика, играют в карты. они разделись до маек: стены еще держат утреннюю стылость, но солнце начинает припекать. девушки бойко и небрежно разговаривают между собой. росплеск восклицательных капель, исчезающих в тот момент, когда слово вылетает изо рта. обшарпанные стены внутреннего дворика, урчание голубей на крыше. здание пансиона некогда принадлежало президенту боливии генералу пандо. блеклый снимок висит на стене. генерал позирует в парадном мундире, в высокой каске прусского образца. грудь покрыта медалями, как чешуей. девушки говорят мне: *эй, док* (*док* или *стар*, так они называют меня) *что*

Григорий Стариковский родился (1971) и вырос в Москве. В США с 1992 года. Закончил Колумбийский Университет (кафедра классической филологии). Переводил «Одиссею» (песни 9-12), Пиндара, Вергилия, Проперция, Авла Персия. Сборники стихов «Левиты и певцы» (2013) и «Автономный источник» (2017). Живет в пригороде Нью-Йорка. Преподает латынь и мифологию. В «Волге» публиковались стихи (2014, 2016, 2017) и повести (под псевдонимом Герман Бер: 2015, 2016).

у нас сегодня на обед? мы с тио собираемся в супермаркет. я радуюсь, что могу выйти наружу, избавиться от ничего не значащих слов.

возле входа в супермаркет, с обеих сторон установлены двухметровые динамики. человек с гитарой, в пестром костюме и черной шляпе клекотно славит ассортимент. проходим вдоль стеллажей, мимо шоколадок в потускневших обертках с видами города: на небоскребы наползает, как ленивая, почти распластанная волна, отставшая от плитки шоколада, закраина фольги. движемся мимо желто-коричневых упаковок с растворимым кофе, коробочек с печеньями, с наполнителем и без. тио ведет меня в колбасно-сырный отдел. покупаем свиной колбасы и солоноватого сыра. старательно выговариваю испанские числительные: пятьсот, восемьсот, еще пятьсот. на кассе работает женщина. терракотовый цвет ее лица. на узкой переносице приплюснутые очки сидят, как бабочка на кусте сирени. лицо вытянутое, необычное, подвижное. тонкие руки подбирают покупки и скользящим движением проносят над сканером. её смущение, когда я сказал что-то расторопно-нескромное. на улице я спросил тио: ты заметил, какая она красивая, эта женщина? тио набил рот катышами сырной булочки; я не разобрал смысла зажеванных слов. потом, когда мы вернулись в пансион, я поинтересовался, что именно пробубнил он на обратном пути из супермаркета. тио попросил напомнить, о чем мы говорили. я подсказал, что мы говорили о кассирше. он ответил: *она – чрезвычайно приятная женщина*.

вечером в комнате

медленное, холодное скольжение по рукавам переулков с крошащейся штукатуркой домов, над рытвинами мостовых, сквозь накопленный холод вечера. в ремонтной мастерской вскрикивает дрель, как испугавшийся ребенок. затупленность перекрестков. они – как старые столовые ножи, которые некому наточить. единственный острый угол здесь – между небом и городом, скользящим вниз по авениде – к памятникам боливару и колумбу. мы находимся в промежутке между холодным сводом, склоном и глупой надписью на постаменте первооткрывателя: *navigare necesse est, vivere non necesse* (лучше плыть, чем жить, или что-то в этом роде). небо – крышка табакерки, вот-вот захлопнется. я дышу городской гадостью, повисшей в воздухе. оглядываюсь в поисках деревьев.

бездомные боливийские псы на перекрестке. грязные, беспризорные, вальяжные бестии. не лают, не гоняются за голубями. псиное сознание принадлежности и назначения. застывают, приподняв головы. мы выхватываем псов взглядом из городской сутолоки и радуемся встрече. экспедиционные девушки в теплых курточках, шерстяных шапочках, любящие красивое, вскрикивают: *ой, какой хорошенький, усыновить бы такого.* хотят подойти, погладить, прижаться к псиной морде, но я предупреждаю: близко не подходите, вдруг собака бешеная. девушки останавливаются, оборачиваются на мой голос. всё портит тио, который треплет за ухом клочковатого пса с впалыми боками. девушки топают ножками и канючат: *вы не разрешаете, а тио приласкал другого*. не забывайте, увиливаю я, что тио – королевский морской пехотинец, а вы – барышни из пряничного городка, вам ещё школу закончить надо. говорю всё это, а сам бы зарылся лицом в глубокую, грязную шерсть. тио скармливает псу орешки в шоколаде. я спросил его, почему он приласкивает бездомных псов, неужели не боится быть укушенным. тио улыбнулся, прищурил глаза. *ты не думай об этом, док*, сказал он, но послышалось – *дог*, т.е. *пес*, как будто он назвал меня *собакой*.

4 июля, ла-пас, кафе на площади возле собора

город назван в честь приснодевы. девы мира. госпожа маршруток и пассажиров, пригнанных друг к другу, как гладко отполированные камни, из которых инки возводили стены своих дворцов.

чолита сидит на перевернутом ведре. звонкая монета в её туеске. пирожками торгует, запекает внутрь кусочки куриного белого мяса, обжаренные в масле. всеблагая дева – гора, в сапогах из гудрона. он разлит разнорабочими в бурых комбинезонах – вязкие резиновые сапоги, которым нет сноса. гора, дым из-за пазухи, с дальнего склона, где жгут кустарник. духовитый дым доносится оттуда. гнется и мнется в огне кустарник, беснуются в пламени змейки, искры сыплются на бархат паучьих спин. птицы-пересмешницы, чьих голосов никто не услышит. дым продлевает запах их жизней. голова горы утопает в белой шерсти, как в белом колпаке из немецких сказок. колпак натянули на глаза, до подбородка. отрубили руки, бросили на прокорм свиньям. гора ничего не видит, ни города, который льется по склону медленным потоком кирпичных домов, мостовых в оспинах рытвин, ни девы марии. она обходит город из конца в конец, от автовокзала до офицерской школы в ирпави, до эстадио олимпико и городского парка в районе чикас. дева, в длинном платье с расшитым подолом и рукавами. налитые оливковые запястья из твердой породы деревьев, вот на что уходит бескровное мясо стволов. чолита, пчелка, снующая по городу, как челнок на ткацком станке, сквозь поток машин, – забежать в собор св. франциска, постоять перед алтарем, наплакаться вдоволь. она плачет, а мы проходим мимо, любуемся старинными сводами, статуей святого яго на коне в расцвеченном облачении. святой препоясан алым кушаком. яркость его одежд застит взгляд. чолита утирает слезу черным рукавом. мы делаем вид, что не видим её. я останавливаюсь перед разрисованной статуей девы с пунцовощеким младенцем на коленях и ставлю свечку. странная нежность, с которой она смотрит на сына или, наоборот, смотрит в себя, как иногда смотрят молодые матери на детских площадках, пока ребенок возится в песочнице.

чолита выскальзывает из собора. вниз по авениде мчится фургон. люди в военной форме сидят на железной скамейке в кузове или стоят на полусогнутых ногах, держась за поручни. раскормленные задницы повисают в воздухе, в почти свободном парении. семенящими шагами чолита переходит авениду в том месте, где регулировщик размахивает руками, пытаясь остановить транспортный поток двумя-тремя хлипкими жестами. тио говорит, посмеиваясь: *хорошо, что вообще не убили, не переехали маршруткой раз двадцать туда и обратно*. он перебегает авениду и оказывается на солнечной стороне, а я остаюсь на этой, жду зеленого сигнала. тио оборачивается, отыскивает меня глазами и смеется. догоняю и говорю, как будто оправдываюсь, что никогда не перехожу улицу на красный свет. он улыбается: *в этом городе цвет светофора не имеет значения, нет ни красного, ни зеленого.* чолита семенит в сторону пешеходной улицы, прошмыгивает под мостом, наконец, оказывается на сокабае, подходит к длинному столу, подменяет другую чолиту, похожую на себя, не перемолвившись даже словом. другая уходит не простившись (*не приподнявши котелка*, сказал бы поэт... чолиты действительно носят котелки на темени, в которые не поместилась бы даже голова младенца), а эта садится и ждет покупателей.

сидит без движения, иногда показывает на пальцах цену товара, разгибая-загибая маленькие грязные пальцы. тио видит зеленые пакетики с орешками в шоколаде. глаза его загораются. спрашивает, наклоняясь к чолите, сколько стоит арахис. тогда её известняковое тело тоже наклоняется к нему. чолита делает над собой усилие и улыбается. так, наверное, улыбались бы камни, если бы у них были рты. отвечает, выдыхая в щелку рта, показывает на пальцах – *семь*. шепчу, наклоняясь к тио, слышу его дыхание: обязательно поторгуйся. первый начинаю сбивать цену, прошу уступить пакетик за пять боливиано, но чолита презрительно качает головой. тио отсчитывает семь монет, берет пакетик с арахисом, отсыпает несколько орешков мне на ладонь. я забрасываю всё это в рот, чувствую, как подтаивает шоколад под языком и возле правой щеки. возвращаюсь к столу и покупаю, не торгуясь, шапку с названием страны, вытканным серыми буквами по белому полю шерсти.

город просачивается в щели вечера, накрывается одеялом сумеречного неба. то, что прежде представлялось обжитым, почти родным, оказывается ничейным, чужим. лицо чолиты глупеет, голос слепого певца, который исполняет народные песни, прислонясь спиной к витрине магазина игрушек, надламывается, как тонкий слой льда. сидим с тио в кафе. наблюдаю, как отламывает он кусок сырной булочки, как подливает молоко в чай, неторопливо допивает. через две недели я перестану существовать для него даже как нечаянное воспоминание, как будто от моего присутствия можно очистить память. всё равно что выключить электричество в комнате. внутри меня выключают свет, темнота льется наружу сквозь глаза, и рот, и ушные раковины. я больше не принадлежу себе.

5 июля, эль-альто, на обратном пути с проекта

до места добирались по канатной дороге, потом на автобусе. вагон фуникулера над городом, из нижней точки в верхнюю. остановки две, первая – кладбище, вторая (и последняя) – наша. в вагоне помещаются шестеро. девушки восхищаются видами. внизу пестрые надгробья, колумбарии, дальше – двухэтажные строения из оранжевого кирпича. последний отрезок – подъем вдоль скалистого обрыва. с высоты игрушечные формы домов и очертания людей кажутся неправдоподобными: янтарно-коричневое изображение, нарисованное на отлогом склоне. наклейка на окне вагона – луноликая физиономия президента моралеса, он как будто подглядывает за нами снаружи, облизанный горным воздухом. лоб прикрыт челкой, взгляд тяжелый. улыбка натянутая, хищная, чуть скошенная, пузырятся скулы. на бычьей шее моралеса разноцветная гирлянда. возле остановки фуникулера нас ждут два автобуса. водители – то ли родственники, то ли друзья – везут до места сегодняшнего проекта. мчатся, соперничая друг с другом. обгоняющий привстает, высовывает голову в открытое окно. кричит, выдавливая из себя смех, как давят созревший прыщ. они нас убьют, думаю я.

работали на окраине эль-альто. разбирали камни. маленькие и средние – в одну кучу, большие – в другую. красили стены нового дома, сперва белой краской в два слоя, потом – желтой, тоже в два. первый еще не успел высохнуть, когда начали накладывать второй. тио тоже красил, окунал валик в ведро с краской. встряхивал, чтобы не капало на пол. прилагал губчатую поверхность к стене и неспешно раскатывал, покрывая белое белым. хозяйку дома зовут навидад, как в латиноамериканской песне, которую транслируют на рождество. в спальне, куда мы сложили рюкзаки и сумки с бутербродами, висел плакат: иисус обращается к овечке. овечка, кажется, тоже хочет что-то сказать. внучку старухи, девочку с отсохшей рукой, зовут луз, т.е. свет. наши девушки обнимали её по очереди. потом подарили оранжевую тишотку. *спасибо-спасибо-спасибо,* – проговаривала она единственное английское слово, которое знала.

двор был замусорен: поломанные игрушки, ржавые остовы велосипедов, дюжина покрышек. по двору расхаживали две пушистые кошечки. куратор проекта – адриана, молодая женщина. джинсы в обтяжку, рубашка навыпуск, приоткрытая сверху. когда она смеется, верхняя губа поднимается над розовой десной. по-английски говорит неуверенно и нараспев. она взяла кисть, обмочила в краске, несколько раз провела по стене и отошла в сторону. тио долго разговаривал с ней. я слышал настойчивый щебет тио и смех адрианы, похожий на звук, который издает вода, когда ее переливают из одного сосуда в другой. оголялась розовая десна. тио протянул ей свою фляжку с отфильтрованной водой. адриана отпила из неё. в обеденный перерыв я отдал тио все бутерброды с огурцами и сыром. аппетита не было, пусть сам всё съедает. попробовав бутерброд, который я приготовил, тио сказал, что давно не едал ничего вкуснее. сказал из вежливости, но я обрадовался, приняв на свой счет. после перерыва я тоже красил стены. понравилось раскатывать валик по ровной поверхности, постепенно менять её цвет.

пансион в ла-пасе

вечером вышли на авениду. *давай здесь расположимся*, предложил тио, указав на раскладные стульчики возле серой стены. рядом сидела толстая чолита в цветастом платье. в огромном чане на жарком медном дне – гамбургеры, как изрытые оспой индейские лица. глазуньи, как тусклые желтые солнца в белом влажном нимбе; кусочки пахнущей маслом жареной картошки. в кастрюле, обмотанной пляжным полотенцем с дельфином, распаренный белый рис. салат из свеклы и моркови в глубокой миске. чолита наполнила наши тарелки. мы сели на стульчики возле стены. его левое плечо соприкасалось с моим правым. я подхватывал свекольно-морковный салат пластмассовой ложечкой, но не всё доносил до рта: кубики свеклы падали на тротуар. мы сидели низко, на уровне бедер идущих мимо. люди выходили из толпы, как актеры на сцену, садились на стульчики, перекусывали на скорую руку, поднимались, расплачивались, исчезали в толпе. поток пешеходов уносил их вверх по авениде. мы никуда не торопились, не стыдились медленной трапезы. я наблюдал за пешеходами снизу. освещенные разреженным фонарным светом, они казались сгустками темного тумана. темные пятна их туловищ наливались иными смыслами, о которых я мог только догадываться.

тио нахваливал содержимое своей тарелки. я хотел расспросить его об афганской войне. осторожно, как бы издалека, заводил речь о службе в королевской морской пехоте. на все мои попытки разговорить тио, он отвечал: *да уж, война – дело невеселое*. даже когда я рассказал ему о своем приятеле майкле, который погиб в кандагаре, когда ракетой подбили его вертолет, о разведенных родителях майкла, о матери, у которой, кроме майкла, никого не было, и что толку, что он похоронен в арлингтоне, жил бы и жил ещё. даже когда я рассказал о майкле, тио промолчал, нахмурился и посмотрел в вечереющее небо. потом повторил: *невеселое это дело*. тогда я спросил его о другом: ты всё время проводишь в экспедициях, у тебя нет ни дома, ни людей, к которым ты хотел бы вернуться. скажи мне, где твоё место, тио? он помолчал немного, дожевывая кусок гамбургера. я не сразу поверил в серьезность его слов: *тот, кто думает, что нашел своё место в мире, поднимает руки перед дулом игрушечного ружья. у человека постоянное место может быть только там*, он направил указательный палец вниз, к земле, *а здесь ничего постоянного не бывает. понимаешь?* – да, кажется, понимаю, – ответил я.

6 июля, эль-альто

мгновенное сходство тио с лемешевым, исполняющим партию ленского или поющим итальянскую песню. в глазах матовая лемешевская грусть. я смотрел на него и вспоминал слова итальянской песни: *очей прелестных огонь я обожаю*. мне холодно, когда я подолгу нахожусь рядом с ним. знобит, точно я зашел в ледяную реку. его вытянутое, кукольное лемешевское лицо, вьющиеся льняные кудри; тело, похожее на саженец яблони.

сегодня наша группа работала на окраине. через две улицы город заканчивался, начиналось голое плоскогорье. на горизонте оно соприкасалось с небом, точнее, прижималось к нему, как младенец – к материнской груди. если бы я был один, взял бы рюкзак и ушел не оглядываясь, настолько тянула к себе ясность плоскогорья в клочьях коричневой промерзлой травы. мы расчищали подъезд к воротам. грузили щебень на тачки, везли к вымоине. ко мне подходили местные жители, тыкали пальцами в листовку, запрещавшую сваливать мусор на общественной территории, особенно в промоине, в которую выходили трубы, кажется, канализационные. я отвечал: я здесь не хозяин, а хозяин вон там. указывал в сторону нашей бригады. девушки снова красили стены, в той же очередности, сперва в белый, потом в желтый цвет. хитрые глаза хозяйки, как горные расщелины. настороженная пронырливость. она была похожа на тесто, всходящее на дрожжах.

повсюду рыскала и командовала. я толкал тачку по разбитой дороге, балансируя на досках, проложенных над ямами. после нескольких ездок заныли запястья, пальцы не сжимались в кулак. я передал тачку другим. посмотрел на себя в зеркало: в белой строительной каске и в темных очках производил впечатление сильного человека.

обедали с тио. поделили батон хлеба и кусок соленого сыра. *люблю такой сыр*, – сказал он. после перерыва работали во дворе, разрыхляли затвердевшую, насыпанную горкой землю. сложносоставной строительный мусор, с камнями, кусками кирпичей, проволокой. тио раздрабливал землю заступом. опускал острие, вкладывая в движение пружинистую упругость тела. разгибался легко, как хорошо смазанный складной ножик. снова опускал заступ. я стоял рядом, мельчил землю лопатой, проталкивал размягченную в сторону девушек, которые нагружали корытца тачек, а потом отвозили к промоине. я не смотрел на тио, но слышал, как дробит он землю. его движения напоминали работу маятника. я хотел вжиться в его ритм, чтобы моя лопата и его заступ погружались в грунт одновременно.

подошла адриана, попросила тио расписаться в ведомости. он поставил подпись. не сказав ни слова. отвернулся, продолжил работать. его полное безразличие к адриане, его безразличие вообще... если бы даже вся наша группа превратилась в камни, он не повел бы бровью. тио сияет далеким светом, а я живу в темноте мира. я – один из тех, которые рождаются из ручьев, долин, пещер, деревьев и гор. я – человек без кожи, плод, с которого сняли кожуру. так называют индейцы чужаков: обескоженный. я – тот, который остается ждать своей участи на склоне полузатопленной горы, когда мимо плывет ковчег с избранными. мне оставлены осязанье, зренье и слух, чтобы видеть и слышать свою немощь, чувствовать прикосновение его прохладной руки в пожатии, как холодный свет издалека.

вечером вышли прогуляться по авениде – до собора и обратно. муравьиный аллюр индейцев в замшевых куртках и широкополых шляпах. от этих каменнолицых людей остаются лишь очерки жестов. всё тонет в смуглом, скуластом вареве. мы с тио плывем по течению улицы, пойманные в потоке. бездумье города, полуразбитые дома, ступени там, где не должно быть ступеней. свадебный торт в немытой витрине пошивочной мастерской. продавцы игрушечных гоночных машинок на мосту над авенидой. строгие дамы в пунктах обмена рассматривают банкноты в увеличительные стекла. голуби на карнизах, собачье дерьмо на позолоченном, вживленном в асфальт круглом щитке с крылатою фразой поэта.

7 июля, ла-пас, столовая в пансионе

две работницы в накрахмаленных передниках. одна подходит совсем близко. внимание сосредоточено на оладье, оставшейся после завтрака. ловко подхватывает блюдце с холодной оладьей. передает своей подруге. осколки их разговора. неприятное чувство узнавания. расползание шва, обнаружение испода памяти. как будто я уже слышал подобный перезвон голосов, со ржавчинкой. вспоминаю сквозной хохоток продавщиц в филевском гастрономе или случайно подслушанный разговор в метро на давно переименованной станции. память играет со мной злую шутку. воспоминания леденят меня. лучше – сахарное беспамятство, иногда оно вяжет язык, как плоды шелковицы. каждый, кто помнит себя другим, и других – другими, принимает (принял) в наследие серый свод безысходности. он навсегда остался где-то там, возле кассы мясного отдела, в вечном, соляном ожидании, когда, наконец, ему выбьют чек на полкило докторской колбасы... работницы уходят на кухню. мимо пробегает масляноглазый бразилец, совладелец пансиона. на ходу говорит (голос потрескивает, как поленья, обглоданные огнем): *девушки из вашей группы – молоденькие, свеженькие*. взгляд его влажный. с каким удовольствием я бы выцарапал ему глаза...

утром дал себе слово не думать о тио. даже когда он явился из душевой, обтянув бедра белым махровым полотенцем, едва доходившим до колен. я отвернулся. занялся бутербродами, кромсал тупым ножом водянистый огурец, больше похожий на рыбу, чем на овощ. пока тио натягивал джинсы и нырял в тишотку, а потом – в вязаный свитер, бутерброды были готовы: кроме огурцов, ветчина розовела между ломтями хлеба. бутерброды сложил в отдельную сумочку. мы сидели в разных автобусах. водитель слушал музыку: негритянский рэппер материл бывшую подружку. эль-альто, освеченный ярким солнцем. дорога узкая, вдоль обрыва. туман выстилал дно пропасти.

вершина горы похожа на надломленную арку со скалистыми наростами, изъеденными дождями и ветром. гора как бы проглатывала свой вогнутый склон. кажется, что поселок находится внутри неё. я и еще три девушки рыли траншею, в которую потом должны были насыпать битый камень и залить цементный раствор. хозяйку, оплывшую чолиту, звали мартой. сыновей двое, старший – диего, младший – альваро, тонкий, подвижный мальчик. моя шапка с длинным козырьком и отворотом сзади закрывала половину лица и шею. нос, надгубье и подбородок помазал кремом. я разламывал каменистую почву заступом. работал тяжело и медленно. адриана стояла рядом. иногда я спрашивал её, указывая на какой-нибудь предмет, как он называется по-испански, – заступ, лопата, ведро, кирпич, камни. лопата по-испански *пала*.

почва сопротивлялась вросшими в неё камнями, жирными узлами корней. девушки пытались подрубить корни лопатами. осьминожья корней выскальзывали из-под ударов невредимыми, цепляясь за камушки, за другие корни. траншею рыли вдоль красной нити, натянутой между двумя кольями. траншея по-испански *фосо*. испанское слово ласкает ротовую полость. хозяин дома (лицо покрыто морщинами, настолько частыми, что кожа между ними похожа на струпья) подбежал ко мне, выхватил заступ и принялся исправлять наработанное. крошил оставленные зазубрины. мы с девушками смотрели, как цепко заступ врезался в землю, выравнивая траншею, размалывая корни в жидкую кашицу. другие девушки под руководством тио носили кирпичи на двор. чумазый альваро шнырял между нами. адриана приобняла мальчика и усадила рядом. она угощала его консервированными персиками. я спросил её, как называется персиковый сок по-испански. она ответила вопросом: *что же не играет с ним никто*? я пожал плечами: хотите, я поиграю? отец альваро выровнял траншею. снял широкополую шляпу, поклонился и поблагодарил за работу, которую выполнил сам.

идите вон туда, – сказала адриана, указав на насыпь, – *поиграйтесь, вот вам летающая тарелка*. по краям насыпи росли голубые и оранжевые цветы. я сорвал оранжевый и положил в карман. я запустил фризби первым. альваро поймал, мягко прихлопнув её обеими руками (так ловят моль на лету, чтобы не испачкать ладоней), ломким голоском проверещал: *кочабамба*! потом я крикнул, изловив пущенную им тарелку: потоси! – *да, да, потоси*, закивал альваро. мы по очереди выкрикивали имена стран и городов. *перу*, кричал он. чили, – отвечал я. потом он воскликнул *алеманья* и захотел играть в футбол. побежал домой и принес мяч. мы поднялись чуть выше. играли на отрезке грунтовой дороги. грунтовка с одной стороны примыкала к отлогому каменистому склону, с другой обрывалась в неглубокий овражец, дно было выстлано мусором – пластмассовыми бутылками, ношеными вещами, предметами, не нужными никому. играл он увертливо, обводил легко, хоть и был болезненно-тонок, как тростина. я глотал красноватую пыль и сплевывал. на высоте четыре тысячи метров не очень-то побегаешь. альваро хитрил, бил по мячу, тот ударялся о каменный склон, отпрыгивал и пролетал между камушками-штангами моих ворот. когда он забивал, ударял себя в грудь и выкрикивал яростно *мюллер*, или какую-нибудь другую футбольную фамилию. когда я забил первый и последний раз, тоже ударил себя в грудь. месси, месси, – хрипел я, пока хватало воздуха.

приехали микроавтобусы. перед отъездом пригласили сделать групповую фотографию на пригорке возле дома. отец альваро выразил благодарность, объяснив, почему его семья нуждается в помощи благотворительной организации. я понял не всё, вернее, не хотел поверить, что понял. адриана перевела и объяснила, почему мы здесь работали. девушки пожелали сняться с альваро на память. сперва он отказывался, потом согласился. они обнимали его и улыбались в объектив. я подошел к адриане, прислонившейся к дверной притолоке. в руке она держала тарелку с яичницей-глазуньей и вареным ямсом. она сказала – *на вот, попробуй, марта готовила*. я достал из рюкзака походную ложку. нежный вкус разваренного картофеля. тио окликнул меня: *эй, стар, водители ждут. пора возвращаться*. я поблагодарил адриану за угощение и вспомнил, что не попрощался с альваро. альваро сидел на пригорке, подперев голову кулачком. увидев меня, он поднялся с земли. весь, как тростина, тоненький. мы обнялись.

в вагоне канатной дороги я сидел напротив офицера. на коленях он держал коробку овсяных хлопьев. рядом сидела толстощекая девочка. я достал из кармана упаковку салфеток. вытирал слезы, которые выкатывались из-под темных очков на щеки, к уголкам рта. военный смотрел в окно. девочка с интересом разглядывала меня. стыдно мне не было. мало ли о чем может плакать взрослый человек? когда я приехал на конечную, вся группа была в сборе. девушки помалкивали. я снял солнцезащитные очки. тио спросил: *тебе нездоровится? хочешь, зайдем в аптеку?* – нет, не надо, ответил я, – но выпил бы немного воды. он протянул мне свою фляжку. я сделал несколько глотков, впитывая вместе с водой холод алюминиевого горлышка.

8 июля, ла-пас, столовая в пансионе

вечером в столовую сходятся обитатели пансиона. спросил одного в синей водолазке: вы говорите по-английски? – *немного*. – куда относят использованные чашки? кто убирает их со столов? он пожал плечами, ничего не сказал. скандинавы крикливы. стучат кулаками по столешницам, соревнуются, кто больше выпьет пива. сижу на четвертом этаже, слышу, что происходит на первом. внизу заговорил тио, голос просачивается сквозь зазоры выкриков. скандинавы белокуры. голубые глаза ангелов, русые бороды вьются. среди обитателей я – самый старший, местная знаменитость. со мной здороваются консьержи, знают мою фамилию, вернее, то, что осталось от неё при сокращении. *what's up, star? how's life in the fast lane, star*? спрашивают девушки из нашей группы. *стар* – не маркировка возраста, но – светило небесное. экспедиционные девушки, наоборот, самые юные. я присматриваю за ними. присматривал бы, если бы не было всё равно. пусть делают, что хотят, жуют листья коки или пьют виски, лишь бы на глаза не попадались. мимо проходят две наши девушки. *что делаешь, стар, всё пишешь*? – ну, пишу. – *спать скоро пойдешь*? – звезды не спят, отвечаю. смеются, дурочки. слышу, как тио внизу говорит по телефону.

сегодня остались в городе. я сказал тио: собираюсь в музей, до обеда вернусь. он напросился сопутствовать. мы пошли вниз по авениде. встретили местных подростков в костюмах зебр. они толпились возле офисного здания. навязываются, лезут обниматься. тио захотел сфотографироваться с ними. две зебры стояли между нами, одна приобняла меня, другая – тио. тио проверил снимок. *тебя чего, улыбаться в твоей стране не научили?* – в какой стране? – переспросил я. мы спускались по авениде, вдоль бульвара, мимо памятника венесуэльскому герою. я рассказал всё, что знал о боливаре: интересно, как жить в стране, названной в честь человека, который не желал её создания? – *странная история*, согласился тио. его услужливая, обволакивающая учтивость. вскоре мы увидели статую колумба. золоченая латинская надпись на высоком постаменте. я перевел надпись на английский. *глубоко сказано,* отреагировал тио, как будто отбил ракеткой невидимый теннисный мячик. я вспомнил французский фильм. во время отлива на гладкую сторону камня наклеивают плакат с фотографией человека. на следующий день люди, которые наклеили

плакат, возвращаются и видят голую поверхность камня. море слизало изображение. тио, как волны, слизывает мои слова.

в музее он скучал. я разглядывал изваяния диких кошек, лягушек, лам, похожих на верблюдов. глиняная чаша в форме головы человека: выпуклые скулы, оттопыренные уши, острый подбородок, хищные глазки, злой, искривленный надменностью рот.я подвел тио к чаше. *it's crazy*, сказал он, взглянув... из запекшейся глиняной злости принять глоток маисового питья. пить из чаши, нижней губой прижимаясь к холодному лбу. *что у тебя в голове?* – спросить глиняного человека. *в голове у меня апи, наполовину красный, наполовину белый напиток. в горле моем исчезнет белое в красном.* толстые, жирные губы человека. как два червя, лежащие друг на друге.

возвращались другой дорогой, мимо президентского дворца. на входе стоял солдат с винтовкой наперевес, в разноцветной униформе, похожей на шутовскую. детская улыбка, как лодка, покачивалась на губах. чуть дальше, в скверике, установили стенд: запись на велопробег по ла-пасу. *поддержим президента моралеса.* тио отправился в супермаркет; я вошел в соседнюю церковь. купил свечку. она не хотела прилипать к медному подносу и падала. наконец, прилипла. когда я выходил на улицу, священник произнес: *pater noster, qui es in caelis, sanctificetur nomen tuum.* я вспомнил, что учил этот язык. вдруг захотелось (так хочется утолить давнюю жажду), чтобы все заговорили на прозрачной латыни, чтобы вещество слов отсюда, с улицы, просачивалось обратно в церковь сквозь витражные стекла, к алтарю, к аляповатой мадонне с ребенком, пусть молится за нас, грешных, вышептывает слова губами, как будто измазанными дешевой помадой... тио вышел из магазина. легким, упругим шагом приблизился ко мне, освобождая плитку шоколада от фольги. *на, возьми*, – протянул мне половину, *ты заслужил.* – тио, я спросил его, когда мы возвращались в пансион, – ты католик или протестант? – *я не знаю, кто я*, ответил он. я тоже не знаю.

9 июля, пансион в ла-пасе

тио застелил постель, спустился в столовую. взял банан из глубокой тарелки, медленно выпростал желтоватый, размякший, в бурых подпалинах гниения плод, разрезал на круглые ломтики, выложил ими поджаренный кусок хлеба. поливал хлеб медом. мед медленно стекал по желобу, выводя округлые линии на ломтиках банана. тио раскрыл блокнот, в который заносил экспедиционную цифирь. я сидел напротив и смотрел на его руку, легко державшую карандаш. она летала вверх-вниз по странице, справа налево и обратно. тонкие, длинные пальцы сжимали шестигранный карандашный огрызок. иногда он подносил хлеб с ломтиками банана и медом к подвижному рту и откусывал понемногу. пережевывал медленно и проглатывал, прищурив глаза.

я спросил: ну хоть сегодня кофе горячий? *нет, как всегда. кофеварка у них скверно работает*, ответил тио, не обращая на меня внимания. тогда я раскрыл тетрадь и записал: *утром он был похож на молодую пальму, которую раскачивает ветер, или на гибкий полукруг лука в то мгновение, когда стрела срывается с тетивы.* если пересказать ему содержимое дневника, он, наверное, удивится или поморщится от отвращения. тио равнодушен к словам, к словам вообще, как будто знает им настоящую цену, их увертливую беспомощность. причина одна из двух, либо – афганская война, либо – занятия альпинизмом. во время снежных бурь в горах, в снеговом предсмертье любая речь избыточна, она отступает, оголяя черное дно под собой.

я встал из-за стола. внезапно ощутил телесную тяжесть, как будто обветшал мгновенно. равновесие сдвинулось. не хватало воздуха для дыхания, подача его постепенно прекращалась. решил вернуться в комнату. после первого лестничного пролета остановился, взялся обеими руками за поручни, чтобы не упасть. ноги, чужие, не подчинялись. поступательное скольжение в никуда, как

будто в голову впихнули облако: оно там живет и давит на виски. сознание обезличивается, – так стирают ластиком карандашные каракули, делая круговые движения, пока от случайно проведенных линий ничего не останется; так крутится барабан сушилки на низких оборотах. безмыслие, сопутствующее головокружению: вечно грызущий огонь мысли потухает, и там, где обитает мысль, не остается ничего, – один слепой, подгнивающий улей.

я вошел в комнату, лег на кровать: в горизонтальном положении дышать свободней. раскрыл книгу и прочитал: *мы, конечно, далеко не исчерпали всех возможных звучаний двуголосого слова*. слова проходили сквозь меня, обрастая значениями, в которые хотелось их облечь: это мы вдвоем вычерпываем ладонями текучее движение слов. слово становится двояким, двуязыким даже, сперва моим, гортанным, говоримым несколько в нос, негромким, шепотливым, русским пчелиным гудением, а потом – *его* пластичная речь, прохладная, не попадающая внутрь, льющаяся мимо. от валлийского выговора остается влажное чувство. вспомнил стихотворение: *особенно когда октябрьский ветер мне в волосы запустит пятерню*. почувствовал, как сливаются наши голоса, и два разных наречия прижимаются одно к другому.

я не заметил, как в комнату вошел тио с чашкой кофе. он кивнул, присел на свою койку и нагнулся, чтобы надеть кеды. я сказал, что неважно себя чувствую. странное недомогание, нет никакого желания вставать с постели. *ага*, ответил он, улыбаясь, *у тебя, кажется, начинается высотная болезнь. завтра перед отъездом примешь таблетку... болезнь может начаться когда угодно, может в день приезда, а может через две недели*. так успокаивал он меня, проговаривая фразы, которые прежде говорил неоднократно. мне нравилось, как он склоняется надо мной. я отвернулся к стене. тио вышел из комнаты, закрыв за собой дверь, унося чашку с недопитым кофе. я лежал лицом к стене и думал о нем, о его легкой, воздушной поступи, об умении затеряться в толпе, остаться незамеченным даже среди индейцев эль-альто, отирающихся возле станции канатной дороги. если спросить их об иностранце с узким лицом, подвижным ртом, дымчатой порослью на скулах и подбородке, с льняными кудрями до плеч, в синей потертой ветровке, они наверняка ответят, что никого тут с льняными кудрями не было, а был один плешивый очкарик и группа бледнолицых девушек, кажется, американок. девушки сидели на лавочках и ждали автобус, пока плешивый покупал у пристанционной чолиты булочку с яйцом и картошкой, а других иностранцев здесь не было. так они скажут.

я положил книгу под подушку. смотрел на выщербленную стену и вспоминал его рассказ об афганистане, военном аэропорте, зачистках (всё, что удалось выпытать об афганской войне), о том, как их бригаду после трехмесячного дежурства (т.е. участия в военных действиях) вывозили на отдых в оман. *там ужасный зной,* говорил тио, – *жарили яичницу в пустыне, – расправишь фольгу на песке, а сверху выпустишь яйцо или два, минута и – всё готово*. я представлял, как коротко остриженный тио сидит на корточках над шипящим желто-белым яичным куполком, а потом подхватывает глазунью ножом, кладет на лепешку, отпуская дежурную фразу, что-нибудь вроде *неплохо подкормиться от солнца* или *пустыня – наша полевая кухня*. я представлял, как выглядит он в форме королевского морского пехотинца на учениях, со снайперской винтовкой, на жгучем аравийском песке, с лицом, вымазанном камуфляжной дрянью. я тоже хотел бы в пустыню, на гладкую поверхность земли, чтобы горячий песок забивался в рот и в уши, пока я лежу и смотрю в объектив прицела, а потом быстро встаю и бегу следом за тио, закидывая винтовку за спину. камуфляжная каска покрыта виноградными листьями, как будто голова моя увита плющом.

10 июля, дорога инков, лагерь возле моста

стылое утро. придорожный хлам, растревоженный метлами уборщиков. конусообразные холмики пыли на асфальте. водитель остановил автобус. на пороге магазина (хлипкого дощатого са-

рая) был выставлен расползавшийся холщовый мешок со свежевыпеченным хлебом. на длинной ржавой перекладине висели мятые рубашки, клетчатые и в полоску. проводник купил полмешка хлеба. проводника зовут диего. он попросил освободить место в салоне. мы подвинулись, освободили. ехали долго и тряско. перед рытвинами автобус притормаживал. сидели прижавшись друг к другу. многие спали, обхватив рюкзаки. я смотрел в окно, на приземистые дома эль-альто, авторемонтные мастерские, недовозведенные кирпичные стены среди гор рабочего сора, на озерцо, по краям покрытое наледью. автобус остановился на пропускном пункте. водитель, мотая головой, выскочил из автобуса, прихватив огнетушитель. вскоре вернулся. запечатлел на мобильник свою физиономию на фоне автоматчиков и открывавшихся вдали пространств. сначала двигались по бетонке, потом свернули на боковую дорогу. я услышал, как лед хрустит под колесами. автобус поднялся на гору и остановился. тио проснулся и, потерев ладони, сказал: *выгружаемся*.

ветер, плотный на ощупь, пахнет звериной шкурой. мы выходили и становились на краю горной вершины. несколько девушек присели на камни. голова кружилась на такой высоте: некоторые обхватили головы и согнулись в изнеможении. я старательно пережевывал жвачку, она помогает от тошноты. багаж погрузили на мулов. один погонщик сидел на корточках и курил цигарку. снежные шапки вершин, как блестящая рыбья чешуя. узколицый, крючконосый диего махнул лыжной палкой. мы спускались по *дороге инков*. остатки каменных стен, разрушенные строения. здесь скрывались индейцы от испанских завоевателей. вскоре мы вошли в лощину. светло-зеленые лишайники выстилали склоны. дышать стало легче, я больше не чувствовал тяжести при вдохе, не хватал губами воздух. девушки включили музыку. тио попросил выключить. они выключили, жалуясь друг другу на произвол. первый привал был на склоне, рядом с развалинами древних поселений.

мы продолжали спуск, пока не увидели несколько чахлых деревьев и кирпичный домик возле горной речки. *там*, сказал проводник, *нас ждет обед. прибавим шаг*. мы почти бежали к бревенчатому строению перед домом. под навесом копошились два индейца: выносили кастрюли со стряпней и кувшины с напитками. после обеда мы отдохнули. некоторые девушки разговаривали. другие растянулись на земле и, подложив рюкзаки под головы, смотрели в небо. тио взобрался на валун, распростер руки, повернулся лицом к солнцу. волосы, схваченные повязкой, струились на плечи. не хватало только венка из плюща и фиалок. я подошел поближе к овечьему стаду. за овцами присматривал мальчик лет восьми. остальное семейство – старуха, женщина помоложе и девочка-подросток – голыми ступнями разламывали клубни картофеля на соседнем поле. издали оно казалось похожим на бугристую белую скатерть. девочка вспрыгивала на клубни, но они не теряли прежней формы. пятки скользили по клубням. девочка упорствовала. старуха ставила жирную пятку на клубень, надавливала всем весом, и он разламывался на несколько кусков. красно-черное пончо на грузном теле. девушки из группы подходили к ней, стараясь не наступать на клубни, осторожно опускали серебристые монеты на растопыренную ладонь, исчезали на несколько минут в кирпичном домике.

девочка, та, что запрыгивала на клубни, спросила, откуда мы приехали. я ответил. она понимающе, как взрослая, кивнула и сказала, что эту ночь мы проведем в холоде, а следующую в тепле. *в завтрашнем лагере москитов будет очень много, а здесь их совсем нет*. я спросил, чем занимается её отец. *с двумя старшими братьями присматривает за стадом. иногда ходит по тропе взад-вперед, с мулами*. здесь водятся дикие птицы? – спросил я. *да, водятся*. – какие? она назвала несколько видов, но я ничего не понял. – pajaros? – на всякий случай переспросил я. – *pajaros*, ответила девочка. *пахаро* значит *птица*. мимо нас прошел старик, с куском рифленой жести на спине, сгорбленный под ношей. скрылся за поворотом, припадая на левую ногу. – *я тоже иногда присматриваю за мулами*, сказала девочка. – как зовут-то тебя, маленькая? – *меланья*, ответила

она. в это время тио посмотрел на часы. мы надели рюкзаки и отправились дальше по тропе. справа и слева горбились бесснежные вершины. от долгой ходьбы казалось, что они раскачиваются. склоны, покрытые красноватыми камнями. тихие места, приголубленные ветром. что-то гладкое было в них, маслянистое на вид, и я хотел прикоснуться к изрезанным теням вершин, придать гнутым линиям там, где вершины сливалаются с небом, окончательный контур. они застывали в длящемся танце.

тропа от поселения до первых наслоений кустарника, росшего рядом с разбухшим потоком. возле перекатов мы слышали покашливание реки. в месте, где тропа расширялась, я поравнялся с тио. он шел, ступая легко и мягко. голубой потертый рюкзак круглился за спиной. во рту он держал стебелек цветка. *помогает от головокружения и тошноты, попробуй*. он сорвал другой и протянул мне. я взял осторожно, двумя пальцами, поднес к носу, потом оторвал листик и положил в рот. заговорили об индейцах, живущих здесь. тио сказал: *многие англичане, иногда даже очень зажиточные, бросают всё и уезжают на природу, подальше от городской сутолоки. ездят по деревням*, улыбнулся тио, *рассказывают, как хорошо жить плодами трудов своих, а те, кому они рассказывают, сами всё знают*. я подумал, *что* же должно произойти с человеком, который становится тенью, пустым местом для некогда близких людей. отсутствие, как быстро затянувшийся порез. продолжив мысль, вспомнил о себе, о городе под низким, серым небом, о собственном отсутствии. мы шли рядом, почти соприкасаясь плечами.

казалось, что у меня вырастают крылья. тио рассуждал о пользе походов, но я не слушал, что он говорил, впитывая в себя мягкость выговора. покачивался прикушенный цветок возле рта. солнце заливало его длинные волосы. тио остановился и сказал, обращаясь к девушкам: *снимем слой* (т.е. слой одежды). я представил, что вместо куртки сдираю с себя кожу, как будто у меня несколько кожных слоев, и я могу пожертвовать одним из них. я положил куртку в рюкзак, и мы отправились дальше. вокруг плотными рядами выстраивались деревья. над нами летали изогнутоклювые птицы.

11 июля, дорога инков, лагерь сан-франциско

прошлую ночь спал в палатке, возле реки. слушал, как бьется вода о камни. думал о тио. от него пахнет жизнью, его присутствие наполняет меня, как шум воды. снилась пустыня, мы с тио ползли по-пластунски рядом, он тащил виолончель, у меня на спине болталась скрипочка. доползли до каньона, спустились на дно, а там ждал нас майк. я спросил его: майк, что ты здесь делаешь? твой вертолет разбился в кандагаре и тебя больше нет, вы все погибли, помнишь? тогда майк ответил: *забирайте себе эту мерзлую землю, говорящие камни, кривые усмешки индейцев в широкополых шляпах*. я проснулся, увидел зеленоватый воздух, сочащийся сквозь нейлон.

сегодня, двигаясь по подвесному мосту, тио ступал, как будто нашептывал что-то подошвами легких походных ботинок, едва доходивших до щиколоток. чуть вздрагивали досточки, как невесомые клавиши. казалось, мысками ботинок он наигрывал беззвучную мелодию. двигался не столько по мосту, сколько над мостом. не держался, как мы, за жирную проволоку, заменявшую поручни. ступал свободно, не обращая внимание на покачивание мостика, легкого, как колыбель, из которой вынули ребенка. даже когда он приблизился к зиянию, где на месте нескольких досок ничего не было, и надо было схватиться за проволоку или хотя бы остановиться, как делали другие (проводник кричал *держитесь крепче* и размахивал лыжной палкой), даже тогда тио не остановился. мне показалось, что несколько шагов он сделал по воздуху. когда он ступил на берег, мост качнулся в последний раз и застыл. общая осмысленность его движений, окончательная ясность, как будто он был индейским богом, сотворенным из земли, потерявшим вещественность

прежнего состояния. не понимаю, как человеческое существо может обладать подобной легкостью. я чувствовал, как учащается моё дыхание и наливаются тяжестью ноги, но – хуже всего – особенно остро ощущал своё убожество, карикатурность тела и движений, производимых им.

я переходил мост одним из первых. шел по досточкам медленно, чтобы не закружилась голова. осторожничал, укорачивал шаги, но всё равно растревожил мост, и он закачался. я представил себе дно горной реки, текущей далеко внизу, и подумал, что сейчас упаду на острые камни, охлестываемые взбешенным потоком. голова закружилась. я остановился и обеими руками вцепился в проволоку. некоторое время простоял без движений, пока те, кто уже перешли мост или ждали своей очереди, веселились и снимали на мобильники, как я растерянно стою на мосту, приоткрыв рот от страха и удивления. мост жил своей, не зависящей от меня жизнью. если бы он захотел, спихнул бы меня на камни. в этом тоже есть своя легкость, но иного рода, – легкость обрываемой нити.

когда мы поднимались по узкой тропе на последнем переходе к лагерю сан-франциско, я оглянулся и увидел тио. он шел последним. особая чуткость к земле и камням под ногами, почти механическая отзывчивость ступней. интуиция скалолаза, срастающегося со скалой, – так одно тело принимает форму другого, чтобы быть вместе. чуть покачивающаяся, колосящаяся фигура. он двигался легко и весело по отлогой тропе шириной в две ладони, по которой мы лезли вверх к лагерю. нам обещали, что лагерь вот-вот появится, ещё пять-десять минут. испанский, как здесь говорят, отсчет времени. мы прижимались к склизким камням, чтобы не поскользнуться и не свалиться в поток. я вздрагивал, когда из-под моих ног выскальзывали камешки и бесшумно падали в реку. тио совершал восхождение прогулочным шагом, закусив травинку, засунув руки в узкие карманы потертых джинсов.

на подъеме моё сердце забилось часто. почувствовал горечь в горле. присел на камень, снял рюкзак, допил остатки воды из фляги. девушки, двигаясь в сторону лагеря, скрылись за рядами деревьев. тио поравнялся со мной и спросил: *ну, как справляешься?* я ответил: всё в порядке. вот, остановился пофотографировать, полюбоваться видами. тогда он сказал: *отдохни немного, а потом ступай в лагерь, надо поставить палатки, пока не стемнело, индейцы готовят ужин.* он отправился вверх по тропе и тоже исчез за деревьями.

лагерь сан-франциско, как заблудившийся пес, бросился ко мне из-за поворота своими дощатыми домиками в жирных прорехах сумерек, навесами на рахитичных столбиках, темным помещением кухни, где трепетал мотыльковыми крыльями огонёк керосинки. мулы покидали место своего ночлега и бродили между палатками нашей группы. кабинка туалета нависла над пропастью, так что непонятно было, куда льётся моча или падает кал – то ли в ямку, которая должна же там быть, то ли прямо в реку. я представил, как человек, усевшись на корточки над плохо выточенной дырой в деревянном полу, летит вверх тормашками на острые камни.

группа готовилась ужинать. девушки надевали головные фонарики. обтирали лица и тонкие шеи влажными салфетками. одна девушка, рита, сидела на камне (курточка, розовые перчатки), записывала что-то в тетрадь. неподалеку тио устанавливал палатку. верхний тент раскачивался на ветру, светясь светло-зеленой материей. тио уперся в землю левым коленом. слегка согнувшись, фиксировал оттяжку. неторопливо забивал в каменистую землю стальной штырь, который тоже поблескивал на сумеречном свету. исчезающее солнце играло в его волосах. он поднял голову, увидел меня, улыбнулся: *а мы тебя ждали... ну, не теряй времени, готовься к ночевке, скоро ужинать.* я выпростал из пакета раскладные дуги каркаса, штыри, потом – спальный и внешний тенты. установил спальный, принялся забивать штыри. стоял на коленях, переползая от одной

оттяжки к другой. горы холодели и покрывались патокой вечерней свежести. в наплывающей темноте нельзя было разглядеть деревьев и ярко-розовых цветов на них. я ползал по каменистой земле и радовался, что никто из нашей группы не видит меня. девушки сидели вокруг стола под навесом, пили чай и ждали, когда принесут вареный рис с курятиной. тио стоял рядом, прислонившись к деревянному столбику.

12 июля, утром, лагерь сан-франциско

вечером, перед сном, разговаривали втроем, тио, диего и я. проводник рассказал индейскую легенду: *киксвет причинял людям зло, и однажды, раздобыв меду, вернулся домой и увидел: семья ушла. увидел и заплакал. теперь мой брат будет спать с моей женой, – подумал киксвет. увидел кусок дерьма, который лежал рядом. спросил дерьмо: ты не знаешь, куда ушла моя жена? дерьмо молчало, только перевалилось с боку на бок. киксвет разозлился и бросил дерьмо в дерево. оно ударилось об ствол и, отпрыгнув, садануло киксвета по лицу. он заплакал как женщина. потом он увидел старую подошву, лежавшую рядом. куда ушла моя жена? – спросил он. подошва молчала, только приподнималась и опускалась. киксвет увидел птицу, и птица сказала ему: твоя жена ушла по тропе, но теперь уже поздно её искать, она переспала с твоим братом. когда киксвет нагнал беглецов, они с братом принялись лупить друг друга дубинами. в схватке победил брат киксвета, взял топор и распорол живот побежденного. оттуда вывалились кишки. брат схватил кишку киксвета и забросил её на дерево, она превратилась в лиану, а сам киксвет воскрес из оставшихся кишок. сколько ни убивай его, он всё равно будет возрождаться.*

мы смотрели на звезды. тио показывал мне созвездья, ударяя указательным пальцем в темный воздух, как будто хотел проткнуть невидимую ткань: *видишь ромб из четырех звезд над верхушкой дерева? это – южный крест.* я сказал: покажи мне созвездие феникса. *кажется, там*, он направил палец чуть в сторону. тогда я спросил: тио, ты веришь в воскрешение? *нет*, сказал, *не хочу верить. лучше, когда закрываешь глаза и – кончилось всё.* но *всё* ведь не кончится, – сказал я. он не ответил. я попытался развить тему: когда надолго уезжаю из дома, на время вычеркиваю себя из жизни (своей, в первую очередь), а потом рождаюсь снова, вырастаю постепенно, как ребенок, который учится ходить, узнавать предметы... на другом конце лагеря вскрикнула девушка. мы побежали на крик. она, закрыв глаза руками, всхлипывала возле палатки. по внешнему тенту, над самым тамбуром, полз мохнатый, жирный паук. тио взял паука двумя пальцами, опустил в алюминиевую кружку. отошел подальше и выбросил в темноту. налил кипятку в кружку, подошел к нам улыбаясь: *нет ничего вкусней и полезней, чем паучиный чай.*

диего спросил тио, есть ли у того любимая женщина. тио сказал, что любимой женщины у него нет. сейчас он в боливии на две недели, потом улетает на север канады, потом – в шотландские горы, а оттуда – в индию; перезимует, наверное, в таиланде. *стоит ли тогда обзаводиться постоянным жильем или женщиной? в армии, когда нас посылали куда-нибудь, в африку, например, остальные крутили романы с местными, хотя дома у них оставались невесты и жены.* диего рассказал свою историю: он встречался с девушкой и собирался на ней жениться, но незадолго до свадьбы узнал об её измене. женщинам больше не верит. *они, как змеи, обовьют тебя, а потом укусят под сердце.* тио отмалчивался. я ответил, что женщины бывают разные. быть может, ему повезет с другой. *быть может, и повезет*, согласился он неохотно.

55-ый километр, на автобусной остановке

весь день шли друг за другом, стараясь не меняться местами. покачивания туловищ под тяжестью рюкзаков. тропа влажная и скользкая. я следовал за девушкой, которая испугалась паука. пятна

пота выступили на её серых штанах, на пояснице и чуть ниже. остановились перекусить в небольшом селении. купил минеральной воды у торговки. выпил полбутылки, остальное залил во флягу. помазал лицо и руки кремом. солнце обжигало, пролезало, как лисенок, в нутро. девушки спотыкались, медленно и как бы нехотя восстанавливали равновесие. шли, нагнув головы, следовали за проводником по каменистой тропе, загаженной испражнениями мулов, изрезанной ручьями. проседающая грязь тропы. сначала я перепрыгивал через кучки теплых фекалий. потом надоело. раздавливал испражнения подошвами походных ботинок. иногда проводник кричал *отойдите в сторону*. мы отходили и пропускали навьюченных мулов. за одним таким караванцем бежала меланья, размахивая полиэтиленовым пакетом с бумажными полотенцами. проходя мимо, она кивнула.

легкость себя-забывания. солнце крошится металлической стружкой, облепляя щеки и шею, растапливая волю, как гусиный жир, подавляя любое желание, кроме желания пить, пить долго, водой выслащивать иссохшее нутро. струйки пота не распространяют запаха. рюкзак тянет к земле, вдавливает в нее. кажется, надо двигаться не вперед, а вверх, из хлюпающей грязи под ногами, из мульего дерьма, которое разровняли идущие впереди. теперь оно распластано во всю ширину тропы. нить памяти сворачивается в клубок и скачет вниз по склонам, пропадает в серебряном блеске воды, вспененной возле острых камней. я спросил бы, водится ли здесь рыба, но спросить не у кого. летающие рыбины с блестящей чешуей. из глубины лощины вылетает троица уродливых птиц в поисках падали. в голове, в ее пустыне, неприбранными предметами слова составляются в песню: *извела меня кручина.* кручина медоточива. остывающая между лопаток соленая тина. я – гладь пруда, медвежье озеро – от шеи до паха. на мне живет змейка. пригрел на груди, пригреть бы гибкость валлийского говора среди деревьев с душно-розовыми цветками. другое наваливается на плечи – желание, какая-то слепая тяга, избавиться от своего голоса, как от рваной рубашки. пусть остаются отрывистый говор-кашель индейцев и гуттаперчевые переливы птички-тио, чьи волосы пахнут липовым цветом (теперь он сидит рядом на автобусной остановке и облизывает змеиным своим, двоящимся языком фруктовое мороженое). я чувствую твой гибкий голос, а мой – хрипящий. я тоже, как всякий, рожденный под серым небом, умею выть на родном наречье – *изве-ел-а-а-а кр-у-у-учина.* долготы меланхолии на языке материнском. *история с географией*, сказала бы мать. я почти не помню её лица. не уверен даже, была ли она на самом деле, родившая меня. материнская речь – кусок мульего кала на каменистой тропе. кто там летит навстречу, не ворон это, другое, другое. *pajaro, pajaro*, повторяю. что остается от пахаря? унавоженная пахота. братец мул, мы породнились с тобой, нам обоим теперь всё равно, что происходит за окоемом взгляда, нацеленного в себя, уходящего, как ступени, ведущие в склеп.

13 июля, коройко, кафе на главной площади

ночью снились деревья с ядовито-фиолетовыми цветками, горный поток, тропа, блестящая мокрыми камешками. тио заснул первым, закинув правую руку за голову. левую распрямил вдоль туловища. толстое, серое одеяло сползло к пояснице, под левым соском татуировка, змея вокруг стержня. своей левой рукой я мог бы дотянуться до его правой, согнутой в локте.

мои ботинки провоняли от сопревших ступней, от носков, которые надо бы менять хоть раз в день, но запасная пара намокла в начале похода. постарался смягчить вонь жидким мылом, налил немного внутрь. запахло яблоками, но ботинки всё равно пованивали. вечером задвинул их под кровать, поглубже. надел тапочки, гулял по городку. названье канареечное *коройко*. площадь – фонтан и деревья по кругу. через скверик медленно шел колченогий, толкая велосипед. шляпа-пирожок, со шляпы свисала тесемка, привязанная к пуговице на потрепанной ковбойской курточке. длинные, седые волосы доходили до лопаток. он насвистывал что-то, велосипед поскрипывал,

шуршал шинами... тио говорит: *человек должен жить так, чтобы в старости было о чем рассказать людям*. как будто отрезаешь собственный язык и опускаешь в раствор формальдегида... побывал в боливии. какие там горы, восклицательно скажу я будущим соседям по этажу/столику/барной стойке, какие звезды в небе горят. соседи отзовутся *да, повидал ты многое на своем веку* или *удивительно всё это*.

когда заселились в пансион, тио сказал: *лезь в душ первым, мне надо кое-чем заняться*. я стоял под душем, теплая вода затекала в рот, я выплевывал её и радовался, что мы, наконец, вышли из леса, что сердце ещё живет во мне, как тихая птица. нижнее белье выкинул в мусорное ведро. сказал об этом тио. он рассмеялся: *оставишь им трусы на память*. потом мылся тио. я слушал росплеск воды по кафелю, потом встал с кровати и вышел в городские сумерки. по площади ходили люди в прохладе вечера. ели мороженое, пили апельсиновый сок. дети гоняли грязных голубей. дневная теплота и вечерняя прохлада перемешивались как два луча, направленные друг на друга.

позже, когда стемнело, сидели с тио в ресторане. *ну что*, мелодраматично воскликнул он, обвязав тонкую шею накрахмаленной салфеткой, *приступим к ужину чемпионов*. тио ткнул пальцем в список супов: *у них здесь есть тыквенный. дома каждую осень мать готовила. очень советую*. когда принесли суп, чайной ложечкой он зачерпнул темно-оранжевой мути, поднес ко рту, понюхал. проглотил содержимое, обтёр губы салфеткой. тогда я сказал, что дорожу нашей дружбой, что для меня *это* – несколько больше, чем дружба. меня восхищает кошачья гибкость его движений. я стушевался и замолчал. тио слушал, обгладывая куриное крылышко.

городки, похожие на человеческое тело, на руки-ноги. вещественные места. дальше, за телом города, начинается другое, лес или горы, не важно. такие городки заканчиваются собственной кожей. когда место похоже на тебя, жить не так страшно. утром мы завтракали на автобусном вокзале. я почувствовал прилив мужества, заговорил о городе: этот городок похож на человека. мне кажется, я глажу его по щеке, целую в лоб, мне нравится запускать пятерню в его каштановые кудри. на экране телевизора митинговали медработники. люди выкрикивали слова, перекрывали улицы. – может быть, останемся здесь ещё на день, предложил я. *может быть, и останемся*, ответил тио. потом мы разошлись, каждый по своим делам. он бродил по городу, то и дело заглядывая в мобильник. несколько раз я прошел мимо него, как бы случайно. казалось, я видел его целиком, как видят картину или статую. прохладный воздух золотился вокруг него, он был похож на пронзительно-сквозящее стекло бутыли.

слова появляются, рождаются сами. сами, без моего ведома, сближаются друг с другом, отталкиваются, чтобы не встретиться никогда. заношу в тетрадь первое, что приходит в голову: *он мнится мне подобным богу, нет, кажется, что он превосходит богов, тот, который сидит напротив тебя и видит, как ты улыбаешься сладко*. неторопливо проговариваю каждое слово на неживом языке, который почти забыл, но *это* вдруг вспомнилось. неживое тоже имеет голос. ломкость этого языка, хрупкого на пожелтевшей странице довоенного издания, похожа на *его* руки, когда он сгибает их, забрасывая за плечи круглящийся синий рюкзак, или когда отжимается в комнате, или натирается лосьоном после душа. ломкость, ранимость кистей рук, предплечий. тогда хочется сделать что-нибудь хорошее для него, например, принести чашку чая в комнату, где он отжимается, сказать слова одобрения, как учат нас: если нечего сказать, скажи приятное, пусть вам обоим будет хорошо. я хотел бы сказать ему такое, что он забыть не сможет, но будет всегда носить в себе. *нежность моя подобна придорожному камню. путник, отдохни возле, а потом иди куда идешь, передай своим, что я лежу здесь, охраняя покой земли*. инки верили, что говорить горько и говорить прекрасно – одно и то же. в горечи слов прорастает стройность, странный союз ломкости и гибкости. венки на головах юношей, катыши маисовой муки с кровью принесенной

в жертву ламы, перетягивание разноцветного каната, издали похожего на змею. горькое слово – воздушное прикосновение одного тела к другому. вырыть бы глубокую, узкую яму, броситься бы туда вниз головой, отдавая земле оголенную речь, чтобы никто не услышал меня.

14 июля, тиуанако, кафе возле старой ж/д станции

инки молились главному богу: *виракоча, господин вселенной, мужчина или женщина. к тебе обращаются глаза мои, взгляд слабеет от желания видеть тебя. потому что, видя тебя, зная тебя, узнавая тебя, постигая тебя, я знаю, что ты увидишь меня, ты узнаешь меня. солнце, луна, день, ночь, лето, зима, не зря они следуют друг за другом. у каждого есть своё место. ответь мне, услышь меня, не позволь отчаяться и умереть*.

утром взглянул в зеркало. лицо отцветшее. нос покраснел от солнца, губы обветрились, надтреснуты по краям, кожа на лице залоснилась. глаза красноватые с утренними выделениями. промыл глаза детским шампунем. вытер лицо влажной салфеткой. смотрел на себя и думал о нем: встает, одевается, пьет кофе. *словно волки ягнят...* кажется, так говорят... настает исступление волчье. я разбил бы зеркало, перед которым он стоит по утрам, когда чистит зубы, вырвал бы со стенным мясом крюк, на который он вешает куртку. душа моя отяжелевшая, бесцветная, лишенная очертаний, неосязаемая.

сижу за широким деревянным столом в открытом музейном буфете. смотрю на озеро, на далекий перуанский берег. ветер взметает бурую пыль плоскогорья. тарелка с вареным киноа теряет теплоту. зернышки насекомые, всё равно что оживший песок жуешь. ржавые рельсы ползут в сторону озера, потом прерываются. чили с одной стороны, с другой – перу. промежуток, где должны были бы лежать шпалы, зарос травой. в киоске, где продавали билеты на поезд, музейная касса. *в ходе войн страна потеряла выход к океану*. рельсы, как ржавый плач по беспомощной родине. три вареных яйца, не куриных, поменьше. вареный киноа можно есть вилкой, но сыплется между пластмассовых зубчиков – на куртку и походные штаны. в городе поют песни.

отдал ему бутерброд и персиковый напиток. *о*, воскликнул он, *самое время, а то голодно что-то*. голодное плоскогорье там, где синяя губа горизонта соприкасается с синей губой озера. голод травы между рельсами. передавая ему бутерброд, дотронулся до запястья, нечаянно. зерна киноа смешиваются с зернами пыли. наша группа, одни в автобусе, другие покупают сувениры или свитера. женщины возле лотков похожи на статуэтки птиц и истуканов. тио – птица, которая живет на небе, как в индейской сказке: *были и другие птицы, которые не хотели оставаться на земле, они вернулись на небо. хозяева птиц небесных говорили им – живите на земле, если хотите. мы будем посылать вам немного дождя. вы сможете пить дождевые капли, которые падают с листьев. дождь, который проливается здесь, льётся не из облаков, а из другого неба, над облаками, над тем небом, которое видим мы.*

чолита-сова продает каменную птицу. подошел бы к ней и спросил: можно вместо совы я куплю вас – в разноцветном платке, запыленной юбке, черной шляпке на темени? от женщины пахнет теплом и потом. юбки продавщиц шумят, как деревья, сквозь которые дует осенний ветер. озеро подмигивает далекое. родина солнца и луны. чувство, нет, не чувство даже, а его исток, родник, как нить, тонкий. куда ни взгляну – перемиг неба и озера, крупчатая пыль, – повсюду жажда недостижимого, *другого* неба. не такого, как это, надо мной. здесь – запрокинешь голову и видишь слой водянистого, луковичного воздуха. я не увижу последнего неба, его покатости, прозрачности, безымянности.

мир остывает в колодце облепленного пылью взгляда. утром мы вышли из автобуса посмотреть, где они приносят жертвы. въедливая пыль, комочки грязи, прилипшие к подошве. я видел сизый пепел на взлобье горы, где сжигают листья коки и эмбрионы лам – богине земли. инки называли мир, пространство, время одним словом – *пача*. слово, мягкое на слух. рыхлое, пропитанное водой. *пача* плоскогорья – бурая короста, её не видно под слоем пепла после сожжений. глаза слезятся от холодного ветра. сгорают эмбрионы лам с белым покровом. белая, почти снежная шерстка, на окаменевшем тельце эмбриона. пепел на кончиках ботинок. иногда мне кажется, что я – коричневое, пыльное плоскогорье, ничего интересного нет во мне.

ходили в музей. экскурсовод, лицо похоже на цвет этой земли. выговаривает английские слова, как будто пытается забить ржавый гвоздь в кирпичную стену. в музее холодно. девушки жмутся одна к другой. когда экскурсовод отворачивается, высовывают языки и передразнивают. тио познакомился с двумя француженками. приехали из аргентины на автобусе. испанского не знают. пристроились к нашей группе. тио спрашивает: *вы занимаетесь альпинизмом*? улыбается приветливо. экскурсовод подводит нас к изваянию из черного камня. с*мотрите, в левой руке он держит священный кубок, а правой... нет эту руку прикладывает к его груди кто-то другой, не может у него быть две левых. это, должно быть, рука бога*.

спроси у колдунов, какая на вкус душа. они ответят: как жареная говядина. холодный дым низкого неба. душа уходит со слюной жизни на вершины гор и там остается. утоленный голод моих глаз. всё, что могло случиться, уже случилось: вот он выпрастывает из фольги две положенные одна на другую половинки пшеничной булочки, с ветчиной и сыром посередине, открывает бутылку с персиковым напитком и делает первый, затяжной глоток.

ночь с 15 на 16 июля, лапасский аэропорт

чолита, самоварная баба, пони в расцвеченной попоне, сливается с темнотой, превращается в грузную невыразительную тень с окаменевшим лицом, пробирается впритирку к машинам, маршруткам, которые, кажется, навсегда застыли в бессмысленной пробке. дева мария на лобовом стекле поднимает руку в приветствии, чолита кивает марии. чолита, причал моего детства, земная тварь с тяжелым телом, покачивающимся на двух маленьких ножках, колдунья, насылающая порчу на посевы, врачующая глаза, которые не гноятся больше. ветер вечерний, веющий со склонов, треплет край плаката: *если вам наскучила жизнь, попробуйте промчаться по дороге смерти. быстро и надежно*.

любовь – это полоска света между двумя темнотами. свет потушат, луна исчезнет за облаком. меня окунают в пыльную ночь, и я задыхаюсь там. оставляют тело нетронутым, вынимают душу щипцами, как нерожденного детеныша ламы. душа моя, как сердце ламы, которую держат впроголодь перед войной. потроха камней лежат по краям земли. я могу колоситься, женское есть во мне. он не подарит мне головную повязку, а я ему – сандалий. проколи мне левое ухо, дай мне новое имя, назови меня звездой. темнота встречается с темнотой, свет луны, висящей над городом, заволочен пылью, сном, чёрным облаком, только дорожные рабочие в коричневых комбинезонах со светящимися лампасами на штанинах задирают голову и ищут луну. беруши не пропускают городской шум. они податливы, как пластилин: сначала мнёшь, заостряешь кончиками большого и указательного, потом медленно вдавливаешь в ушные раковины. шумы звучат приглушенно, исчезают совсем, и город снится тебе, поёт для тебя: *выпрыгни, выпрыгни, любезный мой, расскажу тебе обо всем, что было и что случится в будущем, и ты поплывешь дальше, наполненный знанием.* снилось мне, что мы обменялись чашами, и я отпил из его чаши, а он из моей. и пили мы один и тот же напиток, густую чичу боливийской ночи.

***

долго бродил по рынку, искал подарок для тио. он уезжает на север канады, купить надо было что-нибудь тёплое. он подарил мне брелок с изображением ламы. ничего лучше пары шерстяных носков не нашёл. из шерсти ламы. он мне ламу на брелке, а я ему – шерсть, живую почти. тепло, когда своего нет, отдаёшь чужое. днём встретились на пешеходной улице. я вручил ему сумку с носками. он улыбнулся, проурчал: *bring it on.* распростер руки. мы обнялись. я почувствовал холод. с таким же успехом я мог обнять телеграфный столб.

хотел оставить ему письмо, записать индейскую притчу: *луна пыталась следовать путём солнца, но чуть не погибла от зноя и повернула обратно. тогда солнце решило следовать путём луны и чуть не погибло от холода. они встретились и засмеялись. силы наши равные, – сказало солнце. они перестали спорить. путь луны занесён снегом, путь солнца зноен, поменяться местами они не могут. некое чудовище начало пожирать луну, большая часть была съедена. тогда люди посмотрели вверх и испугались. у них были ружья. они стреляли в чудовище, чтобы оно не сожрало луну. каждый выстрелил пять раз, кто-то схватил молот и начал бить по камням – тум, тум, тум. тогда луна выросла снова и заняла своё место на небе.*а.. собрался записать, но вовремя остановился. глупости всё это, не нужны ему мои послания, всё равно ничего не поймет. *что за слова*, скажет тио, *ты пишешь на листке? эти значки как муравьиные тельца, как следы птичек на илистом берегу реки. смотрю и вижу оленей, лежащих на земле, копытами кверху. или это ламы наклонили головы. я не знаю, что всё это значит.*

когда мы вышли к авениде, я увидел уличного торговца. на лотке блестели поделки: металлические звери и насекомые. я остановился и сказал: тио, я хочу подарить тебе ещё кое-что. он посмотрел на меня с недоверием. тио, продолжил я, обещай, что примешь подарок. он обещал неохотно, взгляд оставался холодным, как горный ветер. я купил бабочку, сделанную из шестеренок и пружин, она лежала под стеклом, обрамленная черным. он взял подарок и, ничего не сказав, не поблагодарив даже, положил в рюкзак. мы пошли вверх по авениде. там, перед церковью св. франциска, собиралась толпа. люди слушали рыжего клоуна и смотрели, как подкидывает он зеленые апельсины в вечереющий воздух и ловит их, выпячивая ладони.

октябрь-декабрь ‘17, нью-сити

Владимир ЕРМОЛАЕВ

ЧИСТАЯ РЕЧЬ[1]

I

чистая речь

чистая речь беспечна
беспечальна бестревожна безудержна
ни за что не держится
и ее ничто удержать не может
ни от чего и ни от кого не зависит
не привлекает внимания
чистое движение
энергия в чистом виде
то что лежит в основе вещей и событий

свободное плавание

говоря не задумываясь спонтанно
так как написаны «Поля»
Супо/Бретона
все что приходит в голову
не рискуешь зацепиться за что-то
остановиться
плывешь свободно
и чего бы ни коснулся твой язык
твоя рука
все это призрачно
невесомо
есть лишь поток и речь
ты странник
и в то же время ты у себя дома

перечисляя вещи

перечисляя вещи
начать с хрустального яйца

[1] Продолжение цикла «Чистая речь» (Воздух. 2016. №2).

Владимир Ермолаев родился в Иванове. Окончил Ивановское музыкальное училище по классу фортепьяно и философский факультет МГУ. С 1985 г. живет в Риге. Стихи, проза и переводы публиковались в журналах «Октябрь», «Новый берег», «Даугава», «Арион», «Воздух», «Дети Ра», «Интерпоэзия», «Плавучий мост» и др. Автор шести поэтических сборников. Шорт-лист Премии Андрея Белого («Трибьюты и оммажи», 2011).

продолжить домиком
для птицы

старинным зеркалом в гостиной
показывающим чьи-то лица

лицом похожим на войну
зимой напоминающей весну

список не будет полным
если не упомянуть корабль и волны

риски на лимбе компаса
фосфоресцирующие в темноте

и эти буквы на листе

распад вещей

скалы песок вода океана
речная вода
трубы по которым вода поступает в дома
блестящие краны
стаканы
ложечки из нержавеющей стали
ножи и вилки
обмылки
зубная паста
ключи от квартиры машины
обувь одежда
экран монитора
диск
металлический корпус в который он помещен
проводки́
разъемы розетки
электростанции
плотины
и снова реки снова вода
все это распадается

вода распадается
сама по себе
для этого ей не нужны
катоды ток
или
высокие температуры
что бы ни говорили физики
химики

неживое
существует без желаний
распадается без сожалений

таково его свойство
существовать без судьбы
без удела
не имея в мире
никакой цели
дела

я говорю это
то ли с гордостью
то ли с завистью
не смущаясь банальностью

вещам свойственно
существовать
а потом распадаться

не жить и не умирать

удел человека

город состоит из вещей
муравейник состоит из иголок

удел человека нелегок

человек в городе словно муравей

наделенный разумом муравей
прокладывает дорогу среди вещей

не только город
весь мир состоит из вещей

вот окончательное определение
человека

человек это грезящее насекомое
смутно догадывающийся
о существовании
чего-то
невещественного
муравей
проводящий жизнь
среди груды
созданных и не созданных им вещей

хищные вещи

вещи хороши только тогда
когда забываешь о себе
вещи требуют
чтобы ты забыл о себе
для них это праздник
когда кто-то забыв о себе
вглядывается в них
описывает их
рисует их
размышляет о них

вещи это хищные цветы
душееды

я имею в виду
не только автомобили
дамские сумочки
часы
небоскребы
виллы
но и моря
горы деревья
луга
радуги
звезды
и другие светила

разыгрывая хлебосола

когда-то я устроил в своей голове
или лучше
душе
приют для людей вещей и событий
лагерь беженцев
комнату смеха
для всех и всего на свете

я пытался научиться ладить с людьми
и вещами
влиться в события
но всерьез мне это не удавалось
только с еле скрываемым смехом
над собой и над ними

я разыгрывал гостеприимство
радушие хлебосольство
притворно заботился
об одежде развлечениях
еде питье

наконец я понял
что это не мое дело
привечать странников
и предоставил вещи людей события
самим себе

II

приключения

каждое стихотворение – приключение
на суше или на море, а то и в воздухе.
приключение случается, когда даешь
увольнительную уму, а потом, словно
часовой, приглядываешься к теням,
прислушиваешься к шорохам.

о музыке

можно поговорить о музыке –
подходящая тема для чистой речи:
что может быть чище музыки,
не имеющей прямого отношения
к людям, вещам, событиям?

завидное умение музыкальных фраз –
что-то значить, не говоря ни о чем.
попробуй придать это свойство
тому, что пишешь, – научись
чувствовать себя и нищим, и богачом.

не задумываясь

эта речь стремительна
необдуманна
нигде не задерживается
ничего не касается
скользит поверх всего
будто поток над галькой
только упоминает
вещи людей события
отражает их
призрачным образом
лишая тяжести
владеет всем
ничего не имея
заметна и незаметна

подобно дыханию
воздуху

место для тебя

есть люди,
не выносящие одиночества.
их много.
и если ты не один из них,
трудно будет тебе
найти подходящее место,
в котором бы
для тебя
было довольно простора,
пространства,
молчания,
света...
место,
где не было бы ничего
чужого...
где на краю
глубочайшего разлома
ты чувствовал бы себя дома.

стена

ни дома, ни сада.
но есть стена,
прозрачная для взгляда
изнутри,
непроницаемая
для взглядов и для тел
снаружи.

ты там, снаружи.
я внутри.

modus agendi

уступая все права, полномочия,
интеллектуально-
лингвистическое имущество
тому, что в глубине
твоего «я», –

так глубоко, что
выходит за пределы
этого «я».

принимая с полным доверием
все, что будет
предложено этой инстанцией
(скорее, навязано).

убеждаясь всякий раз,
что доверие не обмануто,
и ты сказал именно то,
что должно быть сказано.

III

речь о себе

если бы это было возможно
речь говорила бы о себе

говорила бы о себе речь
если бы это было возможно

если бы это было возможно
речь замолчала бы
навсегда
если бы это было возможно

вещи вокруг

вещи стоят вокруг меня
пестрые
невменяемые
безответственные

словно дикие звери

они голодны
а я нет

тишина

вдали от вещей
событий людей
молчит тишина

безмолвие
которое слышишь
не ухом а языком

где-то есть

есть где-то стихотворение
из нескольких слов.

не в цифровом файле,
не на типографской бумаге,
не на камне.

оно существует,
но не привлекает внимания.

оно так совершенно,
что его можно принять
за молчание.

друзья

вот так мы проводим день:
моя речь и я.
друзья не разлей вода.
и самые лучшие минуты те,
когда уже не различить,
где речь, где я.

но у речи
переменчивое настроение.
случаются дни,
когда она не приходит.
ни звонка, ни уведомления.
я сижу в одиночестве –
без слов, без мыслей, –
считаю часы, отмечаю числа.

речь и молчание

как средство общения
речь ничего не стоит.

она годится лишь для
того, чтобы сделать
слышным молчание.

речь годится
только на это

и не годится
ни на что
иное.

Владимир АРИСТОВ

ЖИЗНЕУТВЕРДИТЕЛЬНЫЕ РАССКАЗЫ

Из цикла «Жизнь незамечаемых людей»

Предваряющие пояснения

Традиционно подразумевается, что автор литературного произведения – демиург, судья и палач своего создаваемого мира и его героев. Но можно задать вопрос: по какому собственно праву?

Чем он лучше своих героев? Всегда в создании так называемого художественного мира можно проследить тенденцию прямо сомкнуть концы и начала, оплести все причинно-следственной паутиной. Так что ни о какой автономии персонажей и речи не может идти, хотя вроде бы они живут своей жизнью, совершают непредсказуемые поступки. Но писатель по сути все знает про них, в любой момент может поступить как угодно. Он всевидящ, всезрящ(ч) и т.д.

Но может быть, все же допустима большая свобода персонажей? В чем она может выражаться? Да хотя бы в отсутствии прямых логических связей между частями произведения. Что же, это будет вариант почтенного абсурда? Нет, в абсурдном рассказе писатель, как правило, связал строго детерминистской косицей все куски якобы разбитого и разрозненного зеркала. Речь идет о другом. О той беззащитности слабых голосов вещей и людей, которые способны неожиданно войти в будто бы уже размеченную ткань произведения, но не разорвать ее, а раздвинуть нити и заглянуть. И тогда мы увидим и услышим многие голоса людей и вещей, дотоле заглушаемые громким голосом писателя-творца, который в приказном порядке повелевал своим героям подчиняться его воле. Они войдут сами по себе, не требуя особого разрешения. И образуя хор голосов разных точек и клякс бытия, не требующих от пишущего сразу санкции на свои существования. Множество разрозненных вроде бы элементов, обрывков историй, восклицаний способно будет образовать нечто вроде мерцающего эпоса. Где множественность способна, а иногда (или часто) неспособна войти с пишущим и читающим в особый резонанс. Но в чем нельзя усомниться, – в том, что созданное не зачеркивает, а прибавляет и даже утверждает, не пытаясь прояснить единственную, хотя и яркую волю творца. По аналогии с «абсурдом» в попытке играть словами (в «вымышленной этимологии») «ab surdom» – «от глухого», здесь слышащего лишь себя, можно обозначить такие опыты не абсурдными, но «аб-аудиунтными» рассказами: «ab auidiunt» – «от слышащего», т.е. слышащего всех.

Владимир Аристов родился и живет в Москве. Стихи печатались в периодике, в журналах «Юность», «Новый мир», «Знамя», «Комментарии», «Уральская новь», «Арион», «Воздух» и др., переводились на различные языки, входили в отечественные и зарубежные антологии («Строфы века», «Самиздат века» и др.) Рассказы, эссе, статьи публиковались в журналах и сборниках, в трудах литературоведческих конференций. Автор десяти изданных поэтических сборников, последняя вышедшая книга «Открытые дворы (избранное)» (НЛО, 2016). Опубликованы также роман «Предсказания очевидца» (2004), пьеса «Театр одного философа» (2013). Литературные премии: им. Алексея Крученых (1993), им. Андрея Белого (2008), «Различие» (2016). По образованию физик и математик, окончил МФТИ, доктор физико-математических наук. Предыдущая публикация в «Волге» – роман «Mater studiorum» (2017, № 5-6).

Обмен мыслями

В одной стране, легко догадаться в какой, был разрешен свободный обмен мыслями. И возник сам собой толкучий базар, где все пытались обменять что-то свое на что-то исконно чужое. «Меняю восемь низменных мыслей на одну возвышенную» – такие надписи мелькали постоянно. Правда, в довольно однородные ряды почему-то затесалась детская сиделка, причем второй категории, как она сама себя определила, и ее не поняли. Особенно ее не понял некий моложавый человек в шарфе с мохером, больше похожем на махровое полотенце. «Что сюда может принести сиделка?» – спросил он небрежно. «Я сам так работал, тоже сидел подолгу, но что я вынес из этого?» – спросил он ее, – «хотя когда сидел, перечитал все книжки в доме, а их, замечу, было немало, счет шел на десятки, такое сидение рассредоточивает, а здесь люди собрались, чтобы сосредоточиться», – сказал он, обматывая еще раз горло шарфом. Она почти согласилась с ним, но тут ее внимание привлекла точка, появившаяся на горизонте. Точка угрожающе росла, пока не превратилась в две точки. Те, в свою очередь, переросли в три точки. Тут многие отвлеклись и стали смотреть на нее, которая, в свою очередь, смотрела на три точки. «Разве можно заниматься свободным обменом, когда три точки маячат перед глазами?» – спросила она. И большинство с ней согласилось.

Филателисты

Инженера Т. давно волновал вопрос: что было бы, если бы он не пошел туда, где сейчас был, а свернул по другой тропинке и оказался в другом собрании? И нельзя ли это совместить? И вот как-то раз под вечер, остановившись на перекрестке, он рискнул и пошел сразу и по левой улице, и по правой. По левой улице он пошел в районное отделение общества филателистов, где давно собирался побывать, по правой – в театр, где также хотел оказаться, но все ноги не доходили. Он вовсе не раздвоился, а просто шел одновременно по двум улицам сразу, и это его не очень удивляло. Правда, его остановила одна мысль: он предположил, что дома сейчас его ждут кое-какие гости и, возможно, и разгневанная жена, которой он давно обещал передвинуть стиральную машину с места на место. Но он пренебрег этим предположением и углублялся дальше в улицы. При входе в театр его и других зрителей долго просили вытирать ноги, хотя дождя почти не было. Зато в обществе филателистов его встретили как родного и спросили, почему он давно не был у них, хотя он не помнил, чтобы вообще заглядывал сюда. Разговор сразу зашел о членских взносах, но его деликатно об этом долго не спрашивали. Потом стали выяснять, кто что принес для обмена, хотя он думал, что вряд ли кто-то хорошую марку носит с собой. В театре всех долго заставляли ждать, накапливая в предбаннике, но наконец запустили в зал, и все быстро разошлись согласно своим билетам. Но спектакль долго не начинался, хотя театральный занавес явно колыхался, и слышалось перешептывание и приглушенные шутки актеров из-за этого старинного и местами даже потертого бархатного красного занавеса. Все это не могло не раздражать зрителей, но некоторые начинали почему-то даже дремать от этого. Инженер Т. предположил, что в театре есть специальная фея раздражения, которая всех заворожила. В обществе филателистов его спросили, что он им принес показать, и инженер Т. сказал им честно, что сейчас находится в театре и ждет начала представления. Это заинтересовало некоторых, и они стали спрашивать, что за театр и почем билеты. В театральном зале раздражение тем временем достигло своего апогея, и некоторые зрители стали пробуждаться, и кое-кто стал выходить на сцену и трясти тяжелый и немного даже пыльный занавес. Кое-кто искал щель между двумя половинками занавеса, но ее не было. Тут инженер понял, что в том и состоит скрытый замысел режиссера, – когда зрители сорвут занавес, спектакль неожиданно и начнется. Все это, как мог, он рассказал филателистам, а те спросили его, мог ли бы он им рассказать, какие у него есть или хотя бы были марки. Он сказал, что в памяти

хранит одну Новую Гвинею и еще одну – африканскую, правда, со смазанным темным рисунком обезьяны, кажется, Уганды. Но тут ему сказали, что такие у них уже есть, и нет ли у него в памяти еще чего-нибудь. И тут он ясно представил ту марку, что когда-то действительно у него была – простая марка 20-х годов. И тут же на голой стене он спроецировал немного смутно, но так, что все всё отчетливо увидели эту детскую драгоценную марку без зубцов.

Борьба с одеялом

Приснилось ему, – хотя сведения были недостоверные, – что он ночью был Лаокооном. «Приснится же такое», – подумал невольно он, проснувшись. Понял он, что такой сон возник, потому что одеяло просто сковывало его во сне и мешало свободе движения. Все стало на свои места. Вещи больше не боролись с людьми, когда их об этом не просят. Воцарился хрупкий и благодатный мир.

Вероника Лакмусова

У Вероники Лакмусовой было много подруг. Даже очень много. И ее телефон разговаривал, не умолкая. Вероника училась сразу на двух факультетах университета: биологическом и химическом. «Вот вырасту большой, – думала иногда Лакмусова, – осную один факультет химико-биологический, чтобы таким, как я, неповадно было разрываться сразу на две части». По вечерам она часто мечтала и мысленно готовилась стать швей-мотористкой. Но с изумлением, кажется, узнала, что швей-мотористки сейчас не очень востребованы и, более того, не нужны. И Вероника Лакмусова стала мечтать по ночам о том времени, когда они были всем нужны. У нее был один друг, который мечтал стать ее женихом и где-то через год сказал ей об этом, – все думали, что она сочтет его перезревшим – раз он так долго думал, но она сказала, что он еще зелен и пусть лучше подготовится к своему предложению. Однажды к ней зашла ее подруга, и они проговорили долго, не замечая ничего, но наконец Вероника Лакмусова указала подруге на свои ручные часы – мол, время, и подруга ушла от нее вдохновленная.

В очереди за дождевыми червями

Он встал в очередь за дождевыми червями, то есть за мотылем – хотя, может, он их спутал, – потому что все встали. Рядом с монастырскими прудами. Но очередь казалась бесконечной, и он скоро из нее ушел. Он стал думать о будущем, но не своем, а одного другого человека. И тот появился вскоре перед его внутренними глазами, в глянцевитом черном плаще, облитый дождем и с фонарем в руке. Человек спросил его, не видел ли он пожарный багор, но он ответил, что не видел, поскольку с трудом представлял себе, что это такое. Человек поманил его в будущее пальцем в каплях дождя, обещая, что в будущем дождя не предвидится, но он не поверил и прошел мимо, собираясь мечтать уже о своем будущем.

Не все так просто

Однажды Иван Овцебыков решил поменять не только фамилию и имя, но и пол. Друзья отговаривали его, замечая, что может возникнуть ряд сложностей. И он согласился с их аргументами. Оставаясь все же человеком со странностями. Но разве есть хотя один человек без

странностей. Например, у него был знакомый, который все время стремился уехать за границу. Не то что ему это было так уж нужно, но он хотел хоть разок взглянуть своими глазами, как там, потому что ни разу за границей не был. Но ему не давали нужного паспорта, потому что у него когда-то была судимость. Вернее, он находился под следствием. У него возник конфликт с соседом на почве ревности, соседу показалось, что здесь пахнет политикой, и подал на него суд. Суд счел доводы смехотворными, и дело было прекращено. Но он как честный человек на вопрос анкеты «Находились ли вы под следствием?» отвечал «Да», и паспорт поэтому все не получал, надеясь, конечно, что за давностью все потом уладится. Когда он рассказал об этом одному своему приятелю, тот привел его на пустырь, достал монету достоинством в 5 рублей и начертил на земле квадрат полтора на полтора метра. «Оставайся в этом квадрате и никуда не уходи, можешь делать физические упражнения, думай о чем хочешь, но за границу квадрата не смей выходить», – наказал ему приятель, а сам ушел. Через час приятель вернулся, а он все еще находился внутри квадратной камеры, нарисованной на земле. «Теперь можешь сделать шаг за пределы», – сказал ему приятель. Он вначале несмело, но все же переступил порог. «Чувствуешь теперь освобождение?» – спросил приятель. «Возможно», – почему-то робко ответил он. «Как видишь, не надо далеко ходить, чтобы в любой момент почувствовать себя свободным», – сказал приятель и удалился. А он остался в радостном недоумении, все закружилось у него в голове в беспорядке, и он вспомнил почему-то, что когда-то хотел пойти инструктором во Дворец пионеров. Пионеров сейчас почти не было, но Дворец остался. Некоторое время назад ему предлагали пойти туда, чтобы вести кружок моделирования. Но не авиа- или судомодельный кружок, а моделирования мысли. Тогда он спросил их, да справится ли он? Но сейчас он решился. Не без робости вошел он под своды Дворца, который произносил все еще с большой буквы. Не знал он, как встретят его, но встретили его с распростертыми объятиями. Оказалось, что у родителей сейчас очень модно учить детей моделированию мысли. На первом же занятии он спросил учеников, видел ли кто-нибудь свою мысль? Никто не отозвался. Он сказал, вам надо научиться видеть мысль, играть с ней, может быть, даже работать с ней, как с особым предметом. Научиться жонглировать мыслями. «Кто видел жонглера?» Поднялась половина рук. «Вам надо увидеть мысль, как канатоходца, идущего над бездной и ищущего равновесия. Кто видел канатоходца?» Не поднялось ни одной руки. Тогда он пошел с детьми цирк, благо тот был неподалеку. Но дневное представление было 12-, и его не пустили, пришлось срочно вызывать родителей, и некоторых по документу пропустили. «Понравилось?» – спросил он детей. Половина ответила «да», и это понравилось ему – значит, у детей появилось свое мнение. «Видели канатоходца?» – спросил он, и тут все ответили утвердительно. «А какой вам кажется сама мысль о человеке на канате над пустотой: круглой или продолговатой?» Не все поняли вопрос, но голоса тех, кто поняли, разделились пополам. Лишь один мальчик начал говорить что-то свое, дети решили, что мальчик просто выдумывает, но он как их наставник дал мальчику сказать. «Так какой тебе видится эта мысль?» – «Мне кажется она высоким мостом с тремя арками». Наступило общее молчание. «Но под средней аркой кто-то сейчас появился». «Кто же?» – спросил он мальчика. «Какой-то человек лежит в спальном мешке. Мне кажется, что этот человек – это Вы». – «И что, он спит?» – «Нет, он взял свой мешок и ушел». – «Но мост хотя бы остался?» «Нет, моста тоже больше нет», – растерянно сказал мальчик. «Постарайся, чтобы к следующему разу мост снова был. Постараешься?» – спросил он мальчика. «Попробую», – только и смог произнести мальчик.

Скомканный лист бумаги

Он сжал в ладонях скомканное заявление. Невозможно было представить, что он уйдет с этой работы. Тем более по собственному желанию. Почему он должен кого-то просить, чтобы его уволили по его же собственному желанию. Нелепость какая-то получается. Если собственное желание есть, то для свободного не может быть преград, а он просится на волю, как птица какая-

нибудь из клетки. Да и как он расстанется с этим зданием, где каждая ступенька знает его, а он ее, кстати, надо бы пересчитать ступеньки на лестничных пролетах, он столько раз наказывал себе это, да так и не собрался. Куда ему податься, если он все же решится разгладить свое заявление в своих ладонях. Которое так упруго. И не сжать его до невидимой точки. Да, он не всесилен настолько, хотя упражнял свои руки. Куда ему уйти с этой работы, – да это все равно что пытаться сойти с эволюционного круга, – почти что как постараться не быть человеком, а кем он еще может быть. Слышал он, что открылась недавно подготовительная школа ангелов, но туда его не примут, – он знал это. Несмотря на рекомендации. Да и в эту суровую школу все же не хотелось ему. Стать кем-то еще? Ни тем, ни другим, ни третьим? Но он себе отменил инъекцию боли, и стало полегче. Перебежками ото дня к новому дню под ослепительным ночным городским северным сиянием. Да ради этих шагов он готов был позабыть и о своем заявлении, и вообще обо всем. Потому что он хотел только жить с комком этой белой бумаги между ладоней, которая пульсировала и сжималась в такт его дыханию.

Жеребьевка

Выбрали три команды, как показалось, состоящих из лучших физико-математиков, состоящих из молодых, моложавых и просто старых. Жеребьевкой должны были определить, кому достанется задача простая – легче легкого, вторая – более тяжелая, а третья такая, над которой бились в течение тысячелетий лучшие умы человечества. «Вот, – ворчали все в предчувствие своей участи, – дед Архимед бил, не разбил, его бабка еще, наверное, била, внуки и внучки били безрезультатно, а нам за одну ночь – хоть бейся лбом, хотя мозговым штурмом – а к утру вынь да положь ответ».

Умелая юность

«Если бы юность умела» – эта фраза постоянно была у него на слуху, и почему-то какая-то «омела» тоже лезла в уши. Ему было 29, и он считал, что юность его закончится в 33, но надо было торопиться. Он считал, что кое-что умел, но достаточно ли? Он знал плотницкое дело и хорошо работал топором. Слесарил и умело действовал напильником. Знал не понаслышке, что такое штангенциркуль. Мог воспроизвести несколько сложных формул и дать точное определение неопределенного интеграла. В спорте он тоже неплохо ориентировался, но даже если бы он был чемпионом двора по теннису – а он им не был – то вряд ли кто-то назвал его особенно умелым. Все же «омела» не давала ему покоя. Казалось бы, почему эта рифма «умела» – «омела» могла помешать. Стихов он не писал и не собирался, но предполагал, что сумел бы, если бы очень захотел. Наконец он не выдержал и решил выяснить, что это за слово такое, которое он слышал и раньше, но которое препятствует его умению. Он не ошибся, такое слово действительно было, и в первом попавшемся под руку словаре он прочел: «омела – род вечнозеленых полупаразитных кустарников семейства ремнецветниковых». Прочтя, он вздохнул с облегчением, но все же встревожился. Он знал теперь, что вечнозеленая юность возможна, но чтобы тебя проводили из юности действительно по уму, а не по одежке, он должен соединить ум и умение. Порознь они у него уже были.

Меланхолия

Молодой конструктор Д. почему-то загрустил. Музыка завода, заводская или, как он говорил, «заводная» музыка больше его не волновала. Сейчас он работал в экспериментальном цеху, где

долго готовились разные опыты. Сейчас было как раз время подготовки, и он мог отдохнуть, предавшись отвлеченным мыслям. Чувствовал он себя не очень хорошо, но не только в этом было дело. Он сидел на тяжелой станине, покрытой темной, давно высохшей масляной краской. «Если мучаешься угрызениями печени, не думай, что ты становишься возвышенным», – проговорил проходивший знакомый инженер. Но Д. и не думал. «Прими что-нибудь для души», – быстро, почти на бегу проговорили два молодых рабочих. Но Д. их почти не слышал – он глядел на огромный ангар, на почти бесконечную аэродинамическую трубу и понимал, что мысли его далеко. Высоко вверху шептал, работая, вентилятор. Д. казалось, что снаружи от серого неба, видневшегося в просветах, долетают какие-то фразы на незнакомом языке. Ему даже показалось на время, что это смесь немецкого с китайским. Он понимал, что что бы он сейчас ни подумал, не будет он собой полностью. Между им и миром был какой-то зазор, как между вентилятором и серым воздухом, который он впускал к нему. Медленный пропеллер не уносил его от земли, но держал над ней, так что он не чувствовал ожог от подошв.

Покупка дачи

Один человек решил продать свою дачу, в которой давно не жил. К нему сразу нагрянуло несколько покупателей, не знакомых друг с другом. Каждого интересовало что-то свое. Один спросил: «Далеко ли от дачи до моря?» Ответ «километров с пятьсот» его полностью удовлетворил, и он продолжал торговаться. Одна молодая семья хотела во что бы то ни стало приобрести эту дачу, причем по низкой цене. Все, вернее, некоторые пытались войти в их положение. Торговля продолжалась до утра, и галдеж стоял такой, что стекла дрожали, хотя почти не звенели, потому что были покрыты достаточно толстым слоем пыли. На шум к утру подтянулись заинтересованные соседи, и даже милиция приехала в мотоцикле с коляской, но узнав, что начальная цена совсем не та, что им сообщили по телефону, разочарованно уехали обратно прежней дорогой. Больше всех в азарт вошел хозяин дачи – если бы можно было, он сам у себя бы купил ее, но юридически это было невозможно, и он стал спрашивать покупателей, не продадут ли они ему и свою дачу, если таковая имеется. Большинство молчало как рыба, но один человек средних лет набрался духу и сказал, что дача у него есть, но вряд ли понравится какому-нибудь покупателю. Хозяин нынешний дачи сказал, что покупает не глядя, и они ударили по рукам. После этого поднялся такой шум, что человек едва успел выбежать из своего дома, но у первой утренней электрички его догнал скромный хозяин второй дачи. Но электрички в то солнечное воскресное утро почему-то не ходили, и их охотничий азарт стал сходить на нет. То, на что у них хватило лишь сил, – клятвенно обещать друг другу встретиться завтра вечером на квартире первого вновь и снова начать торговлю.

Два ветеринара

Молодой ветеринар П. на конференции, посвященной лечению домашних зверей, познакомился с молодой девушкой Ц., которая по совпадению тоже оказалась ветеринаром. Сказали им кратко вначале на конференции, что главное – вообще любить жизнь, а затем – ее представителей. Пытался один совсем молодой ветеринар, когда зашла речь о клятве Гиппократа, сказать о том, что у того подходящая лошадиная фамилия, а когда его не поняли, еще более неуклюже пытался пошутить что-то о власти гуигнгнмов, пока один седой ветеран ветеринарии не осадил юношу, чтобы он не умничал, и тот скрылся за чучелом одного из животных. Молодой ветеринар П. тоже не все понял и спросил ветеринара-девушку Ц., но та не стала разбираться в глупостях, а спросила: «Вы где родились?» П. ответил, не вставая, что родом из городка Н., где

вырос на улице Бебеля. Ответом был тихий вздох изумления: «Вы знаете, я тоже на той же улице выросла, хотя и в другом городе – в городке М., вернее, не совсем на этой улице, но рядом с ней, всего в трех кварталах – я ходила обычно за водой туда – там на пересечении улиц Бебеля и Крупской и располагалась водная колонка. Правда, улицу Крупской потом переименовали и вернули ей историческое название». «Какое же?» – «Клары Цеткин». Ветеринар П. тут же спросил ее, почти не подумав: «Наверно, вы и пошли в ветеринары, что подсознательно думали все время о мухе цеце?» Молодая девушка Ц. изумленно ответила ему: «Как вы догадались? Думаю, все так и было».

Разные носки

Хотелось бы сказать, что этим все началось или этим и закончилось, но в реальности не то и не другое, – просто он продал непарные носки. Причем примерно помнил кому. Но как теперь до него – вернее, скорей всего до нее – докричаться, достучаться. Не позвонишь – телефона при продаже с покупателей он не требовал, да и смешно было бы. Но как теперь он, вернее, она будет разгуливать в разных носках. Это, конечно, забавно, но внутренне он вздрогнул, представив это на миг. Началось все в то утро с того, что он мысленно выгуливал собаку. Не то что ему очень хотелось живую собаку, да и средств, скорее всего, не хватило бы, но почему-то он представлял, как она тихо скользит среди палой разноцветной, но в основном уже темной листвы, и не мог отвлечься от этой мысли. Он продавал по утрам носки, сидя у асфальтовой дорожки, по которой шли из высоких домов к автобусной остановке люди. В то утро он увидел девушку с глазами цвета льна. Откуда взялось такое несколько нелепое определение, он не знал, но не сомневался, что это именно так. Хотя, по его мнению, лен был бесцветный, а эти глаза были светлые, но совсем другие, и представлял, какие могли бы быть льняные носки, но ему поставляли только шерстяные и хлопчатобумажные и в основном такие, что сквозь редкую ткань можно смотреть на белый свет. Тут же он встретил еще юношу со светло-карими глазами, и это оттенило по контрасту те глаза цвета льна. Когда он разбирал носки, разложенные на низком лотке у самой земли, он заметил чьи-то руки, которые выбирали носки. Он сидел на низком матерчатом стульчике – так было удобнее – и не стал сразу поднимать глаза – он видел только руки – несомненно, что если она дошла до жизни такой, что выбирает носки у дороги, то скоро ей придется продать и кольца. По ее просьбе он стал показывать носки, все еще не подымая вверх глаз.

За кадром

За кадром он оставался всегда – не помещался, настолько он был странный. В монтажной, то есть, как он называл это место – отделе кадров, где отделяют удачные кадры от несостоявшихся или даже засвеченных, зерна от плевел, агнцев от козлищ, ему сообщили, что и на этот раз он как актер не попал туда, а попал в нетуда. «Ваше ослепительство», – как обычно к нему обращались, и на этот раз засветил нашу пленку, а попросту говоря, мы вырезали все, где ты дежурил там у арки со своей кепкой.

Эффекты

Она была эффектной женщиной. Прошло несколько лет. Кое-кто думал, что она стала еще эффектней, но она думала по-другому. Она одно время работала в цирке, ставя номера с эквилибристикой и акробатикой и иногда в них участвуя. Но она повредила немного ногу

и ушла из профессии. Потом она преподавала в двух местах: в физкультурном и одном сельскохозяйственном вузе. У нее было двое сыновей. Оба хорошо зарабатывали на жизнь и предложили ее поддержать, только чтобы она ушла из этих мест. Но она отказалась по понятным причинам и даже обиделась на время. Все же некоторая склонность к театральности и тяга к сцене привела ее в недра театрального вуза, где питали слабость к эксцентрике. Там один режиссер как раз затевал новый спектакль, и их познакомили. «Как у вас с фантазией?» – спросил при встрече режиссер. «У меня ее нет», – сказала она. «У меня тоже», – откликнулся он, и здесь они поняли друг друга. Задумывал он по слухам что-то грандиозное, но для нее, и не такое видавшую, все показалось частично знакомым. На сцене воздвигалась изнанка театра – грим-уборная, где на виду у всех актеры должны были гримироваться, облачаться и разоблачаться. На переднем плане была театральная вешалка, над которой режиссер собственной рукой написал плакат: «Театр начинается с этой вешалки и ею же заканчивается». Не все в труппе поняли смысл изречения, и кто-то его вскоре сорвал. В ее обязанности входило прежде всего создание системы подвижных зеркал гримерной, все это должно было выглядеть нагромождением безобразных зеркал. В этих загадочных зеркалах уродливое лицо становилось красивым и наоборот. Гримерная напоминала комнату смеха, но большинству было не до него. Кто-то даже вспоминал королевство кривых зеркал. В это узкое пространство режиссер намеревался втиснуть несколько пьес мирового репертуара, чтобы здесь шли они рядом, в чем-то взаимодействуя, а в чем-то и нет друг с другом. Она ему резонно возразила, что сейчас каждый уважающий себя провинциальный театр норовит поставить на сцене дайджест из основных драм Шекспира, и режиссер замедлил свои приготовления. Но вообще его замыслы были небезупречны и самопротиворечивы. С трудом удалось уговорить его не использовать натуральную кровь в изображении сцен насилия – для первой пробы он не пожалел пробирку собственной крови, но плеснув ее на одно из зеркал, убедился, что получилось ни на что не похоже. Она предложила ему заменить кровь на клюквенный или томатный сок, он налил по полстакана каждого сока, попробовал и сказал, что подумает. В ее обязанности входило обеспечить динамические номера, чтобы все со всем совмещалось и не вызывало сомнения. С двух сторон сцены из-за кулис должны были вбегать полностью оголенные юноша и девушка, но, влетев на сцену, должны были настолько мгновенно надеть одежду, чтобы никто не заметил их наготы, лишь сожаление о чем-то промелькнувшем должно было остаться в театральном подсознании зрителей. Вот юноша уже демонстративно одет и, прихорашиваясь, разгуливает по сцене и все вглядывается в глубь зеркал, где должен увидеть себя из другого времени – там он сидит школьником и что-то выпиливает лобзиком из фанеры. Однажды, когда она поставила для режиссера фактически половину номеров, неожиданно на репетиции возник первый из ее сыновей. Но он пришел в ужас и вскоре ушел домой. Через некоторое время независимо появился его брат, которому первый не приходился близнецом. Второй сын разместился в театральном кресле, и было видно, что происходящее его сильно увлекает. Наконец он сказал режиссеру, что может отциклевать пол на сцене. Такое предложение застало всех врасплох, и никто не знал, что сказать. Вскоре он приступил к делу, и никто не возражал. Помимо основной работы он специально на одном из квадратных метров положил такой паркет и довел до такого блеска, что туда можно было смотреться, как в зеркало. И вначале осторожно, а потом, постепенно преодолевая робость, все, включая режиссера, стали по очереди подходить и заглядывать в этот пол, и некоторые наконец стали узнавать себя.

Наблюдение за поведением часов

Некий натуралист составил план и наблюдал, как ведут себя часы в его микрорайоне. Собственно, часов, доступных любому взгляду, было немного. Обычно люди скрывают время и смотрят украдкой на карманные часы на цепочке или на горящий экран мобильного. У некоторых

проще попросить сигарету, чем спросить «сколько время?» Не все любят такой вопрос и предпочитают услышать «который час?», как будто им жалко поделиться минутой. Описанный выше натуралист вовсе не ожидал, что все часы вдруг пойдут вразнобой или вдруг, не ровён час, разом остановятся. Но все же их поведение казалось ему не во всем гармоничным. Ему казалось, что он смог бы стать дирижером хода часов, поскольку их совместный хор требовал тончайшей настройки. Он хотел, чтобы они шли в такт его гармонической мысли. Он думал о некотором рассогласовании между своей склонностью к наблюдению и даже созерцанию и стремлением управлять этим едва уловимым трепетом разнородных механизмов, которые, однако, по своей организации в чем-то близки к живым существам. Однажды он ждал одного человека под часами и заметно нервничал. Он понимал, что его нервность почти не связана с ходом больших круглых часов, висящих высоко над его головой на столбе. Он знал, что человек этот должен появиться вскоре, и даже приготовил букет цветов на всякий случай. Он поднял голову и пытался уловить движение часовой стрелки, которая двигалась медленно, как его жизнь. Здесь же под часами он изобрел годовую стрелку и прикрепил ее к циферблату, куда дотянулся не без труда. Ему пытались помочь, но он отказался от помощи.

Парикмахер мысли

Он мог ностальгировать по любому поводу – иное ничтожное событие, произошедшее с ним когда-то, он мог раздуть до размеров слона и любоваться им вблизи. Но и в настоящем происходящее могло приобретать огромные масштабы. В тот момент его любимой книгой была «Веселая наука». Он попросил ее набрать в зеркальном изображении, и поэтому, когда он стриг очередного клиента (а в его обязанность входило постоянно стричь клиентов), он читал отраженной в зеркале обычным образом ту любимую книжку, ибо в то свое время ницшеанствующего читателя не мог ни минуты прожить без ее строчки. Допустим, в редком перерыве читал он в обычно набранной книжке:

Не стой среди равнины.
И не тянись в эфир.

Появлялся очередной клиент, он судорожно хватался за ножницы и в тройных гранях зеркала прочитывал из другого, но столь же случайного места:

Лучше враг из цельного куска,
Чем друг, приклеенный слегка.

Заходил иногда заведующий и, зная его слабость, закрывал книгу, но он, зная слабость заведующего или по наитию, приготовил отдельные страницы книги, которые, как крылья, висели над ним, и в сияющей лысине клиента, умытой им до зеркального блеска, он мог не без труда, но уверенно прочитать, шевеля губами:

Похить ее, ту, что тебя чарует!
Так поступает он; она ворует.

Пытался он, конечно, писать что-то навстречу Ницше. Влекла его афористичность, и он мгновенно и мысленно записывал такое: «Он устроил, а затем утроил пир внутри своего организма». Не было, казалось бы, ничего общего с «Веселой наукой», но он не сомневался в своих поисках и считал, что связь эта найдется.

Этажерка

Она досталась ему случайно. Сосед выставил ее в коридор. Она была расшатана во всех суставах, и по-видимому никому не нужна. Когда он дотронулся до нее, то сосед сказал, что можно взять ее с собой. Все равно на нее уже ничего не поставишь. Сосед сказал, что она досталась от прежних хозяев, с которыми они обменялись квартирами. Вроде бы жена била мужа этажеркой, и потом пришлось эту этажерку склеивать. Сейчас она уже ни к кому не относилась. И он забрал ее к себе. Она стояла в углу, и видно было, что она едва удерживается на земле. Но ему казалось, что она не упадет, – она в невесомости как в неведении. Он вспомнил, что первые бипланы называли ее именем, и она казалась ему не приземленной, а немного парящей над уровнем пола. Он положил на нее книгу в черной обложке, и этажерка выдержала, лишь качнувшись, как одинокий цветок на бетонной плите.

В творческой лаборатории

Слово «лаборатория» всегда вызывала у него, непонятно почему, ассоциацию со словом «колба». Некоторые его знакомые подчеркнуто произносили это слово как «лобалатория», намекая на связь с совсем другим словом. Но он не видел там никакого «лба», а слово «колба» видел». Поэтому когда одна газета, где он работал внештатным корреспондентом, попросила его взять интервью у одного из писателей, он невольно представил, что у того на полированном бюро обязательно стоит тщательно вымытая колба. Но никакой колбы не оказалось и в помине, писатель к тому же напустил на себя важности и отказался отвечать на некоторые вопросы. Хотя потом разговорился и наговорил много лишнего. В частности, он сообщил, уверяя, что это правда, что все рассказы пишет его сосед, а он как признанный мастер придает им лишь стилистический блеск, который и делает рассказы столь привлекательными. «Как известно, так поступал Дюма-отец, – заявил писатель, – а чем я хуже Дюма-отца? Я даже лучше, потому что тот платил за поденный труд сущие гроши, а это было время, замечу, рабовладения и крепостной зависимости, а в наше относительно свободное время я плачу ни много ни мало 150 рублей за страницу сырого текста, текста-сырца, как я его называю. Страница для моего соседа по лестничной клетке – сущие пустяки, он пишет ее за 20 минут». «Он что, тоже писатель?» – задал вопрос внештатный корреспондент и надолго пожалел об этом. «Нет, он не писатель, и никогда им не был», – был ответ. «Откуда же он черпает сюжеты?» – «Мой сосед уверяет, что – из космического интернета». – «Что это такое?» – «Я не знаю, но я проверял по обычному интернету, – никаких подтверждений о копировании или заимствовании не появилось, так что какой-нибудь ВАК не смог бы придраться, даже если бы очень захотел». – «Ну а правка стиля занимает много времени?» – «По-разному, но обычно раз в десять больше, чем выдача на гора сырой руды. Например, мне поступила на рассмотрение фраза “Однажды в жаркую пору урожая...” Я ее зачеркиваю, предварительно представляя, что она никуда не годится, а потом мысленно возвращаюсь, считая, что в ней что-то есть, и восстанавливая по частям, словно бы заново ее создавая, и вот звучная, но невзрачная с виду фраза, начиная вначале тихо, а затем ослепительно сиять, так что мне остается только закрыть глаза и благоговейно произнести ее над письменным столом – тоже по сути мысленным – и отполировать, вернее, отшлифовать ее так, чтобы можно было к ней прикоснуться».

Шумная мысль

Однажды ему в голову пришла шумная мысль, но вскоре покинула помещение. Поскольку особо там делать ей было нечего. Остался лишь легкий шум, как сожаление. Не надо было трясти

головой, как погремушкой, чтобы услышать чудесный по-своему звук. Он представлял, что это звонко-звучащие металлические семена одуванчика рассеиваются им в его сознании, да и в сознании других тоже. Звук оставленный не был ни на что похож. То был след самой мысли как таковой. За которой хотелось устремиться, но она уже убыла из этого места. Но оставленные ею следы порождают столь же удивительные следы, хотя и менее отвлеченные от мира.

Неравенство обязанностей

Всегда он, насколько себя помнил, боролся, пусть даже мысленно, за равенство прав и обязанностей мужчин и женщин. Поэтому он был до глубины возмущен, когда узнал о том, что произошло – дело очень давнее – когда на прием к нашему министру культуры-женщине пришла одна певица, тоже женщина, но в брюках. Министр в ответ пробормотала что-то нечленораздельное, но по-видимому членовредительское. Возмущению его не было границ, когда он ясно осознал, что до сих пор к никакому министру-мужчине не может прийти мужчина, но в юбке. Сказано – сделано. Он тут же надел на себя миди-юбку, оставшуюся от бывшей жены. Юбка завалялась в шкафу, и он давно собирался ее выбросить, но оказалось, что даже она пригодилась. Он хотел уже пойти на улицу в юбке, чтобы эпатировать встречных-поперечных, особенно женщин, но тут в дверь позвонили. Оказалось, что это пришел его приятель-сосед, чтобы вернуть долг, а именно соленый огурец, который он одолжил тому вчера в качестве закуски. Сосед спросил его, куда он собрался в такую рань, и когда он сказал, что идет шокировать публику, тот открыто рассмеялся, сказав, что в четыре утра встретить на улице кого-нибудь мудрено. Он подумал, что сосед что-то путает, потому что по его часам сейчас четыре часа дня, да и светло, как днем. Но сосед возразил, и они даже немного поспорили, стоя здесь же в коридоре, но задушевная классическая музыка из радио, которое он забыл выключить, собираясь на улицу, действовала успокаивающе. И они решили спросить третейского судью – жену соседа. Когда они вошли в квартиру соседа, то жена соседа сразу сказала, что юбка эта ей давно нравилась, и она даже тайно завидовала его бывшей жене. Он не решился предложить миди-юбку жене соседа для продажи, поскольку юбка была сильно изношена. В этот момент в дверь постучали – пришла соседка-активистка с нижнего этажа, она принесла одну бумагу – оказалось, что она собирает подписи всех женщин их дома. Речь шла о петиции, носившей форму свободного волеизъявления, о том, что женщины требуют, чтобы 51% обязанностей был возложен на мужчин, и лишь 49% – на женщин. Жена соседа тут же подписала бумагу, и женщина-активистка как-то косо посмотрела и в его сторону. И он тоже подписал, как ему показалось, изменившимся почерком, хотя и не дрогнувшей рукой.

Научная среда

Возможно, откуда-то с Апеннинского полуострова занесло его фамилию – Децибелли, причем многие его научные коллеги считали, что она располагает к занятиям исследованиями. Впрочем, все это было не важно, лишь бы хоть какие-то результаты были. Между ними нашелся один известный насмешник, который пытался назвать его Имбецилли, но научная среда вытеснила его за свои пределы. Децибелли был в курсе всей мировой научной литературы, знал и каждый крик научной моды – почему-то при этом ему всегда представлялся Фрэнсис Крик, первым взломавший код ДНК. Но и своих идей у Децибелли было немало, и он их всегда старался всем рассказать, не всегда, впрочем, встречая одобрение. Сейчас он пытался утверждать, что помимо вторичных половых признаков должны быть третичные, и как еще более тонкие, они должны были принадлежать сознанию, что можно было бы обнаружить в мозге. Некоторые тут

же усомнились в этой идее. Аспирант Вадим Ч. Предложил Децибелли поговорить с Татьяной А., которая славилась суровостью суждений, а, с другой стороны, была женщиной и могла непосредственно оценить столь многообещающее, но и вызывающее утверждение Децибелли. Он рассказал об этом почти сразу Татьяне в коридоре. Спросил он ее: «Как носителю женской логики, не кажется ли тебе, что ей должны соответствовать некоторые структуры в твоем сознании?» Она сказала: «Предъяви конкретные факты, а пока что говорить?» Бурное обсуждение продолжилось за обедом – идти в столовую или кафе было дорого, поэтому обедали тут же за общим столом в лаборатории: в основном бутербродами из долей крутых яиц с серым хлебом, чай предпочитали брать краснодарских сортов. Частично обеды проходили здесь, чтобы поддержать Вадима Ч., который не мог снимать квартиру, и поэтому жил постоянно в институте, ночуя на раскладушке в соседней комнате. Он не часто покидал это место, поэтому однажды, когда он захотел выйти на улицу, на вахте его не узнали и отказались отпускать за пределы института, так что пришлось писать докладную директору. После обеда Децибелли задумался. Единственный способ проверить свою догадку он видел в эксперименте, но мог поставить эксперимент только на себе, потому что под рукой больше никого не было. Довольно часто – даже знакомые девушки – упрекали его в некоторой излишней мягкости, так что он мог предположить, что отдельные женские признаки – что было ему наиболее интересно – и само собой разумеется, мужские он может обнаружить в своем сознании. Он предположил не без основания, как ему казалось, главное – научиться передвигаться в своем сознании, и тогда все обнаружится. Различные способы движения были ему не чужды – это он связывал отчасти с тем, что «Децибелли» хорошо перекликалось с «мотоциклом» – поэтому так обидело его «Имбецилли» насмешливого коллеги, поскольку эта фамилия ассоциировалась с малоподвижной бациллой. Пришло ему на ум, что лучше всего передвигаться в своем сознании с помощью своей мысли. Причем он был уверен, что то, что он представит – какой образ – на том и поедет. Сразу появилось какое-то средство передвижения, похожее, правда, на летающую тарелку, хотя он не видел ни одной ранее, и как он ни пытался представить что-то еще, пока ничего другого не появлялось. Будучи выходцем из академической среды и где-то даже доктором наук, он, конечно, с презрением относился к теории летающих тарелок, но ничего поделать не мог. Также стала видна какая-то далекая чернота. Тут он не удивился, ведь это внешне сознание – нейронная сеть, а изнутри – космос. И где-то космосы разных людей пересекаются, образуя целую толпу сверхкосмосов. Децибелли все же решился, поскольку ничего другого не оставалось делать, как использовать летающую тарелку и попробовать на ней лететь в глубины своего космоса. Тут почему-то опять послышался голос неотвязного насмешника, который прямо заявлял, что Децибелли будет чувствовать себя не в своей тарелке. Но Децибелли и не собирался проникать внутрь, он подумал, что может двигаться и на ней. Он присел на ее обширный, как бы фарфоровый край, свесив ноги, как в омут, в ближний космос. Причем несмотря на некоторую покатость, сидеть было удобно и не скользко. Он обратил внимание, как много на тарелке было щербин и сколов. Наверное дистанции были пройдены большие, налет световых лет и миль был немалый. Он ясно понимал, что то, что он представит, то и появится, и смело двинулся в достаточно темные глубины сознания и подсознания. Наконец он увидел вдали некие светящиеся тела, которые по мере приближения казались – он сам не знал почему – все более прекрасными. На самом деле это были студенистые беловатые формы, парившие среди россыпи крупяных звезд. Но они ему нравились несказанно, и он предположил – пока его некому было переубедить, что это искомые чудесные женственные, женские признаки в его сознании. Почему-то ему показалось, что они называются Мумиями-троллями. Он хотел их переименовать, понимая, что все зависит от него, но ничего сделать не мог. Он мог в любой момент улететь обратно в лабораторию, но делать этого ему пока не хотелось.

Письмо, которое позвало в дорогу

Насколько он помнил себя, его всегда удивляло, что он является директором-распорядителем валютного фонда. Утром, проснувшись, он ощупывал сам себя – все доступные части лица, чтобы убедиться, что все это ему не снится. Но все было в порядке. Голова на плечах. И все же он не переставал удивляться. «Так получилось», – утешали его знакомые. Сегодня утром он получил письмо от своего дальнего родственника из Олонецкой губернии. Судя по почтовому штемпелю, письмо шло четырнадцать лет, но он сразу стал подозревать, что много дольше. В письме родственник просил у него в долг полтора миллиона рублей. Судя по древности бумаги, по особенностям стиля, потому что после слова «долг» был виден затертый твердый знак, он допустил, что письмо отправлено к нему где-то в начале двадцатых годов. Тогда из-за инфляции полтора миллиона соответствовали, наверное, полутора рублям по нынешнему курсу. Он задумался, в это время в комнату вошла его малолетняя дочь – где-то отличница, где-то двоечница, – в руке у ней была искусственная стрекоза, которую они приготовили на уроке химии. Стрекоза противно дребезжала крыльями, потому что наверное была плохо сделана, она вылетела из дочкиной руки, поднялась высоко в угол комнаты и стала смотреть на улицу, куда ее никто не думал отпускать. Он рассказал дочке о письме и о том, что не знает, что отослать родственнику: полтора рубля почта не примет, а чтобы отослать полтора миллиона, надо ждать заседания совета директоров фонда. «Пошли сто пятьдесят рублей», – сказала дочка, и он поразился мудрости ребенка. Сто рублей у него были в наличии, и он посмотрел на свет купюру, чтобы убедиться в подлинности. Пятидесяти рублей не было, но нашлось у дочки, которой он не так давно подарил эту банкноту в качестве сувенира. Правда, возник вопрос, куда переводить деньги, поскольку Олонецкой губернии сейчас могло не быть. Тут дочка вспомнила, что у ее учительницы есть бабушка, которая примерно из этих мест, и через нее вполне можно будет проделать задуманное. Они сразу же засобирались в дорогу, потому что путь предстоял не очень близкий: вначале на такси, потом на метро, потом на других видах общественного транспорта. Уходя уже из комнаты, он оглянулся: стрекоза дремала в верхнем углу комнаты, полуприкрыв свои сиреневые глаза, покоясь на своей магнитной подушке. Он вспомнил хокку, которое слышал недавно на одном юбилее, которое было произнесено при торжественных обстоятельствах:

Отпусти стрекозу на север –
Она полетит на юг,
Потому что угадывает твои тайные желания.

Вадим ЯРМОЛИНЕЦ

КЛЮЧИ

Рассказ

От первого мужа у нее осталась звонкая и праздничная, как бокал с шампанским, фамилия – Хрусталева. Или какая-то очень похожая, но тоже вызывавшая ощущение радостного подъема. Неудивительно, что со своей девичьей – Пономарева – она рассталась без сожалений.

Я ждал ее на нашей скамейке на Шипсхед-Бее, прямо у входа на пирс, где стояли рыбацкие пароходики – один рейс – 20 долларов, наживка включена в стоимость билета. Был яркий нью-йоркский полдень, солнце вспыхивало на маслянистой воде канала, похлопывая парусами, двигались к выходу в океан яхты, на швартовых буях грелись, разбросав крылья, бакланы, лебеди ковырялись гнутыми шеями в залежах прибрежного мусора. В моем распоряжении был час, украденный у несчастной, разваливающейся моей семьи. Один час.

Она немного опоздала. Сев рядом, закурила. Ослепительно молодая, убийственно стильная. Мир ее был полон специальных вещей: обтянутым черной кожей портсигаром, бензиновой зажигалкой «Зиппо», самокрутками, которые она изготовляла на специальной машинке, пользуясь присланным ей по почте вирджинским табаком «Алтэдис Саттлиф». Сняв ногтем крошку табака с губ, отбросив косую вороную прядь с лица, она стала рассказывать, что провожала подругу, которая оставила ей ключ от квартиры, и что в этой квартире, крохотной, но очень уютной, был выход на крышу, с которой открывался дивный вид на Манхэттен.

Меня, понятно, интересовал другой вид, но она ждала звонок от важного клиента. Тот должен был подписать контракт на рекламу с агентством, где она работала, и дать чек. Все уже было оговорено по телефону, нужно было только зайти к нему – буквально на минуту, офис его был в двух шагах.

Но клиент все не звонил, и мы сидели и смотрели на яхты, на бакланов, на лебедей. Поймав мой брошенный на часы взгляд, она стала говорить, что я должен понять ее: никто не заплатит за ее квартиру, у нее каждый доллар на счету, и ко всему этому она должна подсобрать денег к приезду матери, которая в своей Казани просто бедствует на свою учительскую пенсию. Ее несчастная мать обладала удивительной способностью проникать в любой наш разговор.

– Ты понимаешь, что я совершенно одна?! – тогда мне показалось, что в ее голосе прозвучала не столько обида на меня, сколько та гордая уверенность в себе, которая возникает при удачных сделках.

Наконец телефон у нее в руке ожил, и она сказала в него своим радостным голосом: «Слушаю вас!» Потом добавила уже буднично: «Хорошо», и поднялась.

Начальник попросил ее зайти в русский супермаркет – он был через дорогу от нас – купить халвы. Когда мы стояли в очереди к кассе, этот гурман позвонил снова и добавил к заказу пару чебуреков. Сделав покупки, мы вернулись на ту же скамейку. Из разделившей нас пластиковой сумки пахло горячим тестом и специями. Она выкурила еще одну самокрутку. Клиент позвонил, когда я готовился сообщить ей, что мое время истекло.

Вадим Ярмолинец родился в 1958 году в Одессе. Окончил факультет романо-германской филологии Одесского университета, работал в газетах «Моряк» и «Комсомольская искра». В 1989 году эмигрировал в США, работал в газете «Новое русское слово». Публикации в журналах «Октябрь», «Новая юность», «Новый журнал», «Вопросы литературы», «Новый мир» и др. Автор трех книг прозы. Постоянный автор журнала «Волга».

Провожая ее к офису, я почему-то вспомнил рассказ Бабеля «Мой первый гонорар». Собственно, не почему-то, а из-за очевидной параллели.

Пока герой добрался с тифлисской проституткой Верой до ее койки, та поучаствовала в дебатах о целесообразности расширения харчевни, где они ужинали, а потом еще помогла соседке собраться к сыну в Армавир. Ожидая Веру в ее номере, измотанный собственной похотью юноша наблюдал, как умирают мухи в пузырьке с молочного вида жидкостью. Вместе с этими мухами умирало время. Я понимал его, как никто.

Когда моя подруга попросила объяснить ей мой смешок, довольно-таки горький, я пересказал ей бабелевскую историю. Сосредоточенная на своем, она слушала меня вполуха, а когда я закончил, спросила: «Кто это – Бабель?»

Я снова засмеялся. Не знать Бабеля?! Эх, что говорить, я просто не сразу сообразил в чем дело. Она не знала Бабеля, я не знал, что «Ногу свело», это – не *спазмус мускулярис*, а название вокально-инструментального ансамбля, о существовании которого я услышал, понятное дело, от нее. У каждого поколения свои герои.

Когда дверь, за которой ее ждали, закрылась, я пошел к машине. Это была наша последняя встреча. Конечно же, мы расстались не из-за нехватки у нее литературной эрудиции. И не из-за того, что работа для нее оказалась важней меня. Не смог я одолеть этого отчаянного чувства вины перед человеком, который, в смысле – которая, из красивой и независимой женщины превратилась в попавшего под самосвал ребенка. Это я, как вы поняли, о жене. И вместо того чтобы спасать ее, я уходил в надежде, что ее подберет и утешит какой-нибудь случившийся на этом же пути добрый самаритянин. Хотя уверенности в этом не было никакой. Как я мог оправдаться перед ней? Видишь ли, дорогая, чисто случайно я наступил на мину, она и рванула: первый осколок – в сердце, вторым снесло крышу. Я не хотел. Я не смотрел под ноги. Но ночью она лежала рядом со мной и не дышала. Ей не нужны были мои объяснения, ей нужно было другое. Рука, за которую она могла бы ухватиться в этой страшной темноте.

Знаю, что говорят в таких случаях: решил уходить – уходи, а лучше беги – быстро и далеко, за реку, на другую сторону жизни. Так-то оно так, но там, я догадывался, меня уже поджидала в прибрежных тростниках моя вечная соперница из Казани. Мало того, что соперница, так еще и ровесница, которая должна была смотреть на меня как на трофей, скорее полагающийся по возрасту ей, потому что ее единственная дочь, ее счастье, ее спасение, конечно же, заслуживала лучшего. Кто бы спорил?

Прошли годы. Она, я слышал от общих знакомых, вышла замуж за какого-то своего коллегу и, надеюсь, счастлива. Не могу сказать, что забыл о ней совершенно, слишком велико было потрясение, но мысли о ней отошли на задний план.

И тут этот случай.

В одном, не вспомню каком, журнале я наткнулся на статью о человеке с той же редкой и звонкой фамилией. Он написал книгу об отце, который в сталинские годы был заплечных дел мастером, причем такого класса, что его заботам доверяли узников особой категории – деятелей культуры. Из воспоминаний выживших известно, что для получения самых невероятных признаний он пользовался полуметровым обрезком черного садового шланга. Это – интересная деталь. Жуткие орудия средневековых пыток, которые можно видеть в музеях Западной Европы, всякие там испанские сапоги, нюрнбергские девы, стулья ведьм и прочее в том же духе, служили, скорее, развлечению самих палачей. Плюс эстетика времени, стремление украсить быт. При конвейерном производстве XX века работникам сферы было уже не до художественных изысков. Если где-то рядом смежник Василий «исполнял» по две сотни человек в день, а в обеденный перерыв не мог удержать стакан сметаны, потому что указательный палец не гнулся, то и для тебя показатель производительности становился важнее внешнего вида орудий труда.

Мысли об отце преследовали этого бедолагу всю жизнь. Среди особенно навязчивых была картина того, как отец, переступая незримую черту между суховатым официальными приветствием и последующей работой, наносил своему подопечному первый удар. Как за часами из-

матывающих физических усилий следовал прилив вдохновения, ощущение того, что вот именно сейчас он вышел на настоящий уровень мастерства, когда даже удовлетворение от выполненного задания – второстепенно по сравнению со счастливым осознанием своего всесилия. Когда он и его подопечный превращались в единый запредельно чуткий организм и малейшее движение – не всей рукой – пальцем, полуулыбка, просто взгляд, творили чудеса.

В своем знаменитом докладе Никита Сергеевич вспомнил мастера и даже назвал его неспособным мыслить ничтожеством. Этой характеристики хватило для вынесения справедливого приговора маньяку, но, согласитесь – какое отношение интеллект имеет к способности испытывать удовлетворение от собственной профессиональной состоятельности? Профессия у него, конечно, была неординарной, но это по нынешним понятиям, а тогда-то – вполне востребованная и даже почетная. И я тут не говорю об одних только ударниках отрасли, непосредственно вовлеченных в процесс охраны права и порядка, вы еще не забудьте всех тех бесчисленных мариванн и иванпетровичей, которые каждый день ходили с ведром и шваброй просто убирать производственные помещения.

Так вот, возвращаясь к основной теме, – в числе тех, кого пытало это ничтожество, был Бабель. Что усугубляло в глазах сына и вину отца и его собственные терзания по всем вышеописанным причинам. Публичным покаянием он, вероятно, пытался избавиться от этой ноши. Не стану утверждать, но мне кажется, что такая мучительная борьба с прошлым не могла вестись в одиночку. Волей-неволей он должен был рассказывать близким о том, что его так беспокоило. Настрадавшись из-за папаши, он должен был сделать все, чтобы укрепить и обезопасить свои отношения с дорогими ему людьми. Чтобы страшное прошлое не покалечило их, нагрянув в самый неподходящий момент. И наверное, я так думаю, он обращался к этой теме – за столом на летней веранде или, скажем, во время прогулок у океана, – каждый раз, когда между ним и слушателями возникала та исповедальная доверительность, которая предполагает полное понимание и прощение.

В журнальной статье было указано, где и когда этот человек жил со своей семьей – женой и сыном. Это позволило мне сделать неожиданное открытие: сын писателя и, соответственно, – внук мастера, – был первым мужем моей любовницы. От него она и получила свою звонкую фамилию. Более того, в течение ряда лет каждую ночь ложилась в постель с потомком того, кто дикими побоями вынудил Бабеля оклеветать коллег – самых известных авторов своего времени. Чьи имена, я уверен, слышала даже она. Ильфа и Петрова, например.

И она ничего не знала об этом. Ни сном, ни духом. А хоть бы и знала, стоит ли из-за этого снова становиться Пономаревой?

Близость участников роковых событий истории к нам не менее поразительна, чем наше безразличие к этому факту. Случайно я узнал, что меня и исчадье ада из другой эпохи, а теперь уже и с другого континента, разделяют три-четыре поцелуя. Три-четыре объятия. Наша связь была на два звена короче цепочки из известной теории шести рукопожатий: я – она – ее первый муж – его отец – изувер из НКВД.

Время, мы знаем, вымывает из памяти боль, тем более – чужую. Обратите внимание: степень эмоциональности нашей оценки тиранов относительно недавнего прошлого мало отличается от оценки тиранов, от которых нас отделяют тысячелетия – царя Ирода, например. История избиения младенцев вызывает столько же чувств, сколько избиение участников процесса Промпартии. Или Шахтинского дела. Или любого другого. Легитимность репрессий или число жертв той или иной правительственной кампании со временем теряют значимость.

Отсюда известная жалоба Гегеля на то, что история не учит. Что учит, так это – собственная боль. Не знаю, насколько тут правомочно сравнение – в прямом и переносном смысле – человеческой цивилизации с цирком, где каждое следующее поколение животных, даже родившихся в неволе, проходит одну и ту же школу дрессуры, реагируя на боль и ласку.

И вот это то, что я хочу сказать: боль и ласка движут миром, а не уроки истории и художественной литературы, хотя – отрицать не стану – что-то притягательное в них, все же, присутствует. Тот, кто скажет, что речь идет о сюжете, я думаю, ошибается. Чем, например, похождения

Буратино отличаются от приключений Ясона и его товарищей-аргонавтов? В чем функциональная разница между коварными лемносскими вдовами и слепым котом Базилио с подругой-лисой Алисой? Миллионы персонажей мировой литературы находят свое мещанское, как оно называется, счастье в рамках всего четырех, если верить Борхесу, сюжетных формул. А как по мне, то сюжет – один – возвращение, Борхес его, кстати, тоже называет. Все остальные – лишь украшают повествование и оттягивают сладкую развязку.

Секрет привлекательности текста в чем-то другом.

За 17 лет до ареста, на радостной волне литературного успеха, Бабель читает о последних днях жизни Мопассана, пытавшегося убить себя, истекающего кровью, ползающего на четвереньках по палате сумасшедшего дома.

«Месье Мопассан превратился в животное», – делает запись его лечащий врач.

«Он умер 42 лет, – добавляет Бабель. – Мать пережила его».

От страшного предчувствия сердце его сжимается.

Тому, кто знаком с биографией одесского классика, есть над чем задуматься: мать Бабеля тоже пережила сына – она умерла в Брюсселе в 1942 году, а сам он прожил всего на три года дольше своего кумира. На выходе, лежа на полу бутырской преисподней, с залитым соленой кровью ртом, с сапогами своего мучителя да ножками опрокинутого табурета в близоруком мареве, и он мог воспринимать мир как галлюцинацию. Только в этом перекошенном от боли и отчаяния пространстве он мог сообщить следователю, что через писателя Илью Эренбурга установил связь с французским писателем Андре Мальро, которому передавал сведения о советском воздушном флоте.

Говорят, что перед мысленным взором умирающего проходят наиболее яркие картины его жизни – участки мозга, ответственные за хранение памяти, по не вполне понятной причине угасают последними. Из-за потери тактильных ощущений во внешнем мире движение времени во внутреннем замедляется, наблюдатель, он же – участник событий, может двигаться по своей жизни взад и вперед, может быть, даже исследовать еще неосвоенные ее пространства, заполнявшиеся в течение десятилетий какими-то беглыми наблюдениями, непереваренными образами, звуками, чем-то еще.

Кто знает сколько еще длятся эти воспоминания в том своем измерении? Может быть, ту самую, обещанную нам, вечность?

Какой могла быть вечность Бабеля, уже стоящего у стены, забрызганной кровью его товарищей по несчастью? Была ли парализована ужасом его мысль, или же с присущим ему даром предвидения он ждал, когда свинцовый курьер геноссе Вальтера перенесет его из адского подвала в тот жовиальный мир свободы и достатка, где звучал голос соблазненной его героем Раисы Бендерской – жены присяжного поверенного, любительницы Мопассана: «Вы забавный...»

Согласитесь, сколько неги и беззаботной свободы в одном этом слове – «забавный».

Слова боли и ласки, прозвучавшие в ключевые моменты жизни, важней, я думаю, сюжетов, важнее имен их бесчисленных интерпретаторов, будь то Гомер, Бабель, кто угодно другой. Все начинается с этих слов. Их выбор порождает характер, характер становится причиной конфликта, конфликт ложится в основу сюжета, который завершается возвращением в мир памяти. Одних в нем ждут нежные голоса и руки любимых, других – бесконечная пальба и свист резинового шланга. Каждому – свое.

В последние мгновения своего земного пути мы достаем эти слова из самых глубоких складок, чтобы открыть ими, как золотым ключиком, заветную дверцу.

И вот теперь я спрашиваю себя: услышу ли я на пороге своей вечности спасший меня уже один раз голос любви и надежды: «Все будет хорошо, мой родной, все будет хорошо».

Мягкий круг света от лампадки будет подсвечивать золотой образ в углу спальни, да снег будет падать в синем окне, бесшумно выравнивая неровности городского ландшафта.

2017 г., Нью-Йорк

Елена СУНЦОВА

ОТВЕТНЫЙ ВЗМАХ

***

Белая луна
Темная река
Больше не слышна
Музыка манка

Кроме нас с луной
Никого здесь нет
Молча надо мной
Бродит лунный свет

Льет луна покой
Или непокой
Я машу рукой
Тем кто за рекой

И идет во тьме
Тая на губах
Снег навстречу мне
Как ответный взмах

***

Ты мой фейсбук ты печаль ты свет
Я тебя предала
Ты самый верный мой неответ
На паутинку зла

Ты моя усонька ворсик вздох
Рыженького во сне
Ты мой трепещущий твой платок
Сквозь облака и снег

Елена Сунцова родилась в 1976 году. Училась на художественно-графическом факультете Нижнетагильского педагогического института, на факультете журналистики Санкт-Петербургского университета. Окончила факультет «Литературное творчество» Екатеринбургского театрального института. С 2008 г. живет в Нью-Йорке. Автор десяти книг стихов, а также публикаций в журналах «Воздух», «Волга», «Дружба народов», «Интерпоэзия», «Новый мир», «Урал» и др. Лауреат специального диплома премии «Anthologia» за создание издательства «Айлурос» (Ailuros Publishing), главным редактором которого является с 2011 г.

Ты мое море судьба раздрыг
Снова перекую
И тем кузнечиком прыг прыг прыг
Вот я и лайкаю

***

В небе облако парит
Высоко и далеко,
С ним ночами говорит
На земле лежащий кот.

Вот бы, облако, тобой
Надышаться наяву,
Помнишь, облако, любовь,
Мышью грезится ему.

Этот северный апрель,
Бури рваные края,
Ледяную соль морей,
Помнишь, облако, меня.

Этот утренний дымок,
Солнце застящий нам двум,
Этот белой шерсти клок,
Улетающий в Москву.

***

Когда одолевает и поет
Та бестия что скинула сплеча
И морок и огонь и боль и лед
Распознана и всё же горяча

Я вновь бегу за ней я спорю с ней
Забыв о снаряженьи для борьбы
С улыбчивым аккаунтом теней
Я трачу не себя на если бы

Она была беспамятнее нет
Беспамятнее быть уже невмочь
Я в ворох шарфа легкий пистолет
Упрячу как не стал в пеленку дочь

Виновник бытия и торжества
Тогда в ответ зеркальному агу

Но омут отражает не слова
А правду вот ее и берегу

***

В темноте идешь ко мне
Лжи натягивая нити
Так воркует при луне
Неизвестный исполнитель

Так царапает окно
Обнимает воздух лапой
Потеряв давным-давно
То о чем не стоит плакать

Тот кого не стоит ждать
Приподнявшись чуть на локте
И отпрянув прочь опять
Молча втягивая когти

***

Ветер облако возносит
До невиданной тоски,
Роет норы, плодоносит
Струйка яркая реки.

Как тебя я потеряла,
Как найти я не смогла
То, за чем в тебя ныряла,
Мой котенок Жоффруа.

Ради пения и ради
Той веселой чистоты,
Что почудилась во взгляде –
Или снова был не ты?

Сердце водит хороводы,
Из ладони воду пьет,
Золотит усы-невзгоды,
Серебро не узнает.

***

И пегая луна коснется моря краем
Одна ли не одна когда-нибудь узнаем

Втянув перевести сравнения мешульку
Останется уйти не выдохнув чешуйку

Ну вздыбив баловство снегами переедем
Родное волшебство заявленных соседей
А как же та цена что всклянь коснулась краем
Да ну ее луна что мы ее не знаем

***

Всё сойдется, обойдется,
Голубь прянет, кот наплачет,
Впору облако придется,
Боль душа переиначит.

Вот уже превозмогает,
Шелестит, блестит оливой,
Одиночеством пугает
В шорах буковки пугливой.

Перетрет, перерисует,
Как, стесняясь, рисовала,
Старый крой перелицует,
Снова выбросит лекала.

***

Увезу тебя на Антигуа
В это время там много игуан
На камнях огрубелых греются
На надежду еще надеются

Эту боль можно игнорировать
Исчезать утопать мигрировать
Оставаясь на донце солнышком
Прячась солнцем за легким донышком

***

Я почти не улыбаюсь
Для чего же я пишу
У летучих летных таинств
Разрешения прошу

На посадку где молчалось
Где сбывается мертва

Эта жадность эта жалость
К замерзающим словам

Ну а взлетка истончаясь
Наотрез рулит в ответ
Я не знала угощаясь
Что ее в помине нет

Что придется пристегнуться
Шторки окон распахнуть
Стюардессе улыбнуться
Речи обморок вернуть

***

Какая нагота
Огнем торгует сгинь
Постой иди сюда
Покинь меня покинь

Меж облачных громад
В полветра стонет шыбр
Их платьиц бахрома
Как безупречный шифр

Который не забыть
Не выпытать не съесть
Привить или привыть
Он снова будет здесь

Любовник высоты
Бродяга пустотел
Так выдумала ты
И он летел летел

***

Мертвы и иссякла слеза
И город истлеет в ответ
Прельстительным не был бы за
Снег завтрашний выкует свет

Улыбкой на лютом плацу
Гримасой и верным пускай
Заждавшись на новом глазу
Решения будет не скайп

Не мессенджер нас воспоет
Отчаявшись чудо забыть
Огуглила куколка взлет
В себя превращенной рабы

Две строчки две пули в броске
Остыл снегопад воспарит
Не жалко неспаянных схем
Пусть только останется Крит

Где шли босиком по песку
Не ведая стекол и волн
И если искали лакун
То лишь потому что был холм

Живой и изменчивый как
Сухая говядина сыр
Напрасно промокший рюкзак
И это был мир слышишь мир

***

Этим боком монохромным
Этой стаминой земной
Этим голосом огромным
Что ты сделала со мной

Несбывания юдолька
Оговорка на плечах
Влево вправо только-только
Впору ярости в очах

Веришь в чудо хорошо бы
Расквитаться на лету
Души навзничь и бесшовны
Время самое зачту

Огневушку непрослушку
Рифму родину стежок
Светом пахнущую стружку
И тебя на посошок

Анатолий БУЗУЛУКСКИЙ

РАССКАЗЫ

Эгоист

«Привет», – пришло сообщение от Кати спустя две недели после неказистого расставания. Володя ответил не сразу (прочитал утром, написал вечером): «Приезжай». Катя отреагировала моментально: «А зачем? Ты все равно говорить не хочешь». – «Как это я не хочу говорить? С чего ты взяла?» – «С прошлого раза». – «Ты собралась и как ошпаренная уехала. А при встрече я не мог начать с разговора – ты была чересчур сексуальна для разговора. Я по тебе соскучился, я не мог начать с разговора». – «Это оправдание?» – «Это оправдание правдой». – «И ты не понимаешь, почему так случилось?» – «Я не понимаю, чем я тебя так сильно раздражаю. Быть может, тем, что ты меня считаешь закоренелым эгоистом, тем, что не удовлетворяю тебя ни духовно, ни физически?» – «Как ты можешь так говорить? Или это самоирония? В одном соглашусь: как по мне, ты – эгоист». Володе показалось, что соглашаться ей было необязательно: она не раз уже упрекала его в эгоизме. Его так и подмывало написать, что если он и эгоист, то страдающий эгоист. Но передумал столь жеманно отзываться о себе. Он полагал, что школьной программы Катя не помнит. Да и есть ли сейчас в школьной программе «страдающий эгоист»?! Он написал: «Катя, можно я пошучу, заламывая руки: о, если бы все были такими эгоистами, как я!» Пусть опять почувствует его обидчивость, его несносную ранимость. Он думал, что правильнее было бы говорить «несносная обидчивость». Но куда несноснее для Кати была не его обидчивость, а его тишайшая ранимость.

Катя немедленно позвонила. Поговорили, в конце даже поворковали. Катя сказала, что сегодня не приедет, не зови. Просила, чтобы Володя позвонил ей завтра или лучше послезавтра.

Он не позвонил ни на следующий день, ни послезавтра.

Он подумал о пресловутом эгоизме через несколько дней, когда в трамвае миниатюрная старушка-кондуктор своей фигуркой и сердобольными глазами напомнила ему мать. Матери уже не было на белом свете десять лет. Последнее время на всех низкорослых старых женщин Володя взирал с мучением памяти. Он думал, что если и стоит говорить о его эгоизме всерьез, то в первую очередь – о его сыновьем эгоизме. От прочих проявлений себялюбия можно и отмахнуться, от воспоминаний о матери не отмахнешься – безотказной, простой, заботливой, сиротливой, тянувшей всю жизнь лямку, нуждавшейся в его сыновьем внимании.

Старенькая кондуктор улыбнулась Володе бессильно, как будто знала о Володином эгоизме столько же, сколько Катя, столько же, сколько мать. Улыбнулась бессильно и радостно. Так радостно порой светилась его мать. Он тоже в ответ улыбнулся кондуктору. Он вспомнил, как однажды развеселили мать его слова, что рост у нее такой же, как у английской королевы Виктории – 150 сантиметров. «Вот видишь!» – с мнимой горделивостью расплылась в улыбке мать.

Анатолий Бузулукский родился в Самаре в 1962 году. Окончил филфак Ленинградского госпединститута им. А.И. Герцена. Служил в армии, учительствовал. Член Союза писателей России. Автор книг прозы «Время сержанта Николаева» (СПб, 1994), «Антипитерская проза» (СПб, 2008) и публикаций в журналах «Звезда», «Знамя», «Крещатик», «Интерпоэзия», «Нева», «Русская жизнь». С 2008 года – постоянный автор журнала «Волга». Лауреат премий им. Гоголя и журнала «Звезда» за лучшую прозу. Живет в Санкт-Петербурге.

Ему показалось, что кондуктор посмотрела на него снизу вверх с материнским любованием. Он помнил, что мать отводила голову назад, чтобы глядеть на него, рослого, двухметрового юношу-сына, с безответным восхищением. Ему стыдно было тогда и стыдно было до сих пор, что он стыдился своей матери. Он стыдился даже ее маленького роста. Он думал, что она идет рядом с ним, верзилой, не как мать, а как дочка. Он только теперь стал понимать, как хорошо иметь такую низенькую мать, как хорошо смотрятся вместе большой сын и маленькая мать.

Он думал: «Да, я эгоист. Как жила мать? Для людей, для меня! И как я живу? Как она умирала без тебя в одиночестве! Ждала тебя денно и нощно. Умирала с оглядкой на входную дверь – вдруг войдешь. По словам ее подруги-соседки, умирала неторопливо, словно уходила в тот мир живой. Ничего не зная обо мне и о моей матери, Катя правильно поняла, что я эгоист».

Володя застал мать в гробу. Она лежала с запрокинутым лицом, будто опять высматривала что-то наверху. Ее мертвое лицо было строгим, непреклонным, таким, каким при жизни не бывало никогда, каким не могло быть никогда. Ее показная холодность, обида длились обычно мгновение, а затем мать неловко фыркала в ладонь, словно смеялась над собой. Раньше Володя замечал, что лица у людей в гробу (даже самых злых людей) становились мягкими и добродушными, очищенными от суетной мимики, капризных гримас, подлинными, настоящими. Материнское лицо в гробу, напротив, посуровело. Володе это показалось несправедливым, что именно у его матери, кроткой женщины с золотым сердцем, лицо в гробу стало недобрым. Словно мать всю жизнь не была, а лишь притворялась добренькой, а теперь в гробу открылось ее истинное лицо. Это было неправдой, и это начало мучить Володю. Он догадался, что таким неласковым мать оставила свое лицо только для него, для сына.

На прощание Володя не поцеловал мать мертвую. Накануне похорон он прочитал в интернете, что это небезопасно – целовать мертвых, что от покойников исходят трупные ядовитые газы. Теперь бы он расцеловал ее и живую (ибо мало целовал ее при жизни), и мертвую как живую. Он запомнил взгляд соседки матери, ее ровесницы. Она смотрела на Володю без укора и снисхождения. Она смотрела с болью за него. Она знала, что всякий человек рано или поздно начинает терзать себя. Ему тогда надо было бы поцеловать мать в гробу – и материнское лицо вновь бы стало теплым, жалостливым, беззащитным, как при жизни, как у ребенка. Ему надо было бы тогда помочь матери простить его, помочь этим прощальным и покаянным поцелуем. Хотя разве она его не простила? Конечно, простила.

«Как странно я начал смотреть на людей? – думал Володя. – Я вижу только их хрупкость. Мы настолько хрупкие, тленные, бренные, что вынуждены быть эгоистичными. Мы из последних сил держимся на земле эгоизмом. И мой эгоизм не от сластолюбия, а от хрупкости. Катя, вероятно, поняла, что мой эгоизм – самозащита, а не похоть. Что моя ревность – не гнев, а досада. Что я не повелитель. Ей нужна любовь-защита, а не ревность-самозащита».

Он собрался написать Кате, что одиночество правдивее любви. Но написал другое, написал, что он эгоист, который не хочет быть эгоистом. Написал, что человека хранит не столько эгоизм, сколько любовь. И не столько любовь другого человека, сколько любовь к другому человеку. Он хотел написать, что устал от человеческих тел, что хочет целовать не тело, а душу как тело. Написать, что эгоизм – от тела. Какой эгоизм у души?! Но написал, как всегда: «Я хочу целовать тебя, целовать всю и везде». Раньше, бывало, она весело уточняла: «Разве это не одно и то же?» В этот раз, думал Володя, она прочтет, улыбнется кисло и не ответит.

Мечта отца

Вадьки не было дома четвертый день. Как будто сын стал брезговать (казалось отцу) домашним уютом, своей комнатой, тихими родителями, любимым котом. Отцу сын не звонил, перед матерью держал ответ ежевечерне, что продолжает гостить у друга под Выборгом, что завтра таки планирует вернуться домой. Сын не злоупотреблял алкоголем, но Николай Иванович

всякий раз интересовался у жены: «Голос у Вадьки трезвый?» – «Да, трезвый». – «Ты бы друга пригласила к телефону, что ли», – досадовал отец. «Смешной ты: так он и передаст телефон другу». «У друга ли он?» – вздыхал Николай Иванович. «У друга, у друга, – успокаивала жена. – А где же еще?» – «Мало ли. Может быть, у подруги». – «Может, и у подруги», – улыбалась жена. «А что это за друг-то? Не говорит?» – «Какой-то однокурсник. Из богатеньких. Особняк, говорит, у них огромный, с бассейном».

В очередной вечер, не дождавшись сына, Николай Иванович поделился с женой своей экстравагантной отцовской мечтой. Жена знала: все самое невообразимое Николай Иванович принимал близко к сердцу.

Николай Иванович рассуждал: вот вернется Вадька и произнесет еще в дверях: дескать, мама и папа, получилось так, что я все понял и я почувствовал его. Почувствовал и встретил. Кого его? – удивлюсь я, но уже догадаюсь. Догадаюсь, потому что вид у Вадьки будет необыкновенным, лицо будет светлым и ласковым. Того, скажет Вадька, кого ты сам хочешь встретить всю свою жизнь. Кого? – прикинусь я непонятливым. Ну, папа, ты знаешь кого, перестань ломать комедию. Его, Иисуса, Бога.

«И мы с тобой, мать, тоже станем другими от этих Вадькиных слов, такими же светлыми, как и Вадька». «Я и сейчас не темная», – устало парировала жена.

Жена грезы Николая Ивановича привыкла выслушивать без иронии, без пытливого внимания и пренебрежительности. Не отвлекаясь при этом от телевизора либо что-то шинкуя на кухне. Она знала, что муж плохо спит, ворочается полночи, что у него больное сердце, но он не сумасшедший.

Николай Иванович продолжал: «Он бы шутил, Вадька, если бы произнес: того, кого бы ты хотел, чтобы я встретил. Но он скажет прямо: Иисуса, Бога. Вадька скажет: он такой добрый, Бог, и я хочу к нему. Не пугайтесь – вы не о том подумали. Я хочу к нему здесь. Я решил, мама и папа, уйти в монастырь. Мне так хочется быть там. Там так радостно».

Жена ушла в спальню, а Николай Иванович говорил на кухне: «Я бы ездил к нему в монастырь. Я бы гордился сыном. Я был бы счастлив за сына и благодаря сыну. Мы бы гуляли с сыном по монастырской территории. Монахи озирали бы меня подозрительно: я выглядел бы неисправимым интеллигентиком. Они понимали бы, что, несмотря на сына, Бог по-прежнему для меня – культура. А я бы захотел перед ними объясниться, оправдаться, что нет, я уже не такой, ибо вот сын у меня такой же, как вы, и Бог никакая не культура. А они бы мне не поверили, вернее, не до конца бы мне поверили, они бы возразили мне по-простому, по-монашески: «А ты не объясняй, ты делай. Ты все еще ради красного словца не пожалеешь и отца. Ладно отца – сына». Нет, скажу я им, я теперь другой, у меня теперь сын такой, как вы. Я говорю: такой, как вы. Я не говорю: у меня сын монах. Потому что «у меня сын монах» звучит, действительно, как для красного словца.

«А ты мне скажешь, – обращался Николай Иванович к жене, – сбагрил, мол, сына в хорошие руки и радуется. Сам как отец не справился, сбагрил сына».

«Но Вадька меня будет понимать. Да и ты меня будешь понимать. Вадька будет утешать: папа, не слушай их. Ты для меня отец, и ты достойный отец. Не терзай себя. Смотри, как хорошо здесь. Без тебя я бы сюда и к Богу не попал. И я ничего советовать тебе не буду, не буду говорить, чтобы ты тоже шел к Богу. Может быть, ты и не придешь. И в этом не культура, не твой характер, не твоя среда будут виноваты. Здесь всякий раз не понимаешь, как и зачем. Но все равно ясно, что приходят сюда через отца и мать».

Николай Иванович замолчал. Жена догадалась, что муж уснул на кухне на узком диванчике. Она не любила, когда он часто произносил слово «бог» или слово «любовь». Ему самому на протяжении всей жизни было неловко их произносить. Но сегодня он произносил слово «бог» естественно, спокойно, как любое иное слово. Она думала, что мужчинам иногда нужно поговорить о Боге, а женщинам послушать. Послушать без насмешливости, понятливости и тревоги. Послушать с интересом и доверием. Не отмахиваться от сентиментальных мужчин, не

говорить им, что никакого Бога нет, вернее, что Богу до нас дела нет, что мы сами не маленькие, что Богу нравится, когда мы не маленькие, когда не беспомощные, когда сами с усами. Она знала, что муж думает о ней как о сильной и смелой женщине, которая ничего не боится – ни обстоятельств жизни, ни смерти. Бывает такое, когда ничего не боятся. А он боится и обстоятельств жизни, и смерти. Правда, не столько своей смерти, сколько ее и сына. Она знала, что монастырь для сына – это не отцовская жертва и не откуп, это – отцовская надежда. Тем более что никакого монастыря и в помине не будет. И она ничего не расскажет о нелепой отцовской мечте сыну. Да и не мечта это вовсе, а дрема, бормотание, нежность и боль.

Она вспоминала, как давным-давно, в их медовый месяц, после одной из самых любострастных ночей, Николай вдруг признался ей: «А я ведь хотел в монастырь уйти. До тебя». – «Знаю, наслышана». – «Откуда ты знаешь?» – «От подруг». – «А откуда твоим подругам об этом известно?» – «Вот и я тоже думаю, откуда им известно? Откуда им знать, милый, в какие такие минуты тебя подмывает откровенничать о монашеской судьбе». – «Первый раз об этом сказал. И только тебе. Первый и последний». – «Я тебе дам – последний. Говори, говори». И они захохотали. Они любили смеяться над собственным кокетством.

Иногда, видела жена, Николаю Ивановичу нравилось подводить предварительные итоги своей биографии и совершенно безобидно, философично, без малейшего огорчения, с томной ноткой культуры сожалеть, что ему так и не удалось остаться холостяком и анахоретом. Он, похоже, думал, что был рожден для аскетического образа жизни, но почему-то пренебрег им. Жена видела, что Николай Иванович, со свойственной ему гибкостью, утешал себя, что, дескать, однолюб, каковым он был, это по сути тот же монах, что в наши времена быть семьянином-однолюбом куда труднее и благороднее, чем существовать одному.

Спал Николай Иванович на кухне, как подросток – крепко и тихо. Жена улыбалась. Она накрыла его пледом. Он не пошевелился и не улыбнулся. Она знала, что его мечта о сыне, с которой он уснул, такая смешная и смехотворная, была нужна теперь не только ему, отцу, но зачем-то и ей, и сыну. Она думала, что ее Николай Иванович был стеснительным человеком – сызмальства, изначально. Когда Николаю Ивановичу казалось, что он говорит чересчур высокопарно, он нарочито усиливал эту высокопарность. Он спрашивал: «Что нас ведет к Богу?» И понимая ничтожную выспренность своего вопроса, еще громче его повторял: «Что, я вас спрашиваю, ведет нас к Богу? Не только добрые дела. Но и уступки, наша покладистость, соглашательство, беспокойство, даже трусость. Любимому человеку надо уступать, сыну нужно уступать обязательно, покоряться ему, сдавать позиции...»

Николай и артист

Они побили Николая за артиста. Как оказалось, все еще знаменитого и почитаемого. Отмутузили за то, что накануне Николай на автозаправке пнул ногой этого артиста, престарелого, гоняющего на спорткаре с голенастой малолеткой. Пнул в ответ на окрик торопливого артиста-старика пошевеливаться, убрать с дороги свое ведро с болтами. Не пнул бы, если бы раздражительный артист не задел Николая плечом. Артист попытался попасть Николаю в лицо кулаком. Николай ответил так же, по сусалам, по касательной. Артистова спутница завизжала из машины: понимает ли он, на кого руку поднял? На звезду! Со всей юной истеричностью девка решила проиллюстрировать, на какую именно звезду Николай поднял руку: включила магнитолу на полную мощь, откуда донесся голос этого артиста, певца. Николай вспомнил его. Некоторые песенки его были знакомы Николаю с детства. Их до сих пор крутили на попсовых радиостанциях.

Они схватили Николая вечером у его дома, кинули в багажник. На дворе была весна, похожая на осень – с темной, липкой моросью, червивым небом. Везли недолго. Мешок с головы сняли в теплом, вместительном гараже, пахнущем бензином и деревянной стружкой. Николай подумал,

что сожгут. Нет, только били – больше для крови и синяков, чем для увечий. Били и рассуждали. По внешнему виду – хорошо оплачиваемые телохранители в масках.

Главный, которого Николай не видел, а только слышал, пояснял, что бьют они его не в отместку и не для того, чтобы он знал свое место, а за «справедливость и культуру». Николай начал хохотать окровавленным ртом. Как можно не хохотать на культуру? На культуру-мультуру? Тогда черные пиджаки стали наносить ему удары по животу, в живот, и Николай подавился смехом.

Он понял их. Они были слабые, успешные, респектабельные, не любящие неприятности. Они не могли быть свирепыми, беспощадными. Они могли быть жестокими, лишь заметая следы, извергами от трусости, из-за угрозы их комфорту. Он не будет перебарщивать с мстительными ухмылками. Одинаково опасно в одиночку разоблачать агрессивных подростков и добропорядочных клерков в балаклавах.

Николай думал, что ему было бы не так обидно, если бы его били за Цоя или за Шевчука, или за БГ, или, к примеру, из другой оперы – за Лемешева. А бьют-то ведь за фонограмщика.

Словно читая мысли Николая, главный твердил: «Это для тебя, придурка, он никто, а для страны он легенда».

Николай молчал, думал: «Если бы просто избили и обоссали – это наказание. А болтовня и поучение – какое же это наказание?»

«А ты хотел изощренных пыток? – продолжал блистать прозорливостью главный. – Будут и пытки, если не поймешь. Мы огромная сила».

«А я?»

«А ты не воспитанный чмошник. Но мы тебя воспитаем. Научим родину любить».

«Вот опять. Какое же это наказание?! Проучить, но не наказать. Били бы молча».

«Молча мы можем только убить. Ты напрашиваешься».

«Я люблю не только рок. Я люблю и классику. И не только Вагнера, но и нежного Шопена. А здесь какие-то дорожки, волны, облака».

«Ты ударил хорошего певца».

«Я вообще ударил первый раз человека по лицу, по морде. И оказалось, что это не простая морда».

«Как мне сказали, бил уверенно, мастерски. Видимо, давно искал, кому вмазать».

«Ни Гребенщикова, ни Магомаева, ни Высоцкого никогда бы не ударил».

«Ты уже об этом говорил. Лучше бы Гребенщикова ударил».

«Какая радость быть небожителем? Как хорошо, когда тебя презирают не за силу, а за слабость».

«Наоборот, придурок. Не надо человека судить по его слабости. Надо судить по его силе».

Николай хотел сказать им, что он не счастливчик, что выбирает для себя тяжелый крест, с кругами ада. Но боженька будет знать, как мне будет плохо в аду, в огне. И словно будет утешать меня: потерпи, Коля. Иногда я буду думать, что терпеть уже нет сил, что умру от мук. Но в аду уже не умирают. Умерев, уже не умру. И боженька будет повторять: ничего, потерпи, все равно уже больше не умрешь, все равно воскреснешь. Моя жизнь странная, муторная, ненужная. Я вижу это, и это мое самосозерцание услаждает меня. Видишь, мол, какая у тебя жизнь. Вот она такой и должна быть. Хорошо, что ты это видишь и об этом знаешь.

«Я уже ничего не боюсь», – сказал Николай.

Главный ответил: «Это плохо, что ты ничего не боишься. Человек должен бояться. Если не боишься, значит нет в тебе культуры. Культурный человек боится, умеет бояться. Он может заявлять, что бояться – это плохо. Но жить должен с боязнью. Если человек боится, он не будет нападать. Знаешь, почему Россия всегда побеждает? Потому что Россия никогда не нападает. Постарайтесь не нападать и будете побеждать... Опять лыбишься?»

«Я вспомнил артиста. У него такой красивый молодежный пиджак, а брюки как у обычного старика, по земле стелятся. Как он с такой девкой – и в таких штанах?»

«Ты что, завидуешь?»

«Чему тут завидовать? С такой девкой – и в таких штанах. Не бейте, я просто хотел сказать, что старика, как бы он ни молодился, узнаешь по брюкам».

Они вернули Николая к полуночи домой. Он шел сам и в квартиру вошел сам. Жил Николай с отцом. Отец, качая головой, спросил: «Это тебя за него?» – «Да». На отцовском лице было горестное стариковское умиление. Стариковское умиление – это доброта и слабость. Николай не ладил с отцом. По мелочам. Однажды, когда Николай заболел и лежал с высокой температурой, сквозь полудрему он слышал, как отец шепчет молитву. Отец твердил в темноту, что готов отдать свои органы сыну, чтобы сын дальше жил. Готов взять тоску сына на себя, даже если сын и не будет хорошим человеком.

Николай нашел в интернете записи артиста и врубил их на всю катушку. Артист пел хорошо, с драйвом. Николаю стало смешно: сценка, как он слушает врага-артиста, напоминала финал какого-нибудь претенциозного фильма, психоделического и психиатрического. В таком финале зритель был обязан чувствовать откровение, «культуру и справедливость». Николай выключил артиста и остался в тишине, не зная, что включить.

Революционерка

На афтепати сквозь сигаретный дым Борька с Иркой слушали московского лысоватого блогера. Борька удивлялся, какими плотными, как у танцовщика, были ляжки у этого москвича.

«России через двадцать пять лет не будет», – намеренно буднично твердил москвич.

«Не будет уже через семь лет», – встрял в разговор Борька.

«Нет, через семь лет – это пропаганда. А вот через двадцать пять – дело решенное. Таков прогноз серьезных американских аналитиков. Мне удалось увидеть краем глаза политическую карту мира на 2050 год. На ней России нет».

«А что там на месте России?» – интересовался Борька.

«Я не могу об этом распространяться. Это закрытая информация».

На следующий день Борька с Иркой попали на пресс-конференцию прокремлевского политолога. Ирка задала вопрос: «Не кажется ли Вам, что собирать людей по разнарядке с предприятий и учебных заведений на траурные митинги по случаю недавнего теракта, аморально, низко? А именно такую обязаловку ввели во многих российских регионах местные власти. Граждан почтить память погибших приглашают как по повестке в суд. Это омерзительно». У Ирки навернулись слезы на глаза, она прикрывала лицо ладошкой.

«Зачем этот ваш ложный мелодраматизм? Вы успокойтесь, пожалуйста. Дайте девушке воды», – откликнулся политолог.

Борьке казалось, что волосы у политолога были крашенными, изумрудно-черными, а лицо болезненно палевым. Борька вдруг вспомнил, как после смерти их общего с Иркой приятеля обмолвился, что надо бы не забыть пригласить на похороны того-то и того-то, и как Ирка поправила его: «На похороны, Борька, не приглашают. На похороны приходят по зову сердца, без приглашений». – «Я не так, Ирка, выразился. Я хотел сказать, что надо бы им сообщить о случившемся». – «В щепетильных ситуациях, Борька, нельзя быть неуклюжим».

Борьку так и подмывало крикнуть политологу: «Она честно плачет. Ирка никогда не врет». Борька помнил, как однажды Ирка призналась: «Да, я истеричка, но я не стерва».

Вдруг политолог, обращаясь к Ирке, отчеканил: «Революции сейчас не будет в России. Не тратьте свою жизнь на это».

«Как не будет?» – тихо удивилась Ирка.

«Как не будет?» – с гневным недоумением воскликнул еще один журналист.

Политолог продолжил ернически: «Действительно, как это не будет? Дескать, мы в своей тусовке только об этом и говорим – о революции, о развале России, о противостоянии кровавому

чекистскому режиму, о свержении Путина. Мы, мол, жизнь свою положили на алтарь борьбы, и тут выясняется, что революции не будет. Мы ее так вожделеем, а ее, видите ли, не будет. Это, мол, нечестно, несправедливо».

«Есть другие политологи, которые думают иначе, – перестала плакать Ирка. – Есть деятели искусства, известные на весь мир режиссеры, которые с нами, которые разделяют наши мысли».

«Знаю я этих режиссеров. Безусловно, все они искренние люди. Например, один из них в начале 80-х искренне выступал на собрании кинематографистов в поддержку ввода войск в Афганистан. А теперь он так же искренне против Путина. Этот интеллигентнейший режиссер варится и кормится на Западе, он теперь окончательно поставил на Запад. Но революции не будет, как бы неутешительно это для вас ни звучало».

«В начале 90-х ведь была. Распался ведь Советский Союз», – заметил Борька.

«Именно поэтому теперь и не будет. Не тратьте свою жизнь на революцию, на русофобию. Вы что думаете, если, предположим, ненавистной вам России вдруг не станет, вам будет от этого хорошо? Вам будет плохо. Может быть, самые совестливые из вас тогда будут стенать (как это уже бывало в истории): что мы наделали, какую замечательную страну потеряли, какую культуру...»

Возвращаясь домой, Борька озирал дома, машины, людей каким-то чрезмерно ясным, болезненно стерильным взглядом, с неловким восторгом. «Боже, неужели всего этого не будет, – думал Борька. – Нет-нет, все это останется: и торговый центр, и набережная, и автобусная остановка, и аптека, и фонарь, и люди. Только России не будет. Ну что же, значит, не будет. Значит, так надо, так должно быть».

Борька вспомнил, как за новогодним столом при родителях и старшем брате произнес революционный тост: «Я предлагаю выпить за то, чтобы в наступившем году Путин наконец умер». Он хотел сказать «подох», но так грубо не решился. Отец с матерью выглядели растерянными, а у брата Витьки появился презрительный прищур. Как посмотрел! Брат, а смотрит с ненавистью. Ты всегда хотел, чтобы родители любили только тебя, Витька. Борька встал из-за стола и поехал к Ирке. Ирка попеняла ему: «Нельзя столь бестактно выражать свои политические взгляды в семейном кругу. Нельзя так вести себя во время праздничного застолья». Но Иркины глаза при этом попыхивали победно. «Для меня главное – сопричастность», – сказал Борька.

Голой в постели Ирка выглядела тоньше, нежели в своем приземистом джинсовом комбинезоне. От поцелуев и объятий Ирка начинала плакать. «Я люблю плакать, – говорила Ирка. – От рыданий становится чисто». «А ты испачкалась?» – «Нет, все хорошо. Девочки должны плакать». «А мальчики?» – спрашивал Борька. «Мальчики не должны плакать. Мальчики должны смеяться». «А я иногда плачу», – говорил Борька. «Ты всегда смеешься. У тебя, Борька, глаза всегда смеются. И надо мной тоже». – «Нет, это ты, Ирка, надо мной хохочешь». – «Я над тобой плачу». – «Как-то ты по-одесски выразилась». – «Да, по-еврейски». – «Со смехом». – «Нет, со слезами». – «Со слезами?» «Да», – подтвердила Ирка.

2017

Янис ГРАНТС

Месяц

произвольный месяц
(который луна, а не февраль),
напоминающий стрельбу из лука,
приближается.
прохожие зачарованно
замирают,
будто смотрят
мультипликационный фильм.

по ту сторону,
около предубеждённого
велосипедиста,
по берёзе снуют птицы,
скатывающиеся в свои дупла,
как бильярдные шары.

держу пари,
некоторые промахиваются.

месяц, точно библия,
входит в каждого,
даже если
остерегаешься.

Лошадь

взнуздывает военную лошадь
на мосту.
бригада перебирается
на другой край.
ломкая улыбка (с британским
акцентом) лошади,
что радиопередача
из надтреснутого приёмника –
шиш поймёшь.

Янис Грантс родился в 1968 году во Владивостоке. Публиковался в журналах «Знамя», «Волга», «Урал», «Нева», «День и Ночь» и др. Автор пяти поэтических книг и книги прозы. Один из редакторов Антологии современной уральской поэзии (2011). Составитель сборника «На достаточных основаниях. Молодые поэты Челябинска» (2013). Стихи и проза переведены на латышский язык. Живёт в Челябинске.

взнуздывает военную лошадь
на мосту,
а у самого – бронхит:
будто половой щёткой
месят внутри что-то бурое.

поле гречихи, почки, насекомые, бутоны –
на другом краю.
а пуля – здесь.

Лестница

хромая лестница под фонарём,
не доверяющим кружеву ночи,
скрипит на каждый шаг
по-своему.
одна балясина – один слог.
на выходе что-то типа:
ле-ди-и-джен-тель-
и всё.

даже посадка ушанки на нём
как-то нелепа:
вкось-вкривь.
и язык его в переулках.
и последние новости о том же:
ничего.

земля в мыльной пене –
таков уж снег,
будто из прачечной.

тут
Глазков
Засмеялся.

Голубь

почтовый голубь
(он же ракета-носитель),
виолончелью высекающий
из камня повод для жалобы:
садитесь, пожалуйста...
голубь делает пересадку
у часовни, где
один славный малый
(поборник мира), чёрный,

словно рисунок углем,
очаровывает монашку
с вишнями на глазах.
(он заботливый и небрежный,
гвоздика в петлице.
она – осторожная, как
прекращение огня по недоразумению).

голубь-ракета-носитель
на радарах
кошки высшей категории.
как бы чего...

Отсрочка

за границами несчастного случая
осталось
аббатство без аббата.
доступ в помещения прекращён.
на усыновление временно
наложена отсрочка.
(значит, на нежность – отсрочка,
на боязнь – отсрочка,
на потом – отсрочка).
снова повестка дня:
волнение тому назад.

воздух живой и тревожный,
будто видоизменённый.
хотя...

скорая помощь бросает якорь
на углу рыбной лавки.

очередь на усыновление.
аббат возвращается.

Младенец

младенец-холостяк,
лёжа на спине позвоночника,
напоминает бекон
утренней жарки
с обугленными краями.
он портится – брошенный,
как чемодан с одним заевшим замком.
он –

приманка для клювов
баллотирующихся здесь ворон.
от них черным-черно,
будто зрачок
разросся до размеров
ЦПКиО имени Гагарина.
но вот появляются люди
в повязках и с флагами
под цвет закусочной
на перекрёстке,
где буфетчица – с лиловым
ячменём на верхнем веке.

младенец тем временем
просыпается
и шипит, как бекон.

Плойка

мужской парикмахер
размещает свою плойку
на сайте обмена и продажи
подержанного инвентаря.
там почти никого –
все на бейсболе.
да и здесь – никого.
разве что собака с ветлой
(дирижёрская палочка – и всё тут)
в пасти.
и хозяин, конечно.

мужчины теперь не вьются,
а стригутся наголо.
высохший фонтан в центре
с ямами на дне,
как барельеф наоборот –
вот интересно, чей профиль
угадывается снизу, ну,
если смотреть как бы со стороны
ядра.

мужскому парикмахеру
поступают предложения
сексуального плана.
буквы рекламы и днём
зажигаются одна за другой,
словно кто-то перебирает
люминесцентные чётки.

никому не нужна плойка.
всем нужен секс.
барометр вот-вот взорвётся,
как бочка перебродившего пива.

сделка не состоялась.
а секс – был.

Библиотекарь

печенье во рту
библиотекаря,
как закон о субсидиях:
сначала трещит по швам,
следом –
рассыпается на осколки,
а потом исчезает
в чёрной дыре.
делу – швах!
но тут оказывается, что
кусочек – чуть ли не крошка –
прилип к усам.
вот положения закона:
1. подождите немного;
2. закусите удила;
3. возьмите бинокли.
бинокли? но...
да-да.
смотрите вокруг:
чернозём, кузнец, лопасть стрекозы.
жизнь удивительна.
начните её с незаполненного
бланка.

ах да, библиотекарь.
ему вынесли порицание.
потому что нельзя.

солнце, как лезвие,
истекающее кровью –
мигает.
благословляет.

Выборы

ботинки
в кабине для голосования

танцуют чечётку.
председатель избирательной комиссии
высверливает скважины
на задёрнутой занавеске.
мозг ветвится в какие-то филиалы
на всю ширину черепа и даже
через брешь в нём.
ботинки за занавеской
дышат всё глубже и лаконичнее,
будто в них завёлся лещ или чего
похуже.
и точно:
за занавеской играют
театр теней:
проплывают кальмары,
пробегают гепарды,
ботинки, как астронавты,
парят в невесомости.

всё обрывается сиреной
воздушной тревоги.
занавеска распахивается
самопроизвольно.
пусто.
и запах:
нечистот,
гуталина.

Австралия

строение отбрасывает буйвола,
напоминающего тень.
(наоборот).
основная луковица масс
проросла.
(наоборот).
а потому что австралия!
хватит на этом.

он преподносит ей связку ключей,
как букет.
она краснеет, словно
товар мясника.

бабочки.
кабинет проктолога.
клетка с пирожными.
не останавливайся.

Вокзал

аннулированная телефонная будка
чернеет квадратом у стены.
голограмма малевича набивает рот чипсами.
почтовый вагон самоконсервируется.
полицейские переводят носильщиков
на русский.
заполненный до отказа перрон
отправляется.
диспетчер объявляет под своды
о найденных
фуражке, холодце,
канадце,
холсте и
вздыхает:
я не могу.

Залив

залив на попечении устава.
проверка трюмов по случаю
контрабанды шахмат.
скулы над грудной клеткой
перебирают жевательную резинку.
палуба.
фарфоровый холод (китаец).
начальник с подбородком
выворачивает наизнанку
плюшевую курицу.
стереокино, где обзор
ограничен защемлением
шейных позвонков.
лучше – цирк.
претензии принимаются
по четвергам.
статья.
пункт.

город за причалом
напоминает клешню с когтем,
которая царапает берег.
залив – куриный бульон
в пятилитровой кастрюле.

Пенальти

судья
(он же лаборант,
состоящий в «единой россии»)
назначает одиннадцатиметровый.
перед конструкцией для
выбивания ковров
нечто вроде перчаток
на вратаре.

рыцарь поправляет коленные чашечки,
бросает взгляд на кухню
второго этажа,
где его принцесса кипятит
чайник.

удар.

насколько мне известно,
этот узел не развязать –
хоть отбей все пенальти
в мире,
парень.

Мыло

тощий лавр разрешением
семьдесят два пикселя на дюйм
уезжает в Ливан
с подоконника уборной.
мысленно,
но всё же...

докладчик застёгивает мотню
левосторонней рукой,
законно выискивая мыло.
объектив его глаз не может
сфокусироваться на
финишной прямой.
докладчик растерян не меньше,
чем если бы покупал салат
по доверенности
с печатью нотариуса
или был подвержен морской
болезни
в этой сухопутной уборной.

мыла нет.

Очередь

известь, как подкладка,
блестит на фоне стоящих в очереди.
нижняя губа (в помаде)
со списком трещинок,
словно зарубок о поцелуях.
внести вчерашний?

батоны напоминают медленных ящериц
(по две в руки, за «московским» больше не занимать),
а мизинцы – саранчу.
витрина отражает
и петлю шарфа,
и долготу-широту пальто,
и взгляд в натуральную величину.
трещинки не сосчитать.
щурится.
пытается.
но.
нет.

Ложь

на уровне подтверждённой лжи
высвобождается лёгкая изжога.
далось им.
выпытали.
спасательный круг за стойкой
с ликёром
внесён в список «опасно для жизни».
поголовье внутренностей
(помимо изжоги) как
вестибюль подержанных вещей:
выбросить – не выбросишь, но...

в семь часов по местному
шлюз перекроют.
долгоиграющая пластинка
заела и стучит, словно
ткацкий станок.

эка невидаль: ложь во спасение.
а они:
не жилец.

Петелька

оторвалась вешалка у пальто.
ну.

это.
такая петелька на вороте.
пальто:
горькое на вкус,
чёрное как мишень,
говорливое как такси.
характер ещё тот.
я:
искушение заполучить квартиросъёмщика (секс),
тенденция к нежности,
тенор,
срок полномочий истекает в этом семестре.

благодаря оттепели
и тому подобное.

бросил пальто
на спинку стула.
давлюсь щами с тщательной
капустой,
а в голове:
петелька.
петелька.
вешалка.
петелька.

Ладно

по нечётным числам
задача дуба
приходить запахами,
нарушая предложение,
сделанное без подготовки
должностным лицом.
ладно.
старый дуб противится
случайному свидетелю
с театральным биноклем.
старый дуб – сирота.
должностное лицо – сирота.
свидетель с театральным биноклем –
сирота.
ладно.
снаружи
над запоздалой совой
или порядком –
нечётная структура вещей.
гребец под присягой

замечает препятствие,
приходящее на ум.
гребец – сирота.
запоздалая сова – сирота..
ладно.
ладно.

Буква О: 59 Слов

у меня ровно
пятьдесят девять слов,
чтобы сказать о главном.
главное – это
obsession.
одержимость.
я одержим одним человеком.
а вот он мной – нет.
это проблема всех
пятидесятилетних.
впрочем, откуда
мне знать?

а ещё из потаённых глубин
вылезает освенцим,
который на всех языках
начинается на «о».
после освенцима
любое стихотворение,
даже это,
превращается в бриллиант.

осталось шесть слов.
уже два.
одно.

Вячеслав ХАРЧЕНКО

РАССКАЗЫ

Света-щука

Д.Т.

Свою жену я ловил на разные приманки, но Света клюнула на яркую нарядную блесну блюфокс, словно ей не интересно было находиться в безрадостном мире маленького районного городка, а тут появился я, закончивший столичный техникум и попавший в это захолустье по контракту с головной московской компанией.

Свете не нравился городишко, а я любил эту бескрайнюю выжженную степь низовьев Волги, юркие протоки, заросшие лотосом, рыбные раскаты, полные ленивой и прожорливой щуки, соленые просторы Каспия, говорливые моторки и бесконечное, жаркое солнце, отражающее от воды свои острые лучи.

Когда несешься в пять утра на лодке, то только и следи, как длинноногие цапли парят в вышине, глазастые стрекозы поедают комаров и мошку, длиннорукие рыбаки свистят гибкими спиннингами, камышовые коты ворчат в зарослях, а белогрудые плечистые орланы, как воздушные якори, невозмутимо глядят на мир с вышины сосен осоловевшими исполинами.

Я любил красных обветренных егерей турбаз. Мы часто с Мухамбетом рыскали среди камышей, и однажды я закинул булькающий поппер в зеленую плоскость заросшей воды, и оттуда пресноводным китом выпрыгнула зубастая шестикилограммовая щука. Она летела вверх Гагарином, и мне казалось, что это парит птица, а потом щука схватила поппер, и я понял, что тащу человека: огромного, мужественного человека, а когда ее огромная остроносая голова показалась над водой, я осознал: это же Света, да это моя жена Света – дерзкая и упрямая, но я ее люблю именно такой.

Мухамбет заулыбался дырявым ртом и подставил зеленый подсак и втянул мою жену Свету в лодку, и она грохнулась о днище и забилась в страхе, ибо женщина должна бояться мужчину.

– Мы едем в Ялту, – воскликнула Света после свадьбы, после первой брачной ночи, когда подрагивали южные влажные звезды и Млечный путь белой нитью распугивал стрекочущих цикад молчаливой угрюмостью, но я уже был далеко, я уже плыл с Мухамбетом к вытеку, в центре которого шлепал о звенящую воду крупногрудый жерех – царь астраханской рыбалки.

«Ты мой, ты мой», – думал я, услышав его грохочущие шлепки, – «я поймаю тебя, я поймаю тебя», – полагал я, меняя одну блесну за другой, от девона «Стрекоза» до кастмастера, но ты взялся на воблер, на обыкновенный погрызенный воблер, от которого по поверхности воды разлетается струйный фонтанчик и стремительные мальки разбегаются во все стороны.

Я закинул воблер к противоположному берегу в самую стремнину, и там, в глубине, на второй проводке, я почувствовал удар, потом второй, и мой спиннинг затрещал и запел американской джазбандой, словно я хожу по Бродвею и слушаю черных губастых негров с блестящими

Вячеслав Харченко родился в 1971 году в Краснодарском крае. Закончил школу в Петропавловске-Камчатском, выпускник МГУ им. Ломоносова, учился в Литературном институте им. Горького. Стихи и проза печатались в журналах «Новая юность», «Арион», «Знамя», «Октябрь», «Крещатик», «Новый берег», Homo Legens и др. Автор книги прозы «Чай со слониками» (М.: Время, 2018). В «Волге» публиковались рассказы (2014, 2015, 2016, 2017). Живет в Москве.

саксофонами, а один из них, ударник, колошматит деревянными палочками по медным тарелкам, и такая радость написана на его лице, что ты понимаешь – это настоящая жизнь.

Браво тебе, жерех! Серебристая четырехкилограммовая рыбина билась в лодке, и я чувствовал её вольный нрав, вдыхал её рыбий запах и принимал весь ужас, который обуял рыбу.

Когда я вернулся с жерехом, Света взяла хищника за жабры и отнесла на кухню, молча и вызывающе, словно говоря мне:

– Да, да ты его поймал, но есть еще я, есть очень много меня, и тебе надо научиться прислушиваться к моему сердцу, потому что я не щука и не жерех.

В ту ночь я долго любил Свету, я нежно целовал ее в губы, проводил ладонью по ее бутылочным бедрам, и мне казалось, что я везде расставил сети, я все предусмотрел, но, возможно, мне не хватает чего-то самого главного, но чего – я не знаю.

Как-то раз на турбазе, в полдень, я наблюдал, как змея ползла вдоль берега и от нее в страхе в воду прыгали лягушки, но их в глубине поджидали щуки, и тут я понял, что я – бедная лягушка. Что бы я ни сделал, я все равно окажусь неправ, потому что даже если змея уползет, а лягушка в воду не прыгнет, то все равно найдется вертлявая и хитрая щука, которая выкинется из воды за бедным лягушонком, чтобы схватить его на берегу, а потом ввалится обратно в мутные глубины волжской воды.

Однажды мы с Мухамбетом поехали на Каспий, и когда уже достигли моря, увидели, что вся поверхность воды завалена рыбой. Мертвые тушки воблы, селедки, судака, тюленей, осетров – ни одного просвета, только вонючая колышущаяся гладь.

– Зачем они это сделали, – спросил я.

– Нефть, они качают нефть, – ответил Мухамбет.

Я взял из воды рыбину и принюхался. От нее пахло смертью. Когда я вернулся, Светы дома не было. Я уволился, собрал вещи и поехал в Москву.

В Астрахани зашел в Кремль. Высокий, смуглый гид водил меня по церквям: собор Успения Пресвятой Богородицы, собор монастыря Троицы Живоначальной, Кирилловская часовня. Иногда гид останавливался и спрашивал у меня про клев: как судак, как сомики, как жерех. Я улыбался.

Залом

С начала мая и до конца июня вижу Нину на набережной Астрахани. Хотя залом запрещено ловить, но все пытаются, вот и Нина стоит, дергает вверх-вниз удочкой, стараясь подцепить на голый крючок жирную серебристую селедку.

Я не рыболов. У меня есть снасти, но я не испытываю бодрящего азарта, присущего всем любителям рыбалки.

Я вытащу рыбку, покурю, посмотрю в небо, откинусь на спинку брезентового складного стульчика: облака плывут, мошка зудит, птички поют, солнышко жжет.

Настоящий рыболов от улова дуреет, накидывается охотничьей собакой и начинает судорожно кивать удилищем, одну за одной тягая из мутной волжской воды каспийскую красавицу селедку.

Сегодня у Нины не складывается. Она стоит чуть в стороне, и на ее светящемся лице отражаются все муки преследующих ее неудач. Она то поведет взглядом в сторону и заметит, как я вытаскиваю уже пятую рыбку, то обратит внимание на красного беззубого старика, стоящего от нее по правую руку. Старик смеется в небо, старик поправляет клетчатую засаленную кепку, у него уже полведра.

Я стесняюсь. Я вообще стеснительный. К тому же у меня есть жена и дети. Если я приду домой без улова, не забью селедкой за месяц весь морозильник, не засолю и не поставлю в гараж бочку залома, то жена подумает, что что-то со мной случилось, и будет права.

Нине лет тридцать-тридцать пять, она не единственная женщина с удочкой, но обычно это старухи под шестьдесят. Когда у Нины заканчиваются сигареты, и она идет к табачному ларьку купить пачку «LD», я подхожу к ее садку и перекладываю в него свой улов.

Где-то в вышине летит белокрылый широкоплечий орлан. Стремительные ласточки проносятся над головами рыбаков, по набережной гуляют дети с мамашами, от бетонной плитки и гранитного парапета идет нестерпимый жар.

Нина вернулась и клюет своей снастью, ничего не замечает. Вот у удочки кивнул кончик, и Нина под одобрительные взгляды рядом присутствующих мужчин вытаскивает свой первый за день трофей. Нина широко улыбается, аккуратно снимает с крючка селедку, и рыбка, немного подергавшись в нежных белых руках Нины, ныряет в стальное нутро садка.

Вот тут-то Нина и видит, что садок ее полон. Ее обманули, ей кто-то подсунул залома, и какая-то горечь вперемешку с детским восторгом и странной благодарностью отражается на ее лице.

Нина поднимает глаза и внимательно осматривает рядом стоящих рыбаков. Все заняты, никто не обращает на Нину внимания, и тогда она, решив, что это сосед справа, идет к красноорожему и пытается что-то втолковать старику. То ли отблагодарить, то ли возмутиться, но старик ничего не понимает и только весело смеется, размахивая кепкой в разные стороны.

Мне радостно и смешно и немного жаль Нину. Я собираю снасти, беру пустое ведро и медленно и вальяжно бреду домой.

Дома меня, наверное, отчитают, что я, потратив кучу времени, так ничего и не поймал, но мой день удался. Мне хорошо и приятно.

Где-то по центру Волги, по фарватеру юркий и проворный буксир тащит степенную баржу. Ласковые волны бьются о гранитные доспехи набережной. Я достаю наушники и слушаю джаз. Тибуду-тибуду-тибуду.

Евгения ИЗВАРИНА

***

Через подтопленные плетни
камешек перебрось:
речь ли-река мелеет и
замедляется? Сквозь
слова тумана, листвы слои
музыку под уздцы
берут василиски и соловьи,
плотники и косцы;
сама в поводу – что в огне леса,
в копоти купола,
уводит музыка голоса
туда ли, куда звала?
Полынь пылит,
колыбель плывёт,
ни огонька в степи.
– Не плачь, дитя, никто не зовёт –
все уже здесь.
Спи.

***

...ножичек для игры в ножички...
Г. Каневский

перочинные ножички, камни для зажигалок
патефонные иглы, игрушечные пистоны
и того же калибра бумажного серпантина
рулончики, и фестончиками присборен
крепдешиновый лиф у платья, взлетала юбка
фасон полусолнце, керосином топили и освещали
обещанием жили, под музыку выносили

тысячью мелочей воскресают по барахолкам

Евгения Изварина родилась в г. Озерске Челябинской области. Живет в Екатеринбурге. Работает редактором отдела газеты Уральского отделения РАН «Наука Урала». Автор восьми книг стихов, публикаций в российских и зарубежных журналах, антологиях и коллективных сборниках. Лауреат литературной премии им. П.П. Бажова. Член Союза писателей России.

***

давно так не было:

помехи
полосы и, хуже того, пятна
мягкие провалы света
звука
ангел появляется на экране
пепел
        озон
                микрофон пришпилен
поясняет охотно: «...вот смотрите...»
дальше какая-то ахинея
криптозоология ханаана
экран сворачивается свитком
чай рывком выкипает из стакана

мир больше не соткан

***

семь нот, семь ничком по казармам
небес ни о чём

скрипичным, как если б слесарным
короче, ключом

на части, едва помаячив
разобранный блюз

разлука извечно незрячих
и снова союз

как пепел завис дирижаблем
неновый движок

каркасное облако обнял
и снова поджёг

***

...Метель – над балаганом, в балагане –
метель, и междометия оркестра
мутны, как разлетающихся грани
стаканов, где буфетная нарезка
подмята дракой, сельдь плывёт по маслу,

метель кромсает холст и щиплет дранку,
в каптёрке заигравшимся в канасту
неведомо, куда потянет лямку
фортуна этой ночи, ветер мечет
по всем рядам ожоги фотовспышки,
и на канате чёрный человечек
сбивает проржавевшие задвижки
с котла (кому-то – купола) в кометных
багровых росчерках, на полюсах магнитных
псоглавые в крестах и эполетах
пьют первый тост за винторогих в митрах...

***

сумерки здесь цвета сенного стога
марева табачного и птичьего молока

и не ждёт никого, и сама не своя тревога
в сторону твою не глянет пока
а глаза её и так-то – трактовая улица
зелень почти июльская, разлюли-беда

вот ещё говорят: море волнуется
а оно – ни капельки
никогда

***

...зеркалу веришь как сердцу – до первого вздрога,
глубже могилы, зимы впереди на полшага
падает ключик, не вынутый из-под порога –
это вращенье земли, это нега и тяга
перемещает прицел – и становится былью
точка на беженце, крестик на переселенце,
в сумерках, сбившихся рябью, развеянных пылью
тонет пустынный кустарник, шипом его в сердце
всякой потери – впивается жизни излишек,
рыбок и птиц, что назавтра – в ягдташе, в продаже,
кормит протока не шире ладони – в ней дышит
зеркало, что горизонта решительно дальше...

***

криком по разлукам из дома в дом
перекрёсток помнит, как кочевал
страны света лгут ему вчетвером

прачки улыбаются гончарам
прямо – через улицу, криво – вдаль
на алтын, что кинет богатый гость
выкупи манишку, зарой печаль
как на перекрёстке собачью кость

***

в небе колокола – под водой киты
дирижабли божеской наготы

половинки здешнего «никогда»
складывает вода

в наготу неволь, на лету эмаль
перемелется, только соли жаль

остающуюся в пике
половинку на плавнике

***

...потому и птицы, что – рук не прячь,
будь им богом, хлебом разломи
поминальный скит, повивальный плач,
где слеза сдвигает пласты, слои,
где двоится слух что горящий спирт,
где похожи стрелы и кружева
на глоток воды, а вода стоит
на неравных спинах орла и льва,

а плывут ли птицы, летит ли снег –
катаракта кадры снимает с век...

Гала УЗРЮТОВА

РАССКАЗЫ

Снег, который я пропустил

Мне было стыдно уже пятнадцать минут. Но стыд этот был холодный, застывший. Я даже сначала не узнал его из-за отсутствия жара. Только когда один муравей замедлился, а второй и третий остановились, ощутил мерзлоту внутри. Муравьи не хотели выползать из новых белых кроссовок, которые я выбросил в снег, и мне пришлось вытряхивать их. В правой кроссовке завелось целое муравьиное гнездо – тельца сыпались оттуда, как скрученные значки бесконечности.

Снега утром выпало хорошо много, как раз для самой большой лопаты, которой пользовался только отец. Зима захотела вычистить всё и сыпала порошок в каждый угол. Не думаю, что ей удастся отстирать мои пятна. Зима без пятен бывает только в лесу, а в городе или здесь, в деревне, пятна настолько въелись, что никаким отбеливателем не возьмешь. Пятна – всегда чьи-то воспоминания, и если живешь, оставляешь следы. Не оставляют их только разве муравьи на снегу, которые снова зашевелились. Некоторые пытались вернуться в кроссовки, другие – барахтались в замерзшей стиральной пене. Еще два муравья выползли из рукавов моей куртки, но стряхивать я их не стал.

Отец всегда говорил, что чистить снег надо от крыльца к дороге, но я делал наоборот, из раза в раз подгребая белую груду с улицы к деревянным ступеням дома.

– Ты это назло мне делаешь, чтобы я тебя больше не просил? – ругался отец. – С другого конца надо начинать! И чистить надо до асфальта! А ты что сделал? Опять мне за лопату браться. Как ты дальше жить-то будешь?

Дальше я жил, ни разу не взявшись за лопату. Когда отец перебрался в город, с лопатой я не видел и его. Видел всё чаще с магазинными пельменями, которые он варил почти каждый день. Запах магазинных пельменей – самый сильный запах одиночества. Отец осторожно жевал чужие пельмени оставшимися зубами, и я понимал, что он совсем один на земле. Дома я ел свои – мамины – пельмени, чувствуя горячий стыд за то, что я не так одинок, как отец. Чем больше я ел домашних пельменей, тем более одинокими становились остальные люди. Но когда я смотрел на отца, лицо которого краснело от пара наштампованных пельменей, мне казалось, что он ел одиночество за всех.

Лопата была тяжелой и рвалась из рук. Начав от крыльца, я двигался к дороге. Если хватить снег лопатой один раз, асфальта не увидишь. Нужно сбросить охапку на газон, сделать еще два-три захвата, прежде чем появится черная корка. Я решил сначала очистить верхний слой легкого снега и потом браться за нижний, плотный, истоптанный за неделю.

Гала Узрютова родилась в 1983 году. Окончила Ульяновский государственный университет, по образованию рекламист. Автор книги стихов «Обернулся, а там – лес» (М.: Русский Гулливер, 2015). Стихи переводились на немецкий и английский языки, проза – на итальянский. Лауреат поэтической премии имени Н.Н. Благова, дипломант литературной премии Дмитрия Горчева (2017), финалист российско-итальянской литпремии «Радуга» (2015, 2017), лауреат номинации «Специальная премия «Русского Гулливера 2014», дипломант Волошинского конкурса, лонглистер премии «Дебют» (2006, 2007). Пьесы становились победителями, входили шорт-листы в драматургических конкурсах «Баденвайлер», «Действующие лица», «Евразия», «Любимовка» и др. Живет в Ульяновске.

Отец чистил по-другому – он сразу доходил до сути, до асфальта, и только потом двигался дальше. Если бы я записывал за ним во время чистки снега, могла бы получиться целая книга-инструкция «Как надо и не надо чистить снег». Тогда мне было скучно, а снег казался обязанностью. Теперь же, впервые взявшись за лопату сам, я писал свою книгу, в которой едва ли накопилось бы три страницы.

Например, глава «О чем ты думаешь, когда чистишь снег». Я думал о том, что мой правый ботинок промок, и ноге было холодно. Отец, наверняка, не обратил бы внимания на такую ерунду, а я всё не понимал, почему снег добрался до правой ноги, не тронув левую. Может, снег правша? Думал о том, что снег – это белая земля, но она временная. Если только не считать, что снег – это замерзший свет, и тогда он не исчезает. Думал о том, сколько снега я мог перетаскать в лопате за столько лет, и этот пропущенный снег не давал мне покоя.

Если ты пропустил снег, то однажды тебе придется его наверстать, будь уверен. Я это понял, когда дошел до середины дорожки, и с неба снова запахло белым. Как будто десять лет твой телефон был вне зоны доступа, а сейчас сеть появилась, и ты должен прослушать все пропущенные за эти годы звонки. Вернувшись к крыльцу, я начал еще раз, соскребая с асфальта только что нападавшие хлопья. Зиме явно казалось, что одной стиркой здесь не обойтись и нужно запустить вторую.

– Иди ешь, я пельмени сварила, – вышла мать на крыльцо.
– Дочистить надо.
– Как хочешь. Остынут.

Дорожка уже чернела наполовину, а снег перестал. Нужно было закончить до того, как стемнеет. Мы ждали Женю Сергеича, который собирался прийти посмотреть отцовский автомобиль и купить его. Я хотел быстрее очистить всё до асфальта, чтобы выгнать «шестерку» из гаража на просмотр.

Стал еще яростнее раскидывать снег. Из кармана куртки показался муравей, но тут же нырнул обратно. Сколько времени понадобилось бы муравьям, чтобы захватить целый дом? В комнате отца, где после развода с матерью он не был, муравейники не выросли, но иногда я натыкался на гнезда. Как в это утро, когда обнаружил, что отцовские кроссовки полны двигавшихся телец и лапок.

Помню, как отец единственный раз надел эти кроссовки. Он вышел в них на дорожку перед домом и ходил туда-сюда, приговаривая, какие они удобные и мягкие, позируя, как на торжественном красном ковре. Дорогие, наверное, зачем на меня столько денег тратить, добавлял. Буду к реке бегать и в лес, продолжал он, но кроссовки дальше этой дорожки так и не пошли. В город он их с собой не взял.

– Сергеич звонил, скоро придет, – вынырнула снова мать на крыльцо.
– Я как раз закончу.
– Может, не придет сегодня.
– Мам, год прошел. Она заржавеет. А так хоть людям послужит. Сергеич будет следить, он машины любит.
– Ты же ее не заводил. Может, она не поедет вообще.
– Вчера заводил.
– Поел бы, остынет.

Крыльцо опустело, и я накинулся на дорожку с еще большим жаром. Чуть не вывалив снег из лопаты на муравьев, присел и заметил одного большого, с чем-то белым сзади, похожим на яйцо. Другие уже почти перестали карабкаться, а он пытался подобраться к кроссовкам и вернуться в дом. Маленькие невинные твари лежали на снегу и мечтали о лете. Они строили дом и ждали детей, а я выбросил их на снег. Сняв перчатки, стал собирать черные тельца со снега в ладонь. Не-

которые из них зашевелились. Когда черных точек на снегу не осталось, я отнес полную ладонь стылых муравьев домой и положил их на газету в сенях.

– Ты что ли там возишься? – выглянула мать.
– Замерз.
– Иди поешь уже.

Я расхлебывал горячие пельмени и думал, выживут ли мои муравьи. От пельменей пахло домом и родным. Ни на то, ни на другое я не имел права и до конца жизни должен был есть только магазинные пельмени, ведь я лишил дома кучу живых тварей. Вернувшись в сени, наблюдал, как несколько муравьев отползали дальше и дальше от высыхающих следов снега. Никто не видел, как я осторожно дул на них, пытаясь высушить. Разве что остальные муравьи, попрятавшиеся в надежде избежать снега. Они не знали, что такое снег, но уже поняли, что его лучше избегать.

Осталось очистить последний метр дорожки, но лопата кусает всё меньше снега. Еще метр – и мой снег кончится. Еще метр – и я выкину двадцать лет снега из своей жизни. Последняя лопата оголила дорожку полностью. Идеально ровная черная линия резала белый двор пополам, как молния – мой вымокший от снега пуховик. Я ерзал лопатой по асфальту, сдирая оставшиеся белые пятна.

– Чего ты там скребешь? Снега больше нет, – кричала мать с крыльца.

Дорожка была слишком пуста, чего-то не хватало. Я выдернул из сугроба кроссовки отца и поставил их на асфальт. «Шестерка» завелась с первого раза, но я не рассчитал, и кроссовки оказались под ней. Мать надела куртку, подошла к машине и села на отцовское сиденье. Кресло скрипело от мороза в тон хрусту снега под моими ногами.

– Это мы себе оставим, – пыталась она снять колобка, висящего на зеркале у лобового стекла.
– Пусть висит, оставь.
– Что значит «пусть висит»? Это же ты его отцу подарил, не помнишь? Талисман! Зачем Сергеичу чужой талисман? – она сорвала колобка с цепочки и протянула мне.
– Смешной.
– Это мы тоже заберем, – продолжила она, пытаясь вытащить магнитолу.
– Мам, так не делается. Сергеич знает про магнитолу, он будет спрашивать.
– Мы цену снизим.
– Мам.
– Что «мам»? Вещь дорогая.
– Так нельзя. Что ты с этой магнитолой делать будешь?
– Тогда хотя бы кассеты.
– У нас даже их слушать не на чем. Никто уже давно не слушает кассеты.

Мать открыла бардачок: кассеты стояли точно так, как их расставил отец – в алфавитном порядке. Она вывалила стопку на соседнее сиденье и достала одну, в цветастой обложке.

– «Битлы». Эту кассету я ему подарила. Он их не любил особо, но одну песню всё время включал, когда мы вместе куда-нибудь ездили.
– Какую?
– Как это вставлять? Сюда? Ну-ка, включи! Включай! Она первая на этой стороне.

Я поставил нужную сторону, и мать стала подпевать задним колонкам:

I've got to admit it's getting better,
A little better all the time

I have to admit it's getting better,
It's getting better since you've been mine...

– Громче, – попросила мать и отвернулась, чтобы я не видел, как она плачет.

Битловский голос кипел так горячо, что я удивился, почему от колонок, стоявших в раскрытой машине, не шел пар.

Сергеич купил «шестерку» за десять тысяч рублей и уехал.

На чистой черной дорожке белели отцовские кроссовки.

Счастливая шапка

Настал день, когда Артур должен был собрать отца в больницу. Пока он вел старика из спальни в коридор, по телевизору успели рассказать о погоде в Ростове, Самаре, Воронеже, Петербурге и Москве. Погоду в их городе никогда не сообщали. Да и Артура это перестало интересовать, с тех пор как в жизни установилось только два сезона: отец в больнице и отец дома.

Он осторожно усадил старика в заранее приготовленный стул и стал надевать ему ботинки.

– Дай сам, – прервал его отец, но, подернувшись, тут же разогнулся и снова облокотился на спинку стула.

– Рано тебе еще самому. Вот долечишься и будешь самкать.

– Как ты с отцом-то разговариваешь!

– А как с тобой говорить, когда ты как ребенок.

– Чего это как ребенок?

– Ты даже не помнишь, когда у тебя день рождения. Как только родился. Хотя вчера повторяли. Каждый день одно и то же.

– Как это не помню? Седьмого января.

– Это у другого седьмого января. А у тебя пятого марта!

– Сам ты пятого марта! Пятого марта – это у тебя. Али я не помню?

– Опять двадцать пять. Запомни уже – пятого, пятого марта! Нормально шнурки? Не туго? Встанешь сам? Помочь?

– А у кого тогда седьмого января?

– У того самого.

– А что это за ботинки? Новые, поди? – встал отец, пробуя обувь на шаги.

– Какие новые, пап? В прошлом году еще купили тебе. Правда, ты всего раза два их надевал с этими больницами.

– Дорогие, небось. Были ж у меня старые, коричневые.

– Пап, не выступай, а. Такси сейчас уже приедет, пошли. Все взяли?

– Зачем тебе сумка такая больша?

– Это твоя сумка, пап. Мама собрала в больницу тебе.

– Ишь ты, как на курорт. На курорт, поди, едем?

– На курорт, на курорт.

– Курорты – это мы любим. Погодь-ка. Забыли, – оглянулся отец.

– Чего забыли? Все взяли, пап, поехали уже!

– Забыли-забыли. Ну-ка, пошвыряй там, в спальне у меня.

– Что забыли-то? Что искать?

– Шапку.

– Какую шапку?

– С помпоном!

– Эту, что ли? – Артур принес из спальни серую драную шапку с большим розовым помпоном,

напоминавшим отцветающий разветренный пион. Эту шапку, пролежавшую лет пять в шкафу, как заснувшая кошка среди старых вещей, мать купила Артуру еще в начальных классах. Заболев, старик стал надевать ее по ночам, чтобы голова не мерзла.

Отец выхватил у него шапку и надел, однозначно направившись к двери.

– Пап, ты что – так пойдешь? Ты с ума сошел?

– А что? Айда, таксяй твой ждет, айда!

– Пап, она же совсем драная. Это же дома просто, чтоб тебе не холодно было! Никуда ты в ней не пойдешь! Надень вот эту, недавно купили тебе хорошую, новую!

– Куда лезешь-то? Руки распустил! Сказал, эту, значит, эту! Не зли меня! Айда!

– Я не пойду с тобой в этой шапке! Позоришь только!

– Ну, и иди к лешему! Не пойдет он! Это счастливая шапка! Счастливая! И я пойду в ней!

– Чего? Почему счастливая?

– Дурья твоя башка! – оперся отец на стул. – В этой шапке я ходил, когда вернулся из больницы!

– Куда ходил?

– И гулять ходил, и по дому!

– На улицу? В ней?

– Ходил, с собой брал и там девал ее на бошку-то. Вот и хочу в ней ехать, чтоб вернуться-то с курорта этого больничного. Вернуться чтоб. И гулять.

– Дурдом какой-то! Пошли уже! Сигналят нам!

Шатаясь, исчезал розовый помпон в гуляющем холоде двери.

***

В то утро свет падал как раз на отцовскую койку, рассеиваясь так, будто искал кого-то, а смог нащупать лишь простыню, подушку и смятое больничное одеяло.

– Артур, а куда ты все понес-то? – спросил его сосед отца по палате, рыжий мужчина с привязанными к кровати руками. – Переводят папку куда, что ли?

– Переводят, дядя Ген, переводят.

– Куда это? – удивилась Генина жена, успокаивая руки мужа, бившиеся на привязи.

– Туда и переводят, тетя Кать. – Туда.

– Матушки! Да ты что! Да как же это! Операция же хорошо вчера прошла. Да как же это, а? Господи! Да не дергайся ты, Ген! Успокойся! А, ба! Мамка-то знает, Артур?

– Знает, – выдохнул он, выгребая тюбики, одежду, журналы, пакеты, бритву и памперсы из тумбочки.

– Матушки, горе-то какое. Не помещается? Сейчас дам тебе пакет еще, у меня есть. Сейчас.

– Не надо, тетя, Кать, засуну как-нибудь, – вещи то и дело вылетали из пакета, нарушая свет на кровати и на полу.

– На вот, клади сюда, Артур, клади, давай помогу, давай.

– Спасибо, тетя Кать. Да я сам. У вас вон, ангел какой лежит. За ним глаз да глаз нужен!

– Да тут полбольницы таких ангелов, Артур. Этот вчера, в соседней палате, с усами который. Ногами ползал по стене, жена его рассказывала. А ночью-то, во сне, значит, она ему руки-то развязала, чтоб хоть поспал нормально, а он во сне как будто курил, значит. А она смотрит – то ли курит, то ли крестится во сне. Вот как бывает. А медсестра сказала, ангелов столько, что в отделении веревки кончились. Сами, мол, ищите, чем привязывать их.

– Артур, все взял? Ничего не забыл? Телефон его взял? – плакала из двери мать.

– Наташенька, держитесь, и ты, Артур, будь с мамой, будь. Горе-то какое! Господи! Вчера только, надо же. Ну, давайте, с Богом! – падали в свет Катины слова, вырастая то в пакеты, то в пыль, то в подоконник. – Успокойся, Ген, успокойся. Его просто перевели в другую палату. Они вон его вещи забрали, понесли ему в другую палату. Специальную – после операции. Не здесь же ему лежать. Сейчас тут медсестра все заново постелит, и нового соседа тебе положат. Познако-

мишься. Скоро мы вылечимся, поедем домой. Скоро майские праздники. Дома будем встречать. Дома. Завтра Лешка приедет, он уже с работы отпросился. Он тебе ту рыбу привезет, как ее... Ну, которую ты любишь. На даче которую мы тогда коптили. Привезет. Немножко-то можно. Попробуешь чуть-чуть. О, Артур! Забыл, что ли, чего?

– Да вот, вещь одну забыл. Да где же она? Тетя Кать, не видели тут такую шапку старую?

– Это такую с розовым помпоном?

– Да-да.

– Так это. Прятал ее твой отец куда-то. Помню, Наташа-то ему говорит, мол, выкину, если еще раз в ней увижу. И он ей: я те выкину, щас я те выкину! А потом он ей и говорит, что выкинул, но я его еще видела после этого в розовом помпоне этом. Спрятал, наверное, где-то. В тумбе смотрел?

– Смотрел, нет там. Я оттуда все выгреб. Может, мама ее выкинула.

– Так ведь это, медсестра тут прибиралась сейчас, стелила. Может, она и забрала. Ты спроси-спроси.

– Это какая?

– Высокая такая, полненькая. Маша, что ли.

– Пойду спрошу. Спасибо, тетя Кать. Пока, дядя Ген!

– Пока, Артур, пока. Ну что ты опять загрустил, Ген? Ну, не могу я тебя развязать, не могу. Опять сейчас буянить начнешь. Потерпи еще немного, потерпи. Скоро домой поедем. Гулять с тобой будем. Сначала немножко, а потом подольше. Упражнения будем делать. Врач сказал, надо упражнения делать. Лешка тебе там турник сделает, будем заниматься.

***

Хоронить в майские праздники – все равно что в новогодние. Когда катафалк заезжает во двор, там уже роятся машины, жужжа распахнутыми дверцами. Жильцы дома несут рассаду, контейнеры с шашлыком, мини-телевизоры, антенны, уголь, кошек и собак. Почуяв горе, люди убавляют музыку в машинах, тихо закрывают дверцы и уезжают на дачи.

Солнце пробралось даже внутрь катафалка, освещая черный костюм того, кто за рулем, и лицо сидящего рядом. Второй иногда пил пиво: работа такая, что не объяснишь, чем занимаешься, маленькой дочке, с которой тебя узнают на улицах родственники десятков похороненных тобой в городе людей.

По пути солнце пропало, а когда процессия подъехала к кладбищу, оно замелькало снова, будто специально, чтобы проводить Артурова отца. Лучи грели всё, кроме ямы.

– Ты спятил, что ли? Отца хороним, а он, как клоун, в этом помпоне! Сними! – сквозь рыдания умоляла мать Артура. – Где ты ее взял? Я же ему сказала выкинуть!

– Он спрятал. Шапка под матрацем была. Мне потом медсестра дала ее. Это его счастливая шапка.

– Снимай!

– Не сниму!

Пока все поминали отца в столовой, Артур вышел на майское солнце и направился к берегу. В детстве, когда отец проходил через сосны леса и подолгу стоял на берегу реки, то казалось, что это его главное предназначение. Артур с матерью бродили и стояли сзади него, разглядывая воду и небо.

– Слишком близко не подходите, – всегда предупреждал он, стоя на песчаном яру. – Обвалиться может.

Время шло, а отец все молчал на самом краю. Стоял до того, что уже становилось ясно: отец – это продолжение берега, очертания которого сливались с его спиной в одну плоскость. Сталки-

ваясь с отцовской спиной, прямая линия берегового обрыва вдруг превращалась в гору, а затем снова успокаивалась в темную равнину.

– Холодно. Пошли, – разворачивался отец. И они уходили через лес.

И Артур ушел через лес, раньше заката оставив полыхать на ветке сосны старое пионовое солнце.

Маки

Отец Егора был Петр. Быть Петром в той деревне означало иметь электрокосу с аккумулятором. До того он был Петр, что не проходило и дня, чтобы кто-то из местных не позвал его подрезать траву. Тогда он вставал с крыльца, швырял бычок в грязную консервную банку и шел в сарай.

– Ну что, пошли, подруга, на дело, – и, ухватив косу за талию, скрывался за калиткой.

Инструмент Егор привез из города. Сам в городе и остался. Сам теперь годился себе в отцы.

Петр никому косу не давал, всегда косил сам.

Жена Петра была Зина. Быть Зиной в той избе означало надеяться, что кто-то расплатится с мужем купюрой, а не бутылкой. Но Петр снова вернулся с начатой полторашкой самогона.

– Где подругу-то потерял, мешок?
– Отдыхает пусть! – свалился Петр на кровать.
– Вставай и забирай ее оттуда! Уволокут!
– Отстань!
– Вставай, кому сказала!
– Потом заберу!
– Ищи-свищи потом! Ты чем зарабатывать будешь?
– Хорош, дай поспать!

Зина без надежды треснула Петра, сняла фартук и умчалась на зады, откуда с утра доносилась электрокоса.

Когда у Зины была цель, она шла яростно. И сейчас – настолько рьяно, что чуть не столкнулась с лесничим Степкой в конце улицы. Он плелся, заправляя рубашку в спортивные штаны и напевая о том, что не надо печалиться, а вся жизнь впереди. Поздоровавшись, Зина посчитала Степку пьяным и пошла быстрее.

Песок под ногами вздымался, скользил, и ее заносило на поворотах. Так же – скользя – Зина пятьдесят лет назад шла в эту деревню по льду реки. Автобус не приехал, а ей нужно было добраться на работу в санаторий. Выпускницу поселили к Петру. Тогда он еще был салагой-шофером – в общем, Петькой. Возил ее в столовую санатория, вот и довозился. Сейчас бы по этому льду, да обратно. Но летом река не мерзнет.

В калошах, потяжелевших от песка, Зина подошла к дому Махоркиных и ринулась во двор.

– Дома есть кто? Дома кто?

Дым из банной трубы чернил небо. Махоркины опять топят гнилушками. Даже если бы им привезли свежих дров, они бы дождались, пока те начнут гнить, и только потом бы затеяли баню, думала Зина.

Валя Махоркина, снова беременная, вышла на крыльцо и показала, где Петр оставил электрокосу.

Зина подняла ее с земли, взяла за горло и двинулась домой. Уже у самого дома Зина хотела перевесить косу на другое плечо, но та соскользнула и вляпалась в коровью лепешку самой своей косибельной частью.

Она бросила инструмент во дворе и ворвалась в избу. Петр лежал на том же боку, а самогона в бутылке совсем не осталось. На горлышке сидела жирная летняя муха.

– Давай вставай! Иди мой свою косилку от говна! Вставай, лодырь! Вставай!

Муха вылетела в сени.

– Какое говно еще?

– Твоя коса вся в говне! Иди мой! Я, что ли, мыть должна? Сейчас засохнет и вообще не ототрешь!

– Отстань!

– Иди мой сейчас же!

– Уйди!

– Она вся в говне! Всю жизнь как говно в проруби мотаешься! Всю жизнь – ни туда, ни сюда! Зачем только такого полюбила!

– А ты не люби, а взглядывай!

Зина хлопнула дверью и вышла на двор.

Схватив электрокосу, она направилась в дальний угол огорода. Целиком Петров угол, обросший елями и вишней. Здесь первую неделю как закраснели маки. Петр еще и налюбоваться ими не успел, хотя у поляны сидел каждый вечер.

Солнце падало на лепестки мака, но они не тяжелели.

Зина врубила косу и, еле удерживая ее, пошла без разбору. Маки брызгали на зеленое вперемешку с засохшими ошметками коровьей лепешки. Неслышно падая, цветы добавляли закату красноты. То ли дерьмо, то ли маки ударялись о бабьи ноги со вспученными венами. Когда на поляне остался один мак, коса заглохла. Зина треснула ее, та завопила и закончила работу. Замолкла уже чистая.

Устроив инструмент в сарай, Зина вышла в палисадник. В свой угол – с осокой и лилиями, еще больше порыжевшими от закатного света. Облокотилась на забор и прибила комара на локте. Лес вдалеке шел в дымке, вечерний. Зина вспоминала, как мать Петра при первом знакомстве привела ее на маковую поляну.

– Вот, для Петеньки оставила, больно он их любит. Несколько лет назад колдыри разные повадились лазить по всей деревне, мак собирать. И начальство местное потребовало, чтобы всё выдрали. Все повыдергали, а я оставила. Из-за Петеньки. Расплакался он тогда, я и сохранила. Больно ему нравятся они.

Дверь избы заскрипела, хлопнула, и Зина услышала Петровы шаги, затихающие в сторону маковой поляны. Она принялась топтать лилии калошами. Прижавшись к земле, стебли возвращались снова и снова. Теперь Зина драла их с корнем и бросала за забор.

За палисадником обратно к лесничеству стелился Степка. Рубашка его шарахалась на ветру и подвывала хозяину:

– ... с детства скитался, не имея родного угла. Ах, зачем я на свет появился, ах, зачем меня мать родила...

Алексей ПОРВИН

***

От сырости деревья пустотелы,
выпростали россыпь зверьков
(как дробь, разлетевшихся по белым
просторам), но не прольётся кровь.

О взгляде, направляемом в туннельный
сумрак в самом сердце дерев –
дрожание лиственной молельни
не скажет, огнём души́ зардев.

Внутри стволов – лишь превращений морок,
звери были чем-то иным
до входа в держащую измором
округлость? Она вбирает дым.

Вбирает всё – и своего добьётся.
Что её кора в языке?
Лишь горечь небесного болотца,
что стала растением в тоске.

***

Маки роняют на поле
росу, а тишину тьмою пропитав,
снова людскую душу побороли:
обновлённый въедлив состав.

Властную силу у всяких
ошмётков отними, летний небосклон,
слово в звучаньях смутных и двояких –
навсегда возводят в закон.

Речью крепчают отъёмной:
мы держим города́ счастья на себе:
счастливы те, кто в правде чернозёмной
засыпа́л, забыв о борьбе.

Алексей Порвин родился в 1982 году в Ленинграде. Публикации в журналах «Волга», «Нева», «Дружба народов», «Воздух», «Новая Юность», «Носорог», «Урал», «НЛО» и др. Автор стихотворных книг «Темнота бела» (М.: Арго-Риск, 2009), «Стихотворения» (М.: Новое Литературное Обозрение, 2011), «Live By Fire» (Cold Hub Press, 2011), «Солнце подробного ребра» (СПб.: ИНАПРЕСС, 2013) и «Поэма обращения. Поэма определения» (СПб.: MRP, 2017). Лауреат премии «Дебют» в номинации «Поэзия» (2012), входил в шорт-лист премии Андрея Белого в номинации «Поэзия» (2011, 2014). Живет в Санкт-Петербурге.

Ёжик даётся в ладони –
обрывок мировой карты на игле
тёмен, а людям скажет: узаконю
забытье в прибрежном тепле.

***

На выходе из мёрзлого сада
торгуют фруктовым льдом
реки́: она молчащего смлада
согревала, называлась *дом*?

Потоками цветений вишнёвых
и яблочной прочь волной
смывало мысль о тяжких покровах,
не похожих на словесный зной.

А ныне льды прорублены, чтобы
ловить беготню идей,
метать блесну в остатки потопа,
не давая говорить воде –

Каким бы ни был отстве́т на теле,
он лучше, чем ткань, сумел
согреть – и сердцевину метели,
и вкусивших ледяной пробел.

***

В шапку брошен холод – и звоном
вторит молчанью в углах
Площади Времён Бережёных,
где искры угасают впотьмах.

Холод брошен в шапку – и звоном
выскажет: слышащий свит,
как верёвка в море незваном,
что к горлу подступает, саднит.

Флюгерный кораблик облеплен
снегом минувшего дня:
парус шевельнётся, как в пепле
остатки золотого огня.

Флюгерный облеплен кораблик:
правду вдохнувшая снасть –
для сугрева выпросит рублик,
звенящий нарастающим *несть*.

Руины

Свет на свет меняли, не зная: нас
к дому приравняли; грозящий снос –
отправлял минуты сюда – не в даль
(звёздами растущих вовне) недель.

Время переходит из одного
звука тесного в другой,
из комнаты в комнату, никого
не встречая внимательной виной.

Из архитектуры набрать имён
низких – это участь ушедших вон:
как перестановку привычных стен
восприняв – слиянье, зарю, обмен.

В звуке поцелуя просторный свод –
и не видно, выход где:
кто «*стены обрушились*» обзовёт
расширенье бескрайнее в звезде...

***

Как страница, чей возглас – дым,
выдрана сквозная мера,
прошелестев двойным
пониманьем себя и мира –

«Песню вспомним, забудем век:
кто мельчайшим звуком тмится,
во всём найдёт побег,
и не властна над тем – темница».

Скажешь, голос зарёй тесня:
меньше слов – и выдох глубже.
Опустошенье дня
не в груди, а звучи снаружи.

Шелест в угол двоякости
загнан (выскользнет букашкой?)
– словарь, как срок, скости,
отбываемый вещью каждой.

***

Тишина предночная тяжела,
а в потёмках выбрала забыть до поры
патина, что въелась в тела:
который час – листва едва ли скажет.

На тарзанке катались над рекой
силуэты тёмные, как гирьки часов
слишком старых, чтобы людской
решимостью отчиститься до блеска.

А внезапные всплески полутьмы
озарили помысел пейзажных красот:
лопнула верёвка, а мы
её к родной ли речи приравняли?

Замиранием птичьим на ветвях
и звездой досказано прошедшим дням:
«без тяжести людской нельзя исчислить
время, что оставлено нам».

***

О механизме правды, какой
взволнуются луга и люди,
скажет не сердце, а этот покой:
он же тишину рассудит.

Не время, вовлечённое в спор,
нам древние припомнит звенья
фразовой цепи, держащей простор:
солнце – колесо забвенья.

Край поля наклонился уже
в пылающее время года,
скатятся в пламя вот-вот по меже
голос, человек, свобода.

А ты огнём на самом краю
и словом о любви удержан –
видеть, как выдан просвет бытию:
стебель для волненья – стержень.

***

Былые статуи растолочь,
присыпать горстью гипса
ду́шу, где крош́ится ночь
(иней с осколками слипся).

Пролез обузданный гололёд
не в сердце, а поглубже:
там горнист зовёт вперёд
(сразу рассыпется стужей).

Где крошки хлебные превзойдут
идею вечной веры,
голуби не доклюют
время у запертой двери.

Забьются скважинки языка
толчёным пионером;
хлебный свет, ты ключ, в снега
спрятанный умным манером.

***

С чувства слезшая краска
опадает хлопьями слов,
обнажая ржавый рассказ
о принципах предметного лова –

Первый: сердце – приманка,
а второй назвать – «человек»:
на таких началах возвиг
кто – царство смыслового тумана?

Звери, в небо сбегая,
донесут: ржавело ружьё,
присыпа́ло прахом брега́,
что стали всех раскатов чужее.

Ветер выгонит клочья
замутнённой правды вослед
лишь тебе, слезящийся взгляд:
звук выстрела растает далече.

***

Ильная горечь, мутные клубы́
разучили зольный цвет всего;
рыбьи, конечно, языки глупы́,
но чем другим возгласить торжество?

Парус поставлен, как дыханье для
предночного пенья о тебе:
отсвет на знанье и покой деля,
тобой теченье яснеет в судьбе.

Некуда деться: ясность превзошла
тишину, что всяким сжата ртом;
время, твои ли под водой тела –
закат чешуйчатым выжгли огнём...

Рыба плеснёт, натягивая снасть
своего упругого прыжка
между волненьем и тобою, страсть:
готов кораблик речного цветка.

***

Нечем ощутить прошедшее,
значит, в предосеннем лесу
прибавилось тишины звериной,
неотступного движенья по следу.

Облако летит над помыслом,
пылью ниспадая на всех:
прощённые переходом в почву
обретают форму слова о сердце.

Капля дождевая видит ли –
нечем ощутить в темноте,
где – верная пролегла дорога:
кто полюбит распылённое время?

Капля дождевая встроится
в душу, заменяя чутьё:
«прошедшее превратится в зверя,
чтоб выслеживать следы световые».

***

«Над малыми встанет малый» –
пророчество выбрало меркнущий двор:
о сердце, зачем ты сжало
о всякой правде искрящийся сор?

Зацвёл халцедонский лихнис
(другое название «барская спесь»)
– на запах его отклинись,
глухая к музыке водная взвесь.

Дворовую лужу хлещет
ребёнок прутом, загоняя во вдох
мельчайшие эти вещи –
пылинки, фразы, закатный всполох.

Ты каплями впредь не висни,
биений прозрачное облако, брось:
всё стиснуто силой жизни –
сильнее неба, безжалостней слёз.

Михаил БАРУ

УРАВНЕНИЕ ВОЗДУШНОГО ПОЦЕЛУЯ

Караси и самогонщики

Читал я как-то воспоминания Ходасевича и наткнулся на эпизод из самого раннего его детства, в котором Владислав Фелицианович, наряженный в пикейную круглую шляпу с полями и длинную пелерину, сидит на руках у няньки. Дело было на плотине, в Петровском-Разумовском. Подходит к няньке городовой, наряженный в большую русую бороду и русые усы. О чем-то с ней говорит и протягивает ребенку палец, за который тот ухватывается всей своей маленькой ручкой. Городовой целует Ходасевичу руку, кланяется няньке и уходит. И с этой сцены, пишет поэт, начинается его жизнь, ибо с нее начинается его сознание.

Стал я рыться в памяти на предмет поиска такой же сцены в собственном детстве. Нянька у меня была, но ни пикейной шляпы с круглыми полями, ни длинной пелерины... о городовом и говорить нечего. Впрочем, у меня была мама-милиционер, и в то время, когда я был в возрасте Ходасевича, она была в звании старшего лейтенанта. Как-то раз шли мы с ней и папой по мосту через железнодорожные пути, отделяющие наш микрорайон имени большевика Ногина, в просторечии именуемый «Ногинкой», от остального города Серпухова. Ну, как шли... Мама с папой шли, а я идти не хотел. Меня тащили. Я хотел стоять на мосту, смотреть на снующие подо мной маневровые паровозы и тепловозы, слушать их оглушительные свистки, вздрагивать всем телом от внезапного железного лязга буферов и вдыхать волшебный запах креозота[1], этот запах дальних странствий[2], которым пропитывали шпалы. Я хотел дождаться скорого поезда с его бешеным стуком колес, с воздушной волной, которая накрывает тебя, и восторг, который... Нет, словами этого мне не описать.

Мы жили неподалеку от вокзала, и по вечерам, перед тем как заснуть, я изо всех сил прислушивался к звукам, доносившимся с железной дороги. Ближе к ночи, когда жизнь в нашем микрорайоне затихала, становились слышны пронзительные возгласы станционного диспетчера, который из репродуктора на высоком электрическом столбе управлял маневровыми паровозами[3], тепловозами и путевыми обходчиками. Эти слова, с помощью которых он... Об одном я жалел – окна нашей квартиры выходили не на железную дорогу, а во двор, и потому грохот проносящихся скорых поездов и слова диспетчера я слышал лишь после того, как они отражались от дома напротив. Плохо, надо сказать, отражались. Половина и самих слов, и букв внутри этих слов терялись при отражении. Вот если бы наши окна выходили прямо на железную дорогу.... Я бы мог смотреть на завораживающее мелькание голубых и желтых окон вагонов поездов, идущих из Москвы в Симферополь и в Адлер. Представлять себя сидящим в купе скорого поезда, едущего к морю, пьющего чай с конфетами «Мишка косолапый» и с любопытством... нет, равнодушно спрашивающего, какую это мы станцию проезжаем. Смотреть на мелькание голубых и желтых

Михаил Бару родился в 1958 году в Киеве. Окончил Российский химико-технологический университет в Москве. Химик и инженер, кандидат технических наук. Стихи и проза публиковались в журналах «Арион», «Знамя», «Новая Юность», «Новый берег» и др. В «Волге» публикуется с 1999 года. Автор нескольких книг стихов и прозы, в том числе «Обещастье» (2005), «Следы птиц» (2007), «Один человек» (2008), «Цветы на обоях» (2009), «Записки понаехавшего, или Похвальное слово Москве» (2010), «Тридцать третье марта, или Провинциальные записки» (2011), «Дамская визжаль» (2011) «Повесть о двух головах» (2014). Составитель первой российской антологии хайку и трехстиший «Сквозь тишину» (2006). Живет в Москве.

окон в неказистых четырехэтажных домах[4], стоящих неподалеку от железной дороги, зевать и думать о том, как, должно быть, скучно жить в этом маленьком пристанционном поселке, пить скучное молоко со скучными пенками по вечерам и смотреть в тоске на проезжающие к морю поезда. Если бы наши окна выходили на железную дорогу, я уж точно разобрал бы все буквы в словах диспетчера.

Однако, я отвлекся. В тот момент, когда я упирался изо всех сил, на мост, со стороны нашего микрорайона, поднялся небольшой коренастый человек с лысой, как биллиардный шар, головой. Она блестела в лучах весеннего солнца.

– Хрущев! – закричал я, – Хрущев!

Было мне тогда года три, но букву «р» я выговаривал очень хорошо. Меня папа учил ее выговаривать. С этой сцены и началась моя сознательная жизнь. Домой я уже не шел, а бежал. Даже летел у папы подмышкой. Даже не издавая ни звука. Навстречу нам с папой шли папины сослуживцы и просто знакомые. Мама с нами не шла – ее задержал на секунду лысый человек и пять минут рассказывал ей о том, как нужно воспитывать детей, чтобы потом не было за них мучительно стыдно. Через много лет мама мне рассказала, что это был наш сосед. Хрущева он терпеть не мог. За двадцатый съезд, за доклад о культе личности, за волюнтаризм и кукурузу. Сосед был сталинистом, и назвать его Хрущевым с моей стороны было, мягко говоря, опрометчиво.

Дома мне... Впрочем, это уже была вторая сцена из моей сознательной жизни, которую я запомнил еще лучше, чем первую.

Страсть мою к разглядыванию поездов унаследовал сын. Когда он был маленьким и приезжал в Серпухов к дедушке с бабушкой в гости, папа водил его специально на железнодорожный мост смотреть на проходящие мимо электрички и поезда, идущие из Москвы в Симферополь и обратно.

Когда я приезжаю к маме в Серпухов, то каждый раз прохожу по этому мосту. О чем я думаю, когда смотрю вниз на маневровые тепловозы, на электрички, на скорые поезда... О том, что шпалы теперь бетонные и от них не пахнет волнующе креозотом, о том, что диспетчера теперь не слышно, поскольку он говорит с машинистами маневровых тепловозов по телефону, о том, что папы нет уже восемнадцать лет.

---

[1] Детство пахло множеством самых различных запахов. К примеру, карбидом кальция, когда он лежит в луже и страшно булькает ацетиленом. Куски этого карбида мы находили на стройках. Ну, не то чтобы они там валялись, а мы случайно с ребятами проходили мимо... сторожа приходилось пробегать, чтобы он не отобрал добычу. Нетерпеливые, вроде меня, бросали карбид в первую попавшуюся лужу и бегали вокруг, оглашая окружающее пространство победными криками[*]. Еще и поджигали спичками выделяющийся ацетилен, который сгорал с громким хлопком. Терпеливые же клали драгоценные кусочки в коробочку и несли в школу, чтобы там бросить в умывальник или унитаз.

Детство сладко пахло бензином и нагретым на солнце кожзаменителем, которым были обшиты сиденья в городском автобусе. Самые лучшие места были на колесе. Там замечательно подпрыгивалось, когда автобус наезжал на очередной ухаб. И еще там был кондуктор с билетиками, которые теперь заменили магнитные карты. Билетики могли быть счастливыми, а карты... Счастливый билетик можно и нужно было съесть, а карту... Конечно, счастья стало меньше вовсе не из-за того, что исчезли счастливые билетики, но и поэтому тоже. Так бывает, когда исчезнут в природе какие-нибудь незаметные мошки, а за ними жуки, которые ими питались, за ними птицы, которые клевали жуков, улетят на юг и не вернутся, за птицами красивые девушки, здоровье, способность хохотать по пустякам... и вдруг окажется, что ты живешь один, на двадцатом этаже, а в серое от пыли окно сквозь серый воздух виднеются только серые крыши до самого горизонта и бесконечные потоки серых машин. Так и с билетиками. Просто экологи с биологами уже знают, как зависит количество птиц от количества мошек и девушек, а математики все еще выводят зависимость суммы цифр на билетике от размеров счастья. Пока она у них не выводится. И слава Богу.

Где-то неподалеку от запаха карбида кальция, ацетилена и бензина находился запах пистонов, которыми стреляли наши железные и пластмассовые наганы и парабеллумы. Мы вынюхивали дымок после выстрела этих пистонов до последней молекулы. Мы нюхали его так, как теперь нюхают... Нет, теперь так не нюхают. Купить пистоны было почти невозможно – то их не было в магазине, то магазин был закрыт, то двойка по поведению и вообще никаких пистонов, то они есть, но не хватает пятачка или гривенника, чтобы их купить, а родители на работе и оно бы ничего, если бы не знать, где в серванте лежат деньги, но ведь знаешь... И хоть застрелись из собственного парабеллума, но пистонов нет. Иногда, раз в неделю или в две, их можно было выменять на старые тряпки и макулатуру у старьевщика, который приезжал к нам во двор на телеге. Однажды я набрал дома каких-то старых тряпок и выменял на них таких пистонов... Это все потому, что взрослые сами не знают, где у них новые тряпки, а где старые. Завели бы два ящика – один для новых, а другой для старых тряпок. Не пришлось бы детей наказывать из-за всякой ерунды.

С пистолетами и пистонами, когда они были, мы убегали подальше от дома и поближе к железной дороге, чтобы там, на диких железнодорожных откосах, куда не ступала нога цивилизованного европейца, в непроходимых зарослях девственной железнодорожной травы, развести костер, печь утащенную из дому картошку и поджаривать на прутиках куски черного хлеба с солью. Запах печеной картошки был одним из самых стойких запахов. Он выдавал меня даже тогда, когда я отмывал руки и лицо от золы и на вопрос «Где ты был?» честно, глядя в пол, отвечал, что из дому не выходил, учил геометрию, а в перерывах между теоремами мыл посуду.

Разогретый сургуч на почте. Он стоял в алюминиевой кастрюльке на всегда включенной электрической плитке, его зачерпывали гнутой алюминиевой ложкой, шмякали на посылочный ящик в место, где скрещивались бечевки и тут же припечатывали латунной печатью. Сургуч пах посылками от бабушек. От киевской бабушки приходили небольшие фанерные ящички с печеньем, вафлями и преогромными шоколадными конфетами «Гулливер», которых у нас, в Серпухове, никто никогда в глаза не видывал, а от бабушки из Новограда-Волынского приходили яблоки, аккуратно завернутые в старые газеты, и даже груши. Яблоки приходили уже с потемневшими боками, а в грушах за время пути и вовсе заводилась новая, враждебная нам, людям, жизнь. Посылочные ящики вскрывали аккуратно, чтобы потом их использовать в хозяйстве, а мне разрешали отрывать сургучные печати с приставшими к ним намертво бечевками. Эти печати с веревочками, если их приклеить внизу свернутого в трубочку листа толстой бумаги, превращали его в царскую грамоту или старинное письмо.

Запах трех пескарей, вялившихся на солнце. Я поймал их самодельной удочкой в речке Случь, когда был у бабушки на летних каникулах в Новограде-Волынском. Бабушка мне их выпотрошила, посолила, и я подвесил пескарей на веревочке, на солнечной стене дровяного сарая. Три раза в день я смотрел, как они вялятся, и нюхал – ждал, когда они, наконец, запахнут воблой. Даже выпросил у бабушки кусок марли, чтобы прикрыть пескарей от мух. В первую же ночь пескарей сожрала кошка. Горе мое описанию не поддается. До сих пор я помню этих маленьких рыбок в лицо. Каждую. У одной из них на спине, ближе к хвосту, была черная точка вроде родинки. Кошкам я тоже ничего не забыл.

Запах макулатуры. Собирали ее в школе весь учебный год и стаскивали в небольшой сарайчик, стоявший на заднем дворе школы. Ближе к концу мая сбор прекращался, приезжала машина, и мы всю собранную макулатуру на нее грузили. День погрузки и несколько дней до него были для меня праздником. В этой, пахнувшей плесенью и пылью куче старых журналов, тетрадей и книг можно было отыскать настоящие сокровища. Там я нашел научно-фантастический роман Циолковского «Вне Земли», двадцать восьмого года издания, книгу о жизни на Марсе и «Затерянный мир» Конан Дойля. Там я впервые увидел журнал «Огонек» с портретом Сталина. В другом номере «Огонька» я вдруг открыл, что русский с китайцем братья навек. О том, куда исчез этот век, никто мне не сказал, даже родители, отобравшие у меня журналы.

Особняком от запахов школьного детства отстояли древние, почти первобытные запахи детского сада. Запах желтого рыбьего жира и кипяченого молока даже вспоминать не хочется. Во-

обще воспоминания о жизни в детском саду, куда меня отдали года в три или четыре, оторвав от няньки, не очень радостные. Мы с нянькой, у которой я рос до этих пор, переживали. Она не хотела меня отдавать, да и я не хотел отдаваться. К своим трем, с лишним, годам, я уверенно отличал даму от валета и мог во время игры в домино вовремя крикнуть «Рыба!». Может, и не вовремя, но с чувством. Что мог дать мне детский сад? Тем не менее родители решили меня приобщать к жизни в коллективе. Они опасались, что я вырасту букой. Букой я, вроде, не вырос, но привычки к коллективу у меня так и не завелось.

Детский сад примыкал к заводу, на котором работал папа. Район этот назывался «Свисталовка». Не знаю почему, может потому, что рядом была железная дорога и оттуда постоянно доносились свистки маневровых паровозов и тепловозов, а может и потому, что местные жители были соловьями-разбойниками.

Само здание детского сада когда-то было купеческим особняком. Это был старинный, деревянный дом с резьбой по наличникам и даже башенкой. Там была большая парадная зала, в которой стояло пианино. На стене висела огромная репродукция шишкинского «Утра в сосновом лесу». Впрочем, в то время репродукций для меня не существовало. Сплошные оригиналы. Это сейчас заранее считаешь всё и всех подряд репродукциями и страшно удивляешься, когда увидишь оригинал. А тогда.... Кроме «Утра в сосновом лесу» висел портрет того, кого дети той страны, в которой я родился, путали то с зайчиком, то с северным оленем, в зависимости от той местности, в которой этот анекдот рассказывался. Однажды в день рождения этого зайца с оленьими рогами мне пришлось читать стихи, ему же и посвященные. От волнения я, конечно, все позабыл и решил смыть позор обильными слезами... Сейчас-то я бы ни за что не заплакал, несмотря на то, что теперь не помню не только этих, но и многих других стихов.

Воспитательница наша, Клавдия Владимировна, была женщиной строгой. Я совсем не любил играть в различные коллективные игры на свежем воздухе. Мог просто сесть в сторонке и смотреть, как за забором, по улице люди ходят и едут машины. Помню, однажды, зимой, она велела взять мне санки и просто так возить их, чтобы я не замерз. Я возил-возил, пока не исхитрился завезти их от нее подальше, за деревья и кусты, а там опять прильнул к забору. Но меня и оттуда извлекли.... Тем не менее кое-какая личная жизнь в детском саду у меня была. Я был влюблен в двух сестер-двойняшек сразу. Нинку и Маринку. И все не знал, на какой из них жениться. Нинка и Маринка тоже не торопили события, хотя мы уже с ними целовались в кустах, за верандой. Впрочем, если играли, то всегда втроем. Клавдия Владимировна откуда-то была в курсе моих мечтаний. Однажды, после обеда, она велела встать мне на стул и всем громко сказать – на ком же я буду жениться. Не то чтобы я оскорбился такой постановкой вопроса или разревелся. Как раз нет. Я задумался...

В один прекрасный день Нинка и Маринка пришли в сад в новых белых шубках. Шубки были овчинные. И почему-то невыносимо пахли рыбьим жиром. Подойти близко было нельзя. Пришлось их разлюбить. И шубки, и Маринок.

Перед праздниками Клавдия Владимировна говорила нам: «Дети! Передайте своим родителям, что я люблю духи “Красная Москва”». Мы говорили, и родители покупали высокие и круглые красные коробочки с «Красной Москвой». В них был стеклянный пузырек в виде Спасской башни. Вручали духи воспитательнице дети. Клавдия Владимировна нас целовала, немедленно открывала пузырек, шумно нюхала, а потом... потом расстегивала свой белый халат и часть духов отливала за вырез своего платья. Вот такой был ритуал. Не хуже и не лучше множества других ритуалов. Кстати, Клавдия Владимировна была дамой крупной, с таким бюстом, что упади случайно пузырек в декольте – его не один час искать пришлось бы. Или это мне тогда так казалось.... Неужели, уже тогда...

Меня часто забирали домой позже всех из сада. Я оставался со сторожем[**]. Рядом с нашим садом работала лесопилка, и мы ходили к щелям в заборе смотреть и слушать, как визжали поросячьим визгом циркулярные пилы. В воздухе носились тучи мелких и пахучих чихательных опилок. Пахли они куда приятней «Красной Москвы». Я тогда думал, что если бы выпускали

духи «Красные опилки», то мне бы понадобилось, как минимум, три пузырька – один маме, один Нинке и еще один Маринке. Все же, чувства к ним угасли не совсем, и мне хотелось отбить от них запах рыбьего жира. Я страшно завидовал тем детям, которых забирали первыми. А иногда случалось такое счастье, что сразу после обеда приходил кто-то из родителей, и нянечка кричала: «Петров! Быстро одеваться – мама пришла». За Петровым часто приходили раньше положенного времени. Какое-то время я даже мечтал превратиться в Петрова, чтобы и меня мои родители уводили пораньше из сада. Впрочем, у Петрова уже тогда были таких размеров уши, что и до сих пор мои существенно меньше. А еще веснушки, из-под толстого слоя которых сам Петров был еле виден.... Так что, я, прикинув все плюсы и минусы этого опасного мероприятия, передумал превращаться.

Тем, кто оставался в саду, предстояла пытка послеобеденным сном. Засыпать приходилось с большим трудом. Взрослым легко засыпать – они умеют считать овец или облака. А когда ни считать, ни писать... Мало того, засыпающий ребенок должен был, согласно правилу, «лечь на бок, положить ладони под голову и закрыть глаза». Верчение на кровати, хихиканье и перешептывание строго пресекались. Я был упорный незасыпанец. Лежал-то я тихо и руки держал, где велели, но глаз не закрывал. Рассматривал трещины в штукатурке, остатки гипсовой лепнины, сохранившейся еще с дореволюционных времен, печные заслонки затейливого литья и дубовый паркет, который регулярно натирали до блеска нянечки жужжащим полотером. В высокие стрельчатые окна, выходившие в сад, заглядывали ветви огромных лип, которые, должно быть, еще и к купеческим детям заглядывали, когда они не хотели засыпать. Никогда мне не мечталось с таким удовольствием, как тогда. Только одно мешало – запахи приготовляемой на кухне пищи. Запах каких-нибудь щей или горохового супа мог разрушить любой, даже самый неприступный воздушный замок.

Я очень хорошо запомнил эти интерьеры. Потом, много лет спустя, читая самые разные книжки, я представлял себе, что действие происходит именно в этой обстановке. И романы Дюма и пьесы Уайльда – всё разыгрывалось в купеческих декорациях моего детского сада. Увы, запахи я запомнил тоже хорошо. И когда миссис Чивли из «Идеального мужа» так изощренно шантажировала сэра Роберта Чилтерна в гостиной его дома на Гровенор-сквер.... Так вдруг некстати в эту гостиную вползал запах вчерашних детсадовских щей...

- - - - - - -

[*] Удивительное это было ощущение – ожидание того, что будет, если неизвестно что смешать неизвестно с чем, а потом то, что получилось, бросить в воду, или в костер, или нагреть в консервной банке, чтобы оно расплавилось и запахло чем-то таким, от чего слезятся глаза и першит в горле. Только теперь я понимаю – с каким нетерпением ждали алхимики результатов двойной перегонки желчи единорога или василиска, привезенной арабскими купцами из Африки или Индии. Только теперь я понимаю, как слезились от напряжения их глаза, когда они вглядывались в поверхность расплавленного свинца в тигле, высматривая проблески золота. Только теперь... когда я стал химиком, защитил диссертацию и твердо знаю, какие вещества нужно смешать, чтобы получить то, что нужно, а не то, что получится, это волшебное ожидание... Нет, оно никуда не делось, но превратилось в самое обычное, во время которого можно выпить чаю, покурить или написать отчет о проделанной работе.

[**] У сторожа было ружье. Двустволка. И он мне разрешал ее подержать. А может, и не было никакого ружья. Может, оно было в чьем-нибудь другом детстве. Не помню. Столько лет прошло. Но сторож был. Это точно.

- - - - - - -

[2] Тогда ощущение дальних странствий могло возникнуть где угодно – даже на остановке автобуса, не говоря о вокзальном перроне. Его не надо было ждать – оно приходило само. Теперь же сидишь в аэропорту какого-нибудь Токио или Чикаго и ждешь, ждешь... когда, наконец, подадут самолет, чтобы лететь домой.

[3] Паровозов теперь нет – вымерли, но они должны быть на каждой уважающей себя станции. Хотя бы один. Не для пользы – для красоты. Пусть ездит туда и сюда, пусть свистит, пусть выпускает клубы пара, пусть радует глаз. Детство не может быть по-настоящему золотым без паровоза.

[4] Дома наши назывались, как тогда говорили, «самостроевскими». Отец мой выстоял на родном секретном заводе длинную очередь, чтобы иметь право включиться в дружный коллектив строителей этого дома. Как только коллектив был укомплектован и завод наскреб по своим секретным сусекам достаточное количество бетонных плит, кирпичей и оконных рам, строительство началось. Так получилось (так почему-то всегда получалось), что строить начали в январе.

Рытьё котлована под фундамент в январе представляет собой, мягко говоря, не слишком остроумное занятие, но пятьдесят лет назад порядку было не в пример больше, чем сейчас, и все хорошо понимали, что остроумие отдельно, а отдельные квартиры... ну, в общем, понятно. Не будем разводить тавтологию. Морозы в моем детстве были, само собой, морознее, и процесс с мертвой точки никак не хотел сдвигаться. Тогда решили греть землю. На заводе изготовили несколько десятков обогревательных аппаратов.... Нет, не так все просто. Сначала их спроектировали секретные конструкторы, потом секретные снабженцы выбили на их изготовление фонды, потом секретные рабочие их изготовили, а уж потом... наступила весна. Буквально ни с того ни с сего. Вывезенные на место будущего котлована установки заправили соляркой, и они, нещадно коптя, начали греть раскисшую землю. Эффект был – сгорела бытовка и заготовленные доски для опалубок. Проходивший мимо не раз и не два народ, на предмет подобрать плохо лежащие стройматериалы, прозвал эти огнедышащие устройства из высококачественной секретной стали самогонными аппаратами. Почему? Да потому. Оговорился народ, что называется, по Фрейду. С тех самых пор, вот уж пятьдесят лет так дом и называют – «Самогонщики».

Соседский дом, совершенно такой же, с позволения сказать, архитектуры, назывался «Караси». Котлован там вырыли летом (и такое случалось в нашем народном хозяйстве), но этим дело на несколько лет вперед и ограничилось. Начальство, настойчиво спрашиваемое народом, отвечало одно слово: «фонды» и со значением вздымало вверх указующий перст. Лето было дождливое. В котловане образовалась сначала лужа, потом большая лужа, потом лужа огромных размеров, потом заквакали лягушки, и местная ребятня устремилась к этой луже с самодельными удочками. Что уж там можно было поймать – не представляю, но мы упорно ходили. Кто-то пустил слух, что старик Прохорович (которого все звали не иначе как «Прохерыч»), вохровец с родного, и оттого еще более секретного завода, как-то поймал там карася. Может, это был и не карась, а пустая бутылка, до собирания которых Прохерыч был большой охотник, – о том история умалчивает. Мы в приступе карасевой лихорадки даже с уроков сбегали, чтобы поудить в этом рыбном эльдорадо, да только все без толку. Через какое-то время заводское начальство все же изыскало фонды на строительство, из котлована вместе с нашими мечтами о карасе (о Карасе с большой буквы) вычерпали воду и стали строить дом.

С тех самых пор, как легко догадаться, вот уж полвека... «Караси» и никак иначе. Прохерыч, кстати, хоть и был простым вохровцем, а в самострое вместе со всеми замечен не был. Собирая пустые бутылки денно и нощно, в свободное от дежурств время, в электричках по маршруту «Серпухов – Москва» и обратно, накопил он денег на кооператив. Говорили даже, что после его смерти (жил он бобылем) в сберкнижках на предъявителя оставалось чуть ли не двадцать тысяч новыми деньгами. Определенно врали. Покойника на дух не выносили, и всем было приятно, что такое богатство пошло прахом – досталось государству.

Трофейное одеяло

Бабушка моя, Мария Лазаревна, любила лечиться. Сколько я себя помню, она постоянно чем-то болела, принимала таблетки, пила минеральную воду и питалась диетической пищей. Так и прожила до девяноста лет. Герой Джерома, не нашедший у себя воды в колене и родильной горячки, был против нее сущий ребенок. Моя бабушка могла найти воду в колене даже у рыбы.

Каждый год я приезжал к ней погостить на каникулы в Киев, и в тот самый момент, когда я уезжал обратно, она, уже на перроне, мне тихо говорила на прощанье: «маме не говори, но, скорее всего, мы видимся в последний раз». Я и не говорил. У бабушки в Киеве была огромная, как мне тогда казалось, тумбочка, в которой хранились ее лекарства от всех на свете болезней. Потом, когда она после смерти мужа переехала к маме с папой в Серпухов, тумбочка уменьшилась до размеров обувной коробки, с которой бабушка никогда не расставалась и почти всегда в ней что-то искала, наводила порядок, перевязывая резинками бумажные ленты с таблетками активированного угля и мукалтина. Бабушка была хирургической сестрой и одно время работала с самим Амосовым, о чем всегда напоминала маме, когда та вдруг решала, что уже настолько повзрослела, что может и сама решать... Бабушка так не считала. Бабушке не нравилось то, что мама работает в милиции, и, поскольку маму она считала уже неспособной вступить на путь исправления, она говорила о своем недовольстве папе. Она выбирала момент, когда мама ловила или допрашивала очередного малолетнего преступника, звала папу пить чай и начинала:

– И вообще, эта постоянная работа. Эта милиция. Эти бандиты. Между прочим, ты в субботу жарил сам котлеты. Я видела. И можешь мне не рассказывать.

– Но ведь в ту субботу, – начинал отвечать папа, уже понимая, что его ответ не нужен никому...

– Конечно, когда мать себя плохо чувствует и больна насквозь, так надо брать пистолет и ехать на свидание к бандитам. Оставить ее одну в доме с зятем и ехать. Когда в доме нет ни таблетки ношпы, ни капли валокордина. Опухоль мозга я заработаю от нее. И хорошо, если этим все ограничится. Такое я имею уважение от собственной дочери на старости лет. Что ты ее защищаешь? На себя посмотри! Ты надел эту рубашку еще вчера. Я видела. И можешь мне не рассказывать.

– Рубашку...

– Как можно жить?! Ответь, я тебя спрашиваю! Как ты прожил с ней почти сорок лет?! Сколько лет из этих сорока она провела дома, а не в засадах, погонях и на допросах? И что же?! Ты терпишь. А у тебя высшее образование и ты главный технолог большого завода. Подумаешь, пистолет! Ты работаешь на военном заводе или на фабрике детского питания? Будь уже мужчиной!

– Вы считаете, Мария Лазаревна, что мне надо развестись с вашей дочерью...

После этих слов бабушка метала молнию в отца, но не попадала и уходила к себе, а папа шел на работу. Через какое-то время приходила мама, и бабушка звала ее пить чай. Она садилась напротив мамы и начинала:

– Лариса, я, конечно, не должна тебе этого говорить...

– Но ты скажешь мама. Хотя могла бы и промолчать. Раз в жизни. Можешь раз в жизни?

– В этом доме я молчу всегда. С самого рождения.

– Все восемьдесят лет, которые с него прошли, – тихо говорила мать.

– Ты всегда пользовалась тем, что я плохо слышу, чтобы говорить мне гадости. Но я слышу хорошо. И если бы не слуховой аппарат, который мне купил твой муж, я бы слышала еще лучше. Так вот. Ты заметила, что Боря каждый день уходит на работу в чистых белых рубашках?

– Хочешь, чтобы он уходил в цветных и грязных?

– Я хочу, чтобы дочь моя пошевелила мозгами! Белые рубашки, галстуки, запонки (три пары!) – это же...

– Мама, или ты уже скажешь, что ты хочешь сказать, или я опоздаю на работу. У меня встреча с помощником прокурора.

– Чтоб он уже не дождался, твой помощник... А Боря таки ходит к девочкам. В белых рубашках, которые стирает ему дура-жена!

– Мама! Мама!! У него давление двести на сто. У него страшная изжога. Он всю ночь пил таблетки. Что ты несешь?!

– Я несу?! Что я от вашей семьи выношу – так это вообще отдельная песня для хора плакальщиц из «Аиды». Я несу... А почему твой муж сказал, что не будет сегодня обедать дома? Что вы думаете по этому поводу, доктор Ватман?!

– Ватсон, мама! Ватсон!! Не изводи меня. Боря идет к проктологу. Девочки на сегодня отменены.

– Ты ее видела? Она молодая?

– ... !!!

– Видела я этих проктологов. Начнут жопой вертеть – не остановишь...

– Да сколько можно?! Это кошмар какой-то! Рак мозга я от тебя получу.

После этих маминых слов бабушка метала в маму две молнии, но не попадала ни одной и гордо уходила к себе.

Когда бабушке исполнилось восемьдесят три года, папа, которого бабушка очень любила, умер, и они остались с мамой вдвоем. Бабушка стала сдавать, у нее случались провалы в памяти, и мама прятала от нее газовый ключ и спички – бабушка зажигала газовую плиту, забывала зачем и уходила. Мама боялась, что в один прекрасный день придет с работы на пепелище и, уходя на работу, бабушке оставляла чай и еду в термосе, но та требовала спички и даже собиралась написать заявление в прокуратору, чтобы ей их вернули. Все же она опасалась, что ходу заявлению не дадут, поскольку мама работает в милиции и ворон ворону... Несмотря на эти провалы в памяти, бабушка не забыла ни одного из своих профессиональных медицинских навыков и до самой смерти лечила соседей по нашему подъезду. Впрочем, она это делала всегда, во всех подъездах, в которых ей довелось жить.

Лет через десять или пятнадцать после войны, на которой убили моего дедушку Мишу*, бабушка вышла замуж еще раз. Ее муж, Иосиф Львович, прошел всю войну и воевал в Сталинграде. Он был шофером и на своем «студебеккере» подвозил боеприпасы на передовую. От него я впервые узнал о ленд-лизе. Сталинград его наградил медалью за свою оборону и сахарным диабетом. Не потому, конечно, что Иосиф Львович ел много сахара, а потому, что стресс, который он там получил, превратился в диабет. У него были больные ноги. Ходил он с палкой. Когда кто-то при нем говорил, что «жиды воевали в Ташкенте», Иосиф Львович в дискуссию не вступал, а сразу бил говорящего палкой. Не то чтобы он был могучий старик и никого не боялся, но... видимо, не боялся и на рожон лез сразу. Соседи его характер знали и при нем думали свои антисемитские мысли про себя. Правду говоря, Иосиф Львович про соседей и вообще про украинцев думал еще хуже. Он был, как сказали бы теперь, ксенофоб, а вернее, его частный случай – украинофоб, и считал украинцев предателями и пособниками фашистов. Его киевских родственников соседи выдали немцам, и они погибли в Бабьем Яру. С бабушкиными родственниками произошла такая же история, но бабушка, в отличие от своего мужа, который вышел на пенсию по инвалидности, еще работала в районной поликлинике, в многонациональном коллективе, и ей было трудно быть ксенофобом. Да она и не любила им быть.

Мы с Иосифом Львовичем часто ходили в парк на берегу Днепра. Ехали мы туда на трамвае. Он сажал меня рядом с собой на места для инвалидов с детьми и требовал никому, кроме беременных женщин, не уступать место. Вокруг были представители титульной национальности, и вот им-то как раз и нельзя было уступать место. Особенно пожилым мужчинам без орденских планок. Иосиф Львович был уверен, что они во время оккупации сотрудничали с врагом. Свои-то орденские планки он носил всегда. Мне было страшно неловко, и я сгорал от стыда, поскольку был приучен родителями поступать совершенно наоборот.

Иосиф Львович мне постоянно что-то рассказывал. На самом деле ему было кому рассказывать – у него был взрослый сын от первого брака и были внуки, но он с ними виделся довольно редко. То ли его не любила невестка, то ли он ее не любил. Как бы там ни было, а рассказывал он мне. Из его рассказов я не запомнил почти ничего, кроме того, что в молодости он был клепальщиком и работал на строительстве моста через Днепр. Здоровье у него тогда было отменное и, чтобы сэкономить деньги на пачку дешевых папирос, он к месту работы не плыл на пароме с другого берега, а сам, вручную, переплывал реку. Может, он, конечно, и привирал, но я тогда верил. Про войну и Сталинград я его, конечно, спрашивал, и не один раз. Он отмалчивался и рассказывал мне только о том, какое замечательное пиво он пил в Вене, куда доехал на своем «студебеккере» под конец войны.

Как и всякий фронтовик, а тем более шофер, Иосиф Львович уснащал свою речь разными словами и выражениями. При мне, конечно, он старался сдерживаться, а вот когда ссорился бабушкой, то я ему уже не мешал... Надо сказать, что бабушка во время войны работала в военном госпитале и знала самых разных слов и сложносочиненных выражений никак не меньше своего мужа. Вообще бабушка по-русски говорила, и тем более писала, с большими ошибками, поскольку в обычной школе она не училась, а закончила в конце двадцатых годов еврейскую школу-семилетку и, вслед за ней, медицинский техникум, но ругалась безошибочно. Оба были людьми горячими и на язык невоздержанными, а потому, когда они начинали ссориться, я открывал рот и обращался весь в слух. Впрочем, они и просто так, в мирное время могли сказать все, что угодно. Шире всего я открывал рот, когда к нам в гости приходила бабушкина сестра и ее взрослая дочь. И бабушка, и Иосиф Львович, и бабушкина сестра, и ее дочь знали множество босяцких песен. Они их пели и по-русски и на идиш. Мне при этом строго-настрого приказывали их не запоминать. До сих пор не помню нецензурный вариант народной еврейской песни о бедном юноше, который очень хотел жениться. Мне было тогда лет десять или двенадцать, и я, глядя на то, как бабушка и тетка представляют в лицах эту песню, умирал со смеху, не понимая ни единого слова. Если бы этот концерт видела мама, то убила бы нас всех.

Потом прошло много лет. Бабушкина сестра и ее дочь вместе чадами и домочадцами уехали в Америку. Семья сына Иосифа Львовича тоже уехала в Америку. И сын и даже нелюбимая невестка обещали его взять к себе, как только устроятся там, в Нью-Йорке, или в Бостоне, или в Филадельфии. Наверное, они обещали бы еще долго, но он умер через год после их отъезда. Бабушка осталась одна и переехала жить в Серпухов к родителям. После смерти бабушки мама отдала мне маленький, с ладонь, поднос из какой-то венской кондитерской, который Иосиф Львович привез с войны в качестве трофея.

Помнится, было еще немецкое трофейное одеяло, которым я укрывался, когда приезжал к бабушке на каникулы. Желтое, из верблюжьей шерсти – оно кололось даже сквозь пододеяльник. По обоим его краям шла надпись коричневыми готическими буквами «Госпиталь города Бреслау». Или это был госпиталь Данцига... Не помню. Теперь не у кого спрашивать – нет ни одеяла, ни бабушки, ни Иосифа Львовича. Летних каникул тоже нет.

- - - - - - - -

* Я пишу «убили», хотя надо бы написать «погиб», потому что дедушка воевал рядовым понтонного батальона. Правда, всего месяца два или три. В мирной жизни он был бухгалтером в какой-то потребкооперации. Бабушка говорила, что еще до войны у него вышла книжка стихов... Нет, я с трудом могу себе представить, как он мог воевать и стрелять в живых людей. Кто-то его убил. Или что-то. Наверное, шальная пуля и убила в тот момент, когда они наводили переправу через какую-то речку, или отступали, или попали в окружение...

***

Ожидание щенка. Живого щенка. Самого настоящего щенка. Взрослому понятно, что щенок бывает только живым и никаким другим, а вот ребенок боится, что щенок может оказаться игрушечным, плюшевым, пластмассовым, нарисованным, каким угодно. Он ждет живого и предвкушает, как будет с ним играть, как научит его разным фокусам, умножать в столбик, писать, читать, петь, служить на границе, носить портфель в школу, ждать после уроков, и вместе они будут провожать...

Ожидание двухколесного велосипеда. С багажником, звонком, кожаной сумочкой под седлом, в которой гремят ключи и масленка. И фонариком! Чтобы все во дворе умерли от зависти. Чтобы стояли в очереди покататься. Только один круг и все!

Ожидание Нового года. Во рту уже в начале декабря появляется устойчивый вкус мандаринов, шоколадных конфет, салата оливье и газировки «Буратино» и не проходит до конца месяца. Стоит только закрыть глаза, как представляется елка и под ней железная дорога. Закрывать глаза нельзя – заснешь, и Новый год тут же наступит...

Ожидание летних каникул. Последние уроки, на которых уже ничего не задают на дом, цветущий шиповник в школьном дворе и первый поцелуй за углом школы... Он будет такой... такой... Губы, конечно, будут сладкие. Клубничное варенье, а не губы. Небо, конечно, будет седьмое или даже восьмое. С половиной! Глаза цвета спелого крыжовника будут так близко... Заранее горят губы и кончики пальцев покалывают микроскопические иголки... И ведь придется жениться. Сначала рассказать родителям, а потом жениться. Вместе ходить в школу, сидеть за одной партой, вместе мыть посуду... Или одному, как папа... Или на рыбалку с Колькой и Витькой... Хотели же втроем, без девчонок, а тут...

Ожидание наказания за невымытую посуду и невыученные уроки... Еще и в музыкальной школе тоже. Лежишь на диване, читаешь «Трех мушкетеров» и ждешь... Вот сейчас придет отец, заглянет на кухню, увидит немытые после обеда тарелки и ледяным голосом велит играть этюд Черни, заданный к завтрашнему занятию Ираидой Борисовной... Наизусть... Скорей бы уж королеве вернули подвески. Ни слова потом не прочту, книжку отброшу, вскочу и мигом учить наизусть невымытые тарелки, пока не пришел отец...

Ожидание реки. В детстве я приезжал на каникулы к бабушке и дедушке в маленький и пыльный Новоград-Волынский и почти каждое утро бежал с удочкой на речку Случь. Это теперь я понимаю, что добежать от дома дедушки до реки можно было минут за пять, но тогда я бежал долго. По дороге надо было успеть посшибать лопухи, сорвать вишен с веток, которые свешивались из-за заборов, распугать всех кошек, кур и увернуться от страшных индюков, клокотавших ненавистью ко всем пробегающим мимо детям, которые если и бросали в них камни, то только очень маленькие. Сначала я бежал улицей, а потом кривым переулком, который спускался к реке. Понемногу начинало пахнуть речной сыростью и водорослями. Реки еще не было видно, но она была уже готова показаться из-за поворота. Тут, возле самой реки, был слышен тонкий и шелестящий железный звук. Через реку была натянута толстая стальная проволока, по которой ходил паром. Паромщик цеплял к проволоке какое-то устройство, похожее на молоток с колесиком и двигал им, а паром медленно, почти пешком, переплывал через реку. Старик-паромщик был большой, гораздо больше парома. Одна его седая борода была с меня ростом. Когда он болел, его заменяла дочь, такая же рослая и могучая. Паром был маленький и напоминал железное корыто. У него было название, состоящее из всего одной буквы и цифры. Я их помню.

Ожидание поклевки. Вот сейчас, вот сейчас, вот сейчас он должен клюнуть. Какой-нибудь пескарь размером с руку или ногу. Два пескаря, и оба с черной икрой. И ты пойдешь по улице маленького пыльного городка к дому дедушки и бабушки, и все встречные будут провожать взглядами твой улов. Потом бабушка пескарей выпотрошит, запечет в печке, поджарит в сухарях, сделает рыбный пирог, заливное, наварит ухи, позовет соседей... или посолит и повесит вялиться на веревке во дворе, чтобы все, кто проходит мимо нашего двора... или отдаст кошке, а та откажется и потребует сметаны, а бабушка ей как... но пока не клюет и поплавок не просто замер, а умер, уснул, видит сны, и хочется крикнуть и разбудить его.

Ожидание конца химической реакции. Она уже идет целый день и все никак не закончится. Ты все распланировал – получится белое кристаллическое вещество. Кристаллы будут игольчатыми. Ты их отфильтруешь, высушишь, пересыплешь в баночку, на которой аккуратно надпишешь название, нарисуешь структурную формулу, поставишь число, температуру плавления и фамилию. У тебя даже фломастер чешется, которым ты станешь надписывать этикетку. Наверняка это будет новый класс биологически активных соединений и большая статья в журнале Американского Химического Общества с описанием эксперимента, в результате которого... не выпадают никакие белые игольчатые кристаллы. Из бурой, коричневой и черной смолистой реакционной массы ничего нельзя выделить. Еще и колбу не отмыть. Да и реакция, как потом выясняется, шла совершенно не в ту сторону.

Ожидание поезда и ожидание самолета. Они братья, но не родные, а двоюродные. Ожидание поезда – это ожидание купейного уюта и предвкушение чая с лимоном, жареной курицей, крутыми яйцами, копченой колбасой, увлекательными и бесконечными разговорами ни о чем.

Самолетного уюта, если самолет не ваш собственный, не существует. Там нет общего стола, на который можно разом поставить все стаканы с чаем и бутылку коньяку, там нельзя лечь, выключить свет и еще долго переговариваться шепотом. Длинные косые тени будут перебегать между вами, а по коридору будет идти ночной коробейник и заунывно петь «чипсы, пиво, сухарики...». И все это – и чай, и разговоры, и косые тени, и случайные взгляды, под перестук колес, а не под монотонное и выматывающее гудение самолетных турбин и автоматический вопрос стюардессы «рыба или курица?».

Ожидание конструктора. Не того, детского в красивой картонной коробке, который подарят на день рождения родители, а живого. И этот конструктор ты сам. Ты все начертил – гайки, болты, ножки, ручки, уплотнения и даже червячную передачу. Ты, наконец, закончил огромный сборочный чертеж и его распечатал на цветном принтере. Он так красив, этот механизм, этот реактор, этот луноход, этот двигатель и эта жужжалка для жужжания, что ты уже видишь, как вращаются его косозубые шестерни, как поворачивается шнек, как уплотняют уплотнения, как блестят после электрополировки его нержавеющие части, как жужжит то, что должно жужжать в том самом месте, в котором... До прихода слесаря-сборщика, который скажет, что тут вал немного туговато входил при сборке, потому что токарь не выдержал допуск, и пришлось по валу... Нет, он не... со всей дури, а немного постучал молотком, и вал, само собой, вошел, но вращается туго, а если честно, то вообще не вращается, но если притереть и смазать, оно разносится, и будет вращаться за милую душу, при этом, конечно, будет немного подтекать, потому что прослабили вал, но где ж это видано, чтобы все работало и не... Короче говоря, до прихода слесаря-сборщика еще как минимум месяца три, а потому в голове все вращается, поворачивается и жужжит. Так бывает, когда ожидаешь какое-нибудь счастье, пусть даже и маленькое, величиной с воробья, и все в тебе вот так же вертится, сверкает, жужжит и норовит вырваться наружу, а как вырвется, то и улетит тотчас же неизвестно куда.

Ожидание рассказа или стихотворения, когда ты все продумал до мелочей, до рифм, эпитетов, аллитераций, реминисценций, аллюзий, иллюзий, диффузий, протрузий, контузий и остается только перенести все это из головы на бумагу. Ты подносишь голову к чистому листу бумаги или к пустому экрану и представляешь, как твой рассказ опубликуют в самом толстом из всех толстых литературных журналах, как читатели... как литературные критики... как члены Нобелевского комитета... До того момента, как ты поставишь точку и окажется, что нить рассказа вся в узелках, что вот здесь рифмы глагольные потому, что прилагательные и существительные рифмы просто не влезали в размер, и пришлось их немного... но читается хорошо, только надо здесь, здесь и здесь перенести ударение на второй слог и следующий абзац, в том смысле, что...

Несколько снов

Есть у меня несколько снов, которые я помню всю свою жизнь. В одном из них я летаю. Самый первый раз. Можно сказать, становлюсь на крыло. Было мне лет четырнадцать, когда мне приснилось, что я лечу. Я тогда поругался с родителями, которые, конечно же, меня не понимали и понять не могли, так как купили мне куртку светло-зеленого цвета. В такой куртке меня не могла полюбить ни одна девочка. Ни одна девочка из соседнего класса, которую звали Валя. Она могла меня полюбить в куртке темно-зеленого цвета или даже черного, но в светло-зеленой... Короче говоря, лег я спать, и мне приснилось, что улетаю от папы с мамой. Особенно от мамы, которая и купила эту куртку, и от папы, который всегда с ней соглашался. Во сне была ранняя весна, довольно много сугробов, ручьи, пронзительные свистки электричек, чахлые елки и я, пролетающий над елками в дальние края и размахивающий изо всех сил руками. Помню, что ноги у меня обуты в тяжелые резиновые сапоги, поскольку перед этим бродил я по лужам, и одет я был в дурацкую толстую куртку дурацкого светло-зеленого цвета. Мне буквально нечего было на себя надеть, и пришлось улетать в ней. Не помню – куда я летел. Должно быть на север, раз дело было весной.

Второй сон институтских времен. В нем я сдавал математику. Кажется, теорию вероятности. Пришел на экзамен и стою у стенки. Все уже сдают, а я все не решаюсь войти и толкусь в коридоре перед аудиторией. На лекции я не ходил, семинары посещал через два на третий, и теперь... Вокруг мои товарищи, которые на все лекции ходили, в рот преподавателю заглядывали, задачи решали и теперь надо мной смеются. Даже и не смеются, а просто говорят о том, что вопросы были легкие и получили они четверки и пятерки. Лучше бы уж смеялись. Улететь я не могу, и толстой светло-зеленой куртки у меня тоже нет, чтобы загородиться от слов товарищей. Нет даже резиновых сапог, чтобы кинуть в преподавателя. Сон мне этот снился долго – лет десять. Уже и закончил я институт, уже и защитил диссертацию, а он все снился и снился. Чего я только во сне ни делал – приносил на экзамен диплом об окончании института, кандидатский диплом, кидался ими в товарищей и преподавателя – ничего не помогало. Однажды даже пришел на экзамен с сыном и дочерью – они тогда уже в школу пошли и умели читать и писать, но не умели себя вести. Бегали, шумели и кричали. Нам тогда всем троим поставили двойки и назначили переэкзаменовку на осень.

В третьем сне, самом счастливом, снился мне книжный букинистический магазин. Лет тридцать назад стал он мне сниться. Было это в начале или в середине восьмидесятых. Жил я в то время в маленьком подмосковном городке Пущино. У нас было два книжных магазина – один назывался «Академкнига», и в нем продавались книги издательства «Наука», а второй магазин назывался просто «Книги», и там продавались в основном канцелярские принадлежности. Книги тоже имелись, но такие, которые покупать никто не хотел – вроде многотомных собраний сочинений наших тогдашних вождей. Тогда вожди были страшно писучие. Их речи на съездах, записки к этим съездам и статьи в газетах печатали на хорошей бумаге, переплетали и отправляли пылиться в магазины. Нынешние вожди такими глупостями не занимаются. Да и зачем? Чтобы каждый, кому не лень, вычитывал в этих книгах такое... и этакое тоже, а потом этими же самыми словами, как Ваньку Жукова селедочной мордой, в харю тыкать? Ну, да не об них речь.

В академическом магазине я покупал время от времени книги по истории, если они туда попадали, но большей частью приходил туда только тогда, когда по городу пролетал слух, что со дня на день будет завоз и привезут книги из серии «Литературные памятники». Книги этой серии ценились так высоко, что теперь... Нет, эквивалента из нынешней жизни не могу подобрать. Книга, как ни крути, не просто вещь, да и не вещь вовсе, а теперь нас окружают только вещи, простые вещи, какими дорогими они бы ни были. Пределом моих тогдашних мечтаний были три тома «Опытов» Монтеня. Мне казалось, что в них я найду ответы на все вопросы, которые меня мучают. Понятное дело, что советская власть от нас эти ответы скрывала, а Монтеня издала случайно, по ошибке. Тогда была такая власть, которая по недосмотру могла издать что-нибудь хорошее. «Опыты» мне как-то посчастливилось держать в руках. Держал я их, держал... Минуты две держал, но вынужден был отдать обратно в руки продавцу букинистического магазина в Столешниковом переулке. Такие книги не лежали просто так на прилавке – их держали под стеклом и доставали только потенциальным покупателям. Я был потенциальным покупателем, у которого вечно не хватало потенции, то есть денег. Сначала не хватало стипендии, потом не хватало зарплаты. Три тома «Опытов» стоили шестьдесят рублей. При моей зарплате в сто двадцать пять... Но была у меня надежда, которая была связана с другим, пущинским букинистическим магазином. Он был крошечным, размером с каморку, половину которой занимала продавщица – пожилая, как мне тогда казалось, женщина лет сорока пяти. Забегал я туда почти каждый день, и видя то, с каким усердием я роюсь в завалах и что выбираю, эта добрая женщина стала оставлять мне книжки, которые, по ее мнению, могли меня заинтересовать. Стоили эти книжки недорого. Даже зарплаты стажера в академическом институте хватало, чтобы их купить. Ну, это мне так казалось, что хватало. Жена была на этот счет другого мнения.

Иногда мне доставались настоящие сокровища вроде томика стихов Ронсара или Вийона. Иногда Фукидид или стихи вагантов. Иногда я брал те издания «Литературных памятников», которые кто-то купал в приступе книжной лихорадки, а потом, пролистав, сдавал. Так мне попали

в руки стихи Бернарта де Вентадорна и маленькая книжечка стихов в прозе Алоизиюса Бертрана. Как-то раз мне пришлось купить «Жизнь Артемия Араратского», поскольку мне ее оставила продавщица. Книжка была из «Литературных памятников». Она всегда мне их оставляла, а я... не мог ее не купить. Так и лежит где-то до сих пор непрочитанная. Неловко, конечно, перед Артемием Араратским, но теперь-то его уж точно никто не возьмет в букинисте.

Так вот. Снился мне в те поры букинистический магазин, в котором все было. И Монтень, и Тацит, и Ницше, и Бодлер, и все те историки, писатели и поэты, имен которых я даже и представить себе не мог. Там были, насколько я помню, даже книги из библиотеки Ивана Грозного, если не вся библиотека целиком. Там были карты островов сокровищ, старинные гравюры с планами Москвы, с указанием входов в подземелья, где штабелями хранились хорошо упакованные, под толстым слоем смазки, бесчисленные тома библиотеки зарубежной фантастики. Сон мой состоял из двух частей – сначала я долго шел к этому магазину какими-то кривыми и запутанными переулками. При этом я мог и заблудиться, не найти его. Мог увидеть краем глаза, но магазин по какой-то причине не хотел открываться и от меня ускользал, скрывался в переулках. Если же я находил его, то начиналась часть вторая – перебор книг на полках. Части третей – покупки и принесения домой – не было никогда. Почему-то всегда была в этом магазине огромная очередь в кассу или он раньше времени закрывался. Снился мне этот сон несколько лет подряд, а потом перестал. Советская власть с ее вечным дефицитом хороших книг умерла и утащила мой сон с собой в могилу. Буквально через несколько лет пришел интернет, вытащил мой сон из могилы и надругался над ним...

Впрочем, один единственный раз мне удалось наяву заглянуть в книжный магазин моей мечты. В середине восьмидесятых занесло меня вместе с археологической экспедицией в Самаркандскую область, в один из тамошних кишлаков[1]. Копали мы там античные курганы. «Мы», конечно, громко сказано. Я «двигал отвалы», выражаясь на жаргоне археологов. Кроме того, в мои обязанности входило наблюдение за нанятыми землекопами, из местных. Была у них такая слабость: прикарманивать себе все интересное, что удавалось извлечь из этой древней земли.

В первый же выходной мы с одним археологом из Ташкента собрались в райцентр, в книжный магазин. Знающие люди сказали, что там можно купить любые книги на русском языке, поскольку из населения там одни узбеки и таджики. Точно так же и в нашем сельском магазине знающие люди покупали итальянские сапоги на платформе и кожаные перчатки на натуральном меху. Пасти овец, собирать хлопок или растить виноград в сапогах на платформе и в перчатках было очень неудобно. Особенно летом, в сорокаградусную жару.

Приехали мы на рейсовом автобусе в райцентр. Правда, не сразу. Сначала заехали в другой кишлак – за родственниками шофера. У них были какие-то дела в городе, но маршрут автобуса через их кишлак не проходил. Не идти же им было за три километра в наш кишлак к автобусной остановке, если они родственники нашего шофера. Я всего этого, конечно, не знал, но мне объяснил шофер, когда я заволновался из-за того, что мы свернули не в ту сторону. Ехали мы долго – минут сорок. Было жарко и очень пыльно, но закрывать окна, спасаясь от пыли, было нельзя – вместе с нами ехало несколько женщин. Надо сказать, что сельские узбечки тогда мыли головы кислым молоком (наверное, и сейчас моют). Волосы у них были прекрасные, заплетенные в толстые косы, которые были сверху покрыты несколькими слоями марли. Марля защищала волосы от мелкой чихучей пыли, но при температуре сорок градусов, и даже чуть выше, пахли эти косы теплым кислым молоком так, что перебивали проникающий в окна автобуса вместе с пылью запах дефолиантов, которыми обрабатывали перед уборкой бескрайние хлопковые поля.

Впрочем, я отвлекся. Мы приехали в город и сразу побежали в магазин. Увы, он оказался закрытым. Была суббота, и продавец, справедливо рассудив, что в выходной день книги никто читать не будет, а будет готовить плов, печь лепешки и пить теплую водку самаркандского разлива, ушел домой или в чайхану. Сказать, что мы опечалились – значит ничего не сказать. Мы опечалились громко, на всю улицу, состоявшую из пяти или шести домов. Проезжавший на велосипеде мимо человек в тюбетейке и стеганом ватном халате на голое тело, поинтересовался у нас – в чем

дело. Мы ему рассказали, и он пообещал немедля привести продавца. И привел. Последний, узнав, что мы археологи из Москвы[2], нам искренне обрадовался и тут же снял огромный амбарный замок с двери магазина.

Мы вошли.... Продавец еще и свет не успел включить, как я уже набил половину своего рюкзака книгами. Мой товарищ тоже времени даром не терял. Когда продавец увидел, что мы ему сейчас выполним квартальный план по продаже книг – он открыл подсобку. До сих пор помню этот момент – я достаю из груды сваленных в углу книг маленькую, серую от покрывающей ее пыли книжечку, хлопаю по обложке ладонью, чихаю и вижу серебряные буквы на черном бархате «Испанская поэзия Возрождения». Внутри, на мелованной бумаге, стихи Луиса де Гонгоры, Лопе де Вега, и все это перемежается рисунками, на которых испанские кабальеро в жестких крахмальных воротниках, в пышных штанах, завязанных под коленями бантом, красавицы в кружевных мантильях...

Иногда я просыпаюсь среди ночи, лежу, смотрю на невидимые в темноте книжные полки и думаю – хорошо, когда дети выросли и встали на ноги. За них можно не беспокоиться. С книгами так не получается. Куда им потом, бумажным, идти...

С детьми, если честно, тоже не получается.

---

[1] Совхоз в этом кишлаке был виноградарский. Росли там лучшие во всем Узбекистане сорта кишмиша. Аборигены сушили его, раскладывая тонким слоем на плоских крышах своих глинобитных домишек. В зависимости от сорта кишмиша одни крыши были янтарного цвета, а другие – темно-красные.

В один из выходных дней пригласили нас в гости к уважаемому человеку – главбуху местного совхоза. Главбух был человек образованный, гостеприимный, состоятельный, и ему хотелось поговорить с людьми из больших городов. Не то чтобы мы все горели желанием провести вечер у главбуха, но по правилам археологического тона с аборигенами принято быть в хороших отношениях. Да и консервы нам осточертели.

Взяли мы несколько бутылок водки, ташкентских конфет главбуховым детишкам и пошли. Идти надо было по бетонке. Перед нами по ней проехал трактор «Беларусь» с огромным прицепом из металлической сетки, полным собранного винограда. Задавленный своим весом, виноград не просто плакал, а рыдал сладким соком, и ноги приходилось каждый раз буквально отдирать от дороги. Вслед за трактором с грохотом катил деревянный ящик на колесиках-подшипниках. Ящик был полон чумазых, мелкокалиберных детишек. Сегодня у них был удачный день – они исхитрились незаметно прикрепить свой экипаж к тракторному прицепу, и было им простое деревенское счастье. То прилипая, то отлипая, мы кое-как добрались до двух больших жестяных щитов с наглядной агитацией. На одном из них было написано «Фауны – наши друзья», и были пририсованы такие диковинные друзья, за обладание которыми любой зоопарк мира отдал бы все вплоть до последнего ежа. На втором была лишь короткая надпись «Эконом горючи – дело всенародное»[*]. Видимо, в этих краях экономить горючее было так же естественно, как не умываться, и потому обошлись без поясняющих рисунков. От этого щита шла тропинка к дому, где нас уже заждались.

У железных ворот бухгалтерской усадьбы нас встретил золотозубой улыбкой сам хозяин и провел в дом. Из двери летней кухни нам улыбнулась такой же сверкающей улыбкой супруга хозяина. Потом его мать. Собственно говоря, золотых зубов не было только у детей и собаки – огромной среднеазиатской овчарки. Тогда вообще была мода на золотые фиксы, а уж в Средней Азии, особенно в сельских районах, состоятельные граждане доводили ее просто до абсурда. Я думаю, что и сейчас доводят, поскольку тамошняя мода ужасно консервативна. К примеру, галоши на босу ногу носят там без малого лет сто и еще будут носить долго. По крайней мере, до экспедиции на Марс, которую нам обещают в первой половине этого века, точно будут носить.

Галоши мы оставили перед входом в гостеприимный дом главбуха. Нас провели в комнату для гостей и усадили на пол, возле накрытого стола. Мне досталось место как раз напротив стены с

написанным по штукатурке пейзажем. Чем больше я на этот пейзаж смотрел, тем больше мучился – где я мог его видеть? Я даже умудрился пропустить один из тостов за успех среднеазиатской археологии.

Главбух хитро посмотрел на меня и спросил:

– Что, нравится? Родину вспомнил?

Я промычал что-то невразумительное, а главбух продолжал:

– Немалые деньги уплатил за этот картина. Из райцентр художник вызывал, неделя плов кормил, мешок кишмиш отдал.

Тут самое время описать пейзаж. На всю стену раскинулось поле из тех, что при советской власти назывались «бескрайними колхозными полями». Пшеница колосилась, по краям белели березы, а в центре поля, по электрической железной дороге мчался прямо на зрителя пассажирский поезд. Небеса с редкими облачками пронзительно голубели. Вообще-то картина как картина. Ничего особенного. Смущала только эмблема с колесом и крылышками, нарисованная в небе над поездом. Где я мог все это видеть именно в таком сочетании? Какие-то очень смутные детские воспоминания... Поездка к бабушке в Киев на поезде из Москвы... И тут меня осенило! Как же я забыл! Это была точь-в-точь обертка двух продолговатых кусочков сахара, которые подавали в поездах к стаканам чаю в мельхиоровых подстаканниках. Я никогда, как взрослые, ее не рвал, эту обертку, а аккуратно снимал и хранил до конца поездки. Потом к ней присовокуплялись использованные железнодорожные билеты, а через какое-то время это все выбрасывалось бабушкой или родителями, как ненужный хлам. Им, конечно, ненужный.

Ну, а потом мы выпили за картину, за хозяина, за его гостеприимство, за... Если доведется вам быть в Самарканде или его окрестностях – никогда не пейте местной водки. Черт знает, из чего они ее гонят. Местные виноградные вина куда лучше любой водки. Особенно хороши сладкие. Узбекское полусладкое шампанское и вовсе выше всяких похвал. Но тогда его было не достать – почти все отправляли на экспорт. Как сейчас – не знаю. С тех самых пор я там и не бывал.

- - - - - - - - -

*Надо сказать, что наглядная агитация в Узбекистане в середине восьмидесятых была на высоте. Плюнуть нельзя было, чтобы не попасть в какой-нибудь портрет Шарафа Рашидова или Брежнева, или цитату из их речей. Помню, ехали мы на экспедиционной машине по какой-то глухой местности, в предгорьях уже не помню чего, и на вершине какого-то придорожного холмика я увидел сваренную из арматурных прутьев римскую цифру XXIV. Ржавые прутья, по всей видимости, были когда-то покрашены, поскольку местами на них виднелись остатки красной краски. Такой лапидарности позавидовали бы и древние римляне. В середине восьмидесятых этому памятнику было уже полтора десятка лет. Климат там сухой, место глухое – думаю, что и сейчас эта цифра там стоит. И будет стоять даже тогда, когда никто и вспомнить не сможет ни страну, в которой она была поставлена, ни партию, которая велела поставить этот знак в память о съезде, прошедшего за тысячи километров от этого холмика.

- - - - - - - - - -

[2] На самом деле среди нас москвичей не было. Были археологи из Ташкента и Петербурга, который тогда еще был Ленинградом. Я был из Подмосковья, но объяснять все эти тонкости в Иштыхане было совершенно ни к чему. Понятное дело, что человек, приехавший из России, приехал из Москвы. Откуда же еще? Все приехавшие из Москвы были земляками и друзьями. Продавец в магазине нам рассказал, что месяц назад к нему приезжали наши друзья из Москвы. Мы понимающе покивали головами, мол, как же, как же...

Йогурт с кусочками фруктов

Номер маленький, а балкон еще меньше – на нем с трудом умещается сушилка для вечносохнущих пляжных полотенец и столик с двумя стульями. Зато с балкона открывается вид на

море. Каждое утро у берега, напротив окон отеля, стоит какой-нибудь корабль, чтобы отдыхающие могли завтракать с видом на море и корабль. В дорогих отелях могут подогнать трехмачтовый парусник или даже пиратский корабль. За отдельную плату загорелые и мускулистые пираты будут горланить йо-хо-хо и бутылка рому, стрелять из мушкетов и размахивать абордажными саблями. Каждому завтракающему полагается театральный бинокль. Одинокая богатая девушка может заказать себе завтрак с видом на шхуну с алыми парусами. В отелях попроще, там, где селятся люди семейные, администрация, желая сэкономить, договорится за небольшие деньги с любым прогулочным корабликом класса старая калоша. Он терпеливо подождет, пока закончит есть кашу самый маленький из детей, и только потом поплывет себе дальше. В самых дешевых заведениях просто ставят неподалеку от берега на прикол отслуживший свой срок буксир с проржавевшей насквозь трубой. Внутри буксира будет сидеть загорелый дочерна, сухой как вобла старик и коптить каких-нибудь барабулек или бычков. Густой дым повалит из трубы, создавая иллюзию движения. Вечером этот старик станет продавать отдыхающим копченую рыбу к пиву втридорога, уверяя, что дешевле, чем у него, таких барабулек и таких бычков не найти на всем белом свете Черного моря.

***

Если прийти на пляж, пролежать там, на горячем песке, до той самой минуты, когда мозги превратятся еще не в кисель, но в йогурт с кусочками фруктов, и задуматься, то станет непонятно почему в Черном море вода зеленая, почему облако детского визга такое плотное, что его не могут проткнуть насквозь даже крики чаек, почему каждая волна выносит на песок в два раза больше детей, чем в нее вошло, почему у детей и у волн не кончается завод и почему вот эта женщина размером с кита-полосатика, сидящая в игривой позе на камне, изображает русалку, а маленький щуплый мужичок, напоминающий сушеного снетка, ее фотографи... Впрочем, почему фотографирует – я кусочками фруктов еще понимаю.

***

Болгарский язык, если смотреть на него с внешней стороны объявлений, ценников и рекламных щитов, похож на детский и немного комический вариант русского языка – косточки в нем называются костилками, а какой-нибудь геркулес овесени ядками. Милота, да и только. Кажется, что болгары на нем поговорят-поговорят, потом повзрослеют и станут говорить по-русски. Конечно, если заглянуть внутрь болгарского языка, в самую его мякотку, то там обнаружится страшная абракадабра и окажется, что болгары между собой разговаривают бог знает на каком непонятном языке, но все равно – болгарский мне понравился. Это вам не украинский, на котором пиво это пыво, и так будет всегда, и никто там не повзрослеет.

***

Жара спала. На яхте, стоящей в паре сотен метров метрах от берега, зажегся огонек. Вы сидите на открытой веранде рыбного ресторана. Пахнет водорослями, жареной ставридой и сладкими духами от женщины в широкополой соломенной шляпе за соседним столиком. Хор цикад без устали поет к нам приехал к нам приехал... В тот момент, когда вам начнет казаться, что можно беспечально прожить здесь всю жизнь, питаясь жареной ставридой, спелым инжиром, грецкими орехами, падающими прямо под ноги, и пить белое сухое вино с запахом сладких духов... перекреститесь. И месяца не пройдет, как вас измучит изжога от жареной ставриды.

***

Болгары много курят. Специально я не считал, а просто внимательно смотрел себе под ноги. Получается, что на каждую выкуренную сигарету у них приходится по три, а то и по четыре выброшенных где попало окурка.

***

На самом деле все обстоит не так, как уплачено. Утром проснулся, а близко у берега стоит сухогруз – большой, крашеный суриком. Велел жене срочно подавать завтрак, чтобы есть свою овсяную кашу в виду сухогруза. Только начал есть кашу, как сухогруз загудел басом, начал разворачиваться носом к морю и заехал за высокие-превысокие деревья. Стал я метаться вдоль нашего крошечного балкона, чтобы разглядеть – как он там разворачивается. Жена кричит: – Давай доедай быстрее кашу, пока хоть корма его видна... Куда там. Так и не доел две или три ложки.

***

Собственно говоря, все, что нужно мне для отпуска, у меня есть – балкон с видом на море и без вида на людей. Я бы мог целыми днями, не выходя из дому, сидеть и смотреть на море, на проплывающие мимо корабли и яхты. Удручает меня только одно... Нет, два. Во-первых – мало проплывает кораблей и яхт, а во-вторых, они не гудят, когда проплывают. Хоть я и не Мальчиш-Кибальчиш, а все-таки. Вот если бы они проплывали чаще и гудели, то этого было бы достаточно не только для отпуска, но и вообще для жизни. Меня бы и река устроила вместо моря.

***

Шторма нет, но ветер и волны такие, точно старик пришел к морю уже после того, как старухе оказалось мало корыта. Волны не подлизываются, но бесцеремонно хватают за ноги. На пляже холодно, бесприютно, темно, и светится только запертый на три замка холодильник с кока-колой. Со стороны парка порывистый ветер приносит рыжие иглы лиственниц и высохшие до невесомости хрупкие листья кленов. Соленый воздух наполнен обрывками песни цикад. Слов уже не разобрать – слышны только заунывные, как вой ветра, мирр, мирр, мирр...

***

В Варне, в портовом кабаке «Капитан Кук» не слышно криков пьяной матросни, не стоит дым столбом от десятков трубок с крепким болгарским табаком, не стучат по доскам пола деревяшки одноногих боцманов, столы не изрезаны надписями вроде «Осман-паша старый козел», никто не кричит «сто чертей и якорь тебе в глотку», ни одна портовая шлюха не визжит от того, что ее ущипнул за необъятную корму какой-нибудь контрабандист, и не предлагает за кружку ямайского рома... Здесь и рома-то нет. Одни сухие вина и коньяк «Хеннесси» по пиратским ценам. Я даже подумал было ущипнуть официантку, чтобы хоть как-то... но вышел официант, и я спрятал уже приготовленную руку за спину жены. Зато вслед за официантом вышла уборщица со шваброй. В глазах уборщицы, на ее лбу, на руках, на древке швабры, которую она с остервенением сунула мне под ноги, было написано на сорока всевозможных языках, и даже на латыни и древнегреческом «Ходют и ходют, ходют и ходют, натопчут, а мне убирай...». Я подумал, подумал... и решил руку из-за спины жены не доставать.

***

Последний день отпуска. Погода окончательно испортилась. Собрался было идти мелкий осенний дождь, но с моря подул такой сильный ветер, что дождь идти не смог, а только успел сделать пару шагов, как тотчас же, сбитый с ног ветром, стал падать куда ни попадя. На вышке спасателей вывешен красный флаг «Купаться запрещено». Сами спасатели забились в самый угол веранды опустевшего открытого кафе и делают сразу несколько дел – курят, пьют пиво, играют в карты и разговаривают. Теперь хорошо бы забраться на какой-нибудь утес и давиться словами «буря, скоро грянет буря», которые ветер тебе засунет так глубоко в бронхи, что они превратятся в кашель, или реять над седой равниной моря между опустевшим отелем и болтающейся у причала моторной каравеллой с тремя декоративными парусами размером с носовые платки, но... пора идти и упаковывать в чемодан магнитики на холодильник, местное розовое мыло ручной работы, рахат-лукум, цветом и запахом напоминающий местное розовое мыло ручной работы,

сувенирные мерзавчики с местным коньяком, только и пригодные для украшения вымерших, как мамонты, сервантов, и высохший листик с перегородкой и двумя прикрепленными к ней на тоненьких стебельках черных ягодках, найденный на тропинке ботанического сада неподалеку от груды серых камней под названием развалины римской виллы.

***

Взять, к примеру, наше северное ночное небо. Оно к нам никогда не спускается – висит себе равнодушное где-то там, в ледяной вышине, прибитое созвездиями навсегда. Не достучишься до него. Другое дело – южное. Как только стемнеет, оно спускается прямо к тебе и укутывает в свой черный бархатный плащ, подбитый ночным зефиром, запахом выброшенных на берег водорослей и шумом прибоя. Стоишь на берегу пустынных волн, на самом краешке бетонного пирса, весь бархатный в золотых и серебряных блестках звезд, и вдаль глядишь. Или перекрикиваешь волны, которые стонут и плачут, и все равно бьются и бьются о бетонный пирс. Еще и крикнешь им обидное, чтобы разозлить посильнее, отбежишь от края пирса и смотришь, как они яростно грохоча и шипя бросаются к твоим ногам. Вернешься с юга к себе домой в Тверь или в Тулу, поднимешь глаза вверх, посмотришь на серые осенние тучи в сером осеннем небе, на то место, где должно быть солнце, на бесконечный мелкий дождик, которому хоть обкричись – он все одно ничего не слышит и об эту пору даже припустить не может, а только медленно идет и идет... и черный бархат станет превращаться в толстое ватное одеяло, в которое укутываются здесь по ночам.

***

Поначалу его еле видно. Что-то чернеется на горизонте и все. Приближается медленно, точно испытывает терпение. Радуешься, когда минут через двадцать напряженного вглядывания вдаль начинаешь различать белые бурунчики по обе стороны форштевня. Воображаешь себе бегающих без устали по палубе матросов; боцмана, насвистывающего в свою дудку арию из какой-нибудь оперы; попугая боцмана, отдающего в это же самое время команды озверевшим от бестолковой беготни по палубе матросам; спящего, крепко обнимающего во сне девушку из Нагасаки капитана; уставшего после штормовой ночи с буфетчицей старпома, рассеянно набивающего в переговорную трубку крепчайший вирджинский табак; трюмы, полные пряностей, бочонков с ямайским ромом, тюков с бразильским кофе, ожерелий из зубов свирепых кайманов, бутылок с их горючими, как керосин, слезами, сушеных каракатиц к пиву, золотых дублонов, поднятых с затонувших испанских галеонов, масок африканских колдунов, на которые можно смотреть только крепко зажмурившись, чтобы не умереть со страху, и маленьких глиняных горшков с аленькими цветочками, которые капитан везет своим многочисленным дочерям...

После того как воображение доберется до аленьких цветочков, можно, конечно, проснуться, умыться, поставить чайник, поджарить яичницу, съесть ее и пойти на работу, но лучше этого не делать, перевернуться на другой бок, увести у капитана девушку из Нагасаки, вытащить табак из переговорной трубки, крикнуть в нее буфетчице, чтобы принесла чашку бразильского кофе, ямайского рома, пива и нарезанную колечками сушеную каракатицу, приказать боцману, чтобы вместо арий из опер насвистывал увертюры, попугаю запретить измываться над матросами, развернуться на сто восемьдесят градусов и уплыть обратно к горизонту.

Фотография с пиццей внутри

Нет такого человека, который приехал бы в Рим без фотоаппарата. Всех фотографов условно можно разделить на три группы. Первая – самые легкомысленные. У этих в руках нет ничего, кроме телефона и палочки для селфи. Палочки для селфи здесь самый ходовой товар. Их покупают даже охотнее, чем бутылки с холодной водой летом. Повсюду в местах скопления туристов снуют темнокожие жители Азии или Африки с пучками этих палочек в руках.

Вторая группа – это «средний класс» с фотоаппаратами весом от пятисот грамм до полутора килограммов. Третья – маньяки, у которых объектив размером с орбитальный телескоп Хаббл и штатив размером с треножник боевой марсианской машины из романа «Война миров». Я видел человека с таким фотоаппаратом на треноге. Вернее, это был фотоаппарат с человеком для протирки объектива и кнопкой дистанционного пуска. Будь моя воля – я бы запрещал из таких объективов целиться в памятники старины.

Первая группа фотографирует своими телефонами все подряд. Вот они на фоне Колизея, вот на фоне пиццы, под руку со швейцарским гвардейцем и в обнимку с древнеримской колонной. На площади у Колизея этих самострелов как воробьев у лужи в жару. Они становятся спиной к Колизею, вытягивают свою палочку для селфи, с закрепленным на ней телефоном, подальше и таращат глаза, пытаясь разглядеть хоть что-нибудь на экране в тот момент, когда на него изо всех сил светит солнце. Ничего страшного, если не видно – можно сделать двадцать или тридцать снимков, а потом выбрать... все. Маленькие корейцы, китайцы или японцы умудряются смартфоном сделать селфи всей семьи. Телефоны у них большие, и в один влезают не только родители, но и до десятка детей. Женский кореец, китаец или японец собирается в небольшие стайки и тут же бурно обсуждает то, что получилось. Если получилось хорошо, то лица у всех кислые, а если плохо, то все довольны, хохочут и делают уморительные рожицы.

Вторая группа иногда фотографирует Колизей, крутя при этом какие-то кольца на объективах, приставляя бленды и даже светофильтры, но только в промежутках между фотографированием самих себя. Тут все строго – кавалеры фотографируют дам до тех пор, пока дамам не наскучит или не разрядится аккумулятор у фотоаппарата. Две дамы могут образовать такое множество многофигурных композиций, которое... не приведи Господь. В таких случаях главное – ни в коем случае не брать из дому запасной аккумулятор.

Третьей группе фотографов женщин заменяют фотоаппараты. Они беспрестанно суетятся вокруг них точно пчелы возле пчелиной матки, то протирая специальной тряпочкой объектив, то меняя выдержку, то диафрагму, то включая вспышку, то выключая ее. Фотоманьяк всегда в поисках особенного кадра, которым он будет хвастаться, когда вернется к себе домой в Тверь или в Токио, или в Сиэтл. Вот, как раз удачно пролетает белый, красиво освещенный закатным солнцем самолет над Колизеем... Если собрать все самолеты, сфотографированные над Колизеем, то их будет больше, чем во всех аэрофлотах всех стран вместе взятых.

Глядя на всех этих людей, размахивающих палочками для селфи, непрерывно суетящихся в поисках новых поз, в которых можно себя увековечить, глядя на увешанных фотоаппаратами, штативами, сменными объективами, глядя на то, как они выбирают ракурс, освещение, как... Ты думаешь – да гори оно синим огнем. Я не за этим сюда ехал. Я просто похожу по Колизею, по Капитолийскому холму, посмотрю на величественные развалины, потрогаю теплый мрамор колонн, почитаю про себя «Я римский мир периода упадка» или «Оратор римский говорил»...

Это как раз и будет первая стадия болезни. Внешних проявлений еще и нет никаких – ты просто ходишь, наслаждаешься видами и свысока смотришь на этих ненормальных, застывающих у каждого камня точно суслики у входа в свои норы, чтобы другие суслики могли их сфотографировать. Через какое-то время (надо сказать, не очень большое) ты начинаешь совершать бессознательные фотографические движения руками. Если у тебя в руках совершенно случайно оказался телефон, то ты отодвигаешь его как можно дальше от себя, как бы пытаясь разглядеть в нем... Нет, ни за что. Даже руки от стыда краснеют. Впрочем... если один или два раза сфотографировать себя на фоне вот того барельефа с римским орлом... и залезть на этот пустующий постамент...

Вторая стадия проходит почти незаметно – десяток-другой ночных фотографий Колизея, летняя веранда в ресторане, еще одна летняя веранда, несколько десятков видов Рима с купола собора Святого Петра, сотня фотографий римских церквей снаружи и изнутри, две сотни фотографий фонтанов, фотографии уличных музыкантов, римлянок...

Впрочем, это уже признаки третьей стадии – горячечной. Вот пицца четыре сыра, вот я на фоне пиццы, вот с пиццей внутри, вот в меня влезает ризотто с морепродуктами, вот не может

влезть пирожное канолли, вот я в шлеме гладиатора, вот у подножия Авентинского холма, вот на его вершине... или Палатинского... вот рядом с мраморным бюстом какого-то императора, вот с бюстом... извините, синьора... Придя вечером в гостиницу и упав на кровать, ты с ужасом вспоминаешь, что не успел сфотографировать последние пять квадратных метров мозаики на полу виллы Боргезе и монетки на дне фонтана Треви.

И так ты бегаешь с утра и до вечера все дни твоих коротких римских каникул с воспаленным от усталости объективом. И все это для того, чтобы потом, дома, ненастным осенним вечером, когда за окном идет дождь со снегом, пригласить друзей и мучить их показом этих бесчисленных фотографий вместо того, чтобы сказать:

– Пожалуйте к столу дорогие гости. У нас сегодня никаких изысков не приготовлено. Пиццу не умеем делать. Чай, не в Италии живем. Вот гусь с капустой и антоновскими яблоками, вот пирог с вишней, вот сладкая настойка на чернослив, вот горькая на полыни и кориандре, а вот простая водка для того, чтобы селедку было удобнее есть. Рассаживайтесь скорее, а то гусь остынет и водка согреется.

***

Летняя ночь. В Риме, над площадью Мадонны ди Лоретто низко, почти касаясь крыш, висит подсвеченное прожекторами черное южное небо, усыпанное невидимыми в городе звездами; под небом стоит подсвеченная прожекторами колонна императора Траяна, вокруг которой суматошно летают и кричат подсвеченные прожекторами чайки; у подножия колонны, по мостику, устроенному над раскопанным археологами форумом, прохаживаются мужчины, увешанные с ног до головы фотоаппаратами, и женщины в легких платьях, душно пахнущие приторными липкими духами; смуглые черноволосые торговцы предлагают купить бутылочки с ледяной водой и пластмассовые карманные колизейчики по два евро штучка; бомж, которому не спится, сидит, вытянув ноги поперек прохода, и разгадывает кроссворд при свете фонаря, а рядом с ним какой-то небритый, разбойного вида тип, заросший черной бородой до самых глаз, виртуозно играет на аккордеоне «Очи черные».

***

Маленькая пиццерия под названием «Усы» в дальнем углу площади театра Помпея. Жара, духота, горячая пицца на железной тарелке и красное вино из большой деревянной бочки с краником. За соседним столиком итальянская семья с тремя детьми. Две девочки и мальчик не старше семи или восьми лет. Мальчик кудрявый, девочки кудрявые, мама кудрявая, папа седой и плешивый. Дети, понятное дело, шумят, балуются и не слушают родителей. Папаша спокоен, а мамаша покрикивает. После какого-то грозного и самого последнего предупреждения, дети на секунду замолкают и вдруг начинают петь в три хрустальных голоса детскую итальянскую песню*. Среди всеобщего шума и гама внезапно наступает такая тишина, которая у нас называется «тихий ангел пролетел». Только здесь их три и они не пролетают мимо, а чинно сидят за столом и поют. Так поют, что подошедший к ним официант с подносом, на котором стоят тарелки с тирамису, наклоняется и застывает в неудобной позе над столом. Так он стоит не более двух или трех мгновений – ровно до тех пор, пока дети, увидевшие тирамису, не прекращают петь и не начинают шуметь и ссориться из-за того, кому какая тарелка достанется.

- - - - - - - -

*Они поют песню о тяжелом детстве маленьких итальянских детей, у которых с самого утра не было во рту ни крошки пирожного, ни ложки мороженого, ни глотка кока-колы, которых злые родители заставляют учить с утра до ночи уроки и убирать в своей комнате, у которых айфон один на троих, да и то такой старой модели, что деревянная кнопка на нем стерлась от времени.

***

Прогуливаешься по аллеям сада виллы д'Эсте в Тиволи, под сенью пиний, кипарисов и девушек в цвету*, смотришь на апельсиновые деревья в кадках, на бесчисленные фонтаны, на мириа-

ды сверкающих брызг, на рыбок, красиво плавающих в пруду, на тенистые гроты со статуями внутри, на кусты, покрытые благоухающими красными, белыми и голубыми цветами, на всех этих фавнов, диан и сатиров и думаешь: «Черт бы вас побрал со всеми вашими апельсинами, азалиями и фонтанами. Почему одним цветущие вершки, а другим корешки, которые надо выкапывать из мерзлой земли? Если так жить, как в Италии, то и умирать не надо. Посмотрел бы я на всю эту красоту, если бы сейчас град, мороз, вьюга, ни зги не видать и зима девять месяцев в году, если недород вместе с поносом и золотухой, если вместо сбора винограда заготовка дров на зиму, если вместо помидоров-черри озимые, да и те не взошли, если...» На самом деле ничего такого, конечно, не думаешь. Думаешь «Черт догадал меня с душой и талантом родиться в России».

- - - - - - - - -

*Девушки в Италии, как говорил Ноздрев по-другому, правда, поводу, не клико, а какое-то клико матрадура, что значит двойное клико. Ожог от взгляда итальянки не проходит недели две. Это если его лечит жена домашними средствами, а если запустить...

***

В галерее Боргезе у картины Караваджо «Мадонна со змеей» русский экскурсовод говорит:

– Посмотрите с каким натурализмом художник написал картину. Какие грязные ногти у Девы Марии на руках и на ногах. У младенца Христа они ничуть не чище. Вообще такое впечатление, что у них грибок.

***

В саду виллы Боргезе стоит памятник Пушкину. Небольшой и бронзовый. Наше все сидит на скамеечке, и рядом с ним лежит его цилиндр. Само собой, захотелось мне с Пушкиным сфотографироваться. Подошел я к Александру Сергеевичу и приобнял его за дружескую ногу, чтобы снимок получился живее и в некотором роде интимнее. А Пушкин-то бронзовый, и на него солнце светит, а на улице тридцать пять даже в тени. Ну, натурально и обжегся. Правда, не очень сильно. Так себе красное пятнышко, которое через час или два прошло*. Оно, конечно, и поделом – нечего хватать Пушкина за ноги. Вот памятник Гоголю, который стоит метрах в ста от пушкинского, я за ногу обнимать не стал. Да и как его обнимать, если он работы Церетели. Тут никаких человеческих рук не хватит. Осторожно дотронулся я до гоголевского башмака и... отдернул руку – горячо.

Теперь смотрю на фотографии и думаю – жаль, что никаких, хотя и микроскопических, следов от ожогов на руке не осталось. Я мог бы показывать их при случае знакомым и говорить:

– Это об Пушкина, а это об Гоголя... или это об Гоголя, а это об Пушкина...

- - - - - - - - -

*Правду говоря, пятнышка и не было совсем.

***

Никто не водит экскурсий по итальянским переулкам, а зря. То есть водят, конечно, по старинным римским, или венецианским, или флорентийским, рассказывая о том, что триста или пятьсот лет назад здесь жил, к примеру, великий поэт эпохи Возрождения, который любил высовываться из окна во втором этаже и последними итальянскими словами крыть соседей по дому, дворовых мальчишек, дворовых кошек и дворовых собак за тот шум, который они постоянно производят и из-за которого он никак не может битый час найти рифму к слову «пицца», а соседи кричали ему «женицца», «напицца», а ковылявший мимо хромой попрошайка крикнул даже «удавицца», а он им отвечал, что никогда в жизни не унизится до глагольных рифм, а его жена выливала в окно на крикунов настой из ехидниных пупков, в котором собиралась сварить языки завистников ее мужа по поэтическому цеху.

Все это интересно, и даже очень, если вы медиевист, филолог и специалист по поэзии итальянского Возрождения, но если вы менеджер, учитель или стоматолог, то вам куда интереснее день сегодняшний, тем более что стихи великого поэта вы давно забыли, поскольку не читали

их не только в детстве. Само собой, тут нужен совершенно другой подход и другой экскурсовод, который не худосочный интеллигент в толстых очках, только и могущий километрами цитировать Петрарку и Данте, а опытная женщина, знающая о переулке и его обитателях все и даже отца котят, которых принесла кошка хромого бухгалтера Луиджи Бенедетто из дома номер семь, который вчера ночью так бодро хромал из квартиры Франчески Пеллегрино, что ее муж Адриано, который не вовремя вернулся из командировки в Милан, где тоже, по слухам, которые примчались в Рим раньше него, не терял времени даром, а...

В этот момент открывается окно над тем местом, где экскурсовод шепчет вам на ухо все эти интимные подробности из жизни обитателей переулка, и другой женский голос начинает дополнять экскурсовода, утверждая, что хромой Луиджи по ночам хромает не только от синьоры Пеллегрино, но и от самого экскурсовода, и если бы вдруг сейчас пришли карабинеры спрашивать – в каком белье был экскурсовод, когда к нему пришел хромой бухгалтер, то можно было бы без колебаний указать на вот это, почти незаметное невооруженным глазом, батистовое в вишенках, которое сушится на веревке под окном... которое с треском распахивается и...

Через полчаса или час, когда весь переулок оглохнет от шума и гама, а хромой Луиджи, который на досуге любит сочинять стихи о неразделенной любви, высунется из окна второго этажа и, ругаясь последними итальянскими словами, крикнет, что из-за нас он битый час не может найти рифмы к слову «пицца»... все крикнут ему «тупица» и пойдут в ближайшую кондитерскую пить кофе с амаретто, есть трубочки с кремом и перемывать кости хромому Луиджи и его кошке, которая принесла котят от такого кота...

***

Что касается Рима, то он в себя влюбляет. Не ждет, пока ты в него влюбишься, а сам, как белые в шахматах, – начинает и выигрывает. Невзначай, точно женщина, он приоткрывает свои прелести – то покажет узкий переулок с балконом, на котором растет пальма в кадке и свисают из горшков гирлянды пышных красных и голубых цветов, то проведет мимо тебя гордую римлянку умопомрачительной красоты, то заведет в уличное кафе на три столика и угостит тонкой пиццей, бутылкой кьянти и мороженым двадцати сортов с фисташками, манго и ананасами, то даст понюхать цветущих азалий, то восхитит величественными развалинами на Капитолийском холме. Некоторая неухоженность только добавляет Риму привлекательности, особенно в глазах русского человека. Она идет ему, как идет мужественному красавцу недельная небритость или как девушке идут длинные волосы, развевающиеся на ветру. В Риме тебя никогда не покидает ощущение того, что ты можешь найти клад. Достаточно завернуть за какой-нибудь угол, чтобы найти вход в подземелье времен Траяна или папы Александра Шестого, обломок чего-то античного или просто полустертую латинскую надпись из нескольких букв на древнеримском заборе, которую никто еще не прочел или прочел, но постеснялся перевести. Это вам не Германия, где все давно расчищено, все клады найдены, все надписи расшифрованы и про все ученый немец в белом лабораторном халате написал ученую статью со множеством ссылок и напечатал ее в ученом журнале. Короче говоря, ты и сам не заметишь, как в него влюбился. Уже потом, после того как пройдешь паспортный контроль и сядешь в самолет, захочешь сдать билет и рвануть... ан поздно – уже пристегнулся.

Что касается Петербурга, то он к тебе в друзья не напрашивается. За ним еще поухаживай, чтобы он обратил на тебя внимание. И в музей к нему пойди, и комаров белой ночью у канала в Новой Голландии покорми, и пышечную не вздумай назвать пончиковой, и, нюхая огурцы, хотя бы и соленые, не забудь сказать, что они пахнут корюшкой. Риму достаточно, если ты будешь его любить глазами, а Петербургу этого мало. Он хочет, чтобы его выслушали. Все эти полтора или два миллиона историй о дворцах, мостах, дворах-колодцах, каналах, набережных, императорах и поэтах. И при этом надо помнить, что Петербург Гоголя, Петербург Достоевского и Петербург Пушкина – три совершенно разных города даже и расположенные в разных местах. Не говоря о Петербурге Белого. И еще надо прочесть надписи на покрытых плесенью стенах, восхититься

ими, и тогда... город на память тебе подарит магнит на холодильник, на котором будет написано «из Петербурга с апатией и безразличием». И еще он обидится, если ты его не полюбишь.

Что касается какого-нибудь небольшого провинциального городка вроде Тотьмы, Гороховца или Ардатова... Он стесняется. Его вообще не учили любить. Никогда. Даже и нравиться не учили. Учили обороняться от монголо-татар, от поляков, от немцев, прятаться от начальства, от черта в ступе, но нравиться... Это считалось неприличным. Да и сейчас... В лучшем случае он может из-за занавески показать тебе герань или кошку, намывающую гостей, или старушку, греющую кости у дома на завалинке. Умопомрачительная красота... Некогда ей по улицам мимо тебя ходить – у нее и огород, и картошка, которую надо окучивать, и забор, который нужно покрасить. Нет, мимолетного романа с провинциальным городком не завести. Но как станешь уезжать оттуда – так всю дорогу и будешь думать о том, уродилась ли картошка, покрасили ли забор, окотилась ли кошка, жива ли старушка, не вышла ли замуж умопомрачительная красота, а если не вышла, то... ничего. Поздно уже – пристегнулся.

Что касается Москвы (куда же без нее), то она и понравиться умеет, и вскружить голову, и полюбить, и невзлюбить. Она сделает для тебя все что угодно и даже пойдет за тобой на край света, если ты пообещаешь ей прекратить ежедневную пытку выламыванием бордюров и перекладыванием мостовых.

***

Остия. Тщательно прибранные, аккуратно и почти незаметно подновленные развалины. Тридцать шесть градусов в тени. Ни облачка на выбеленном солнцем небе. Туристов не видно. Птицы не поют – только цикады безостановочно сверлят раскаленный воздух тысячами своих крошечных сверл. Бродишь, бродишь и случайно заходишь в развалины небольшого домика из трех, кажется, комнат. В одной из комнат на стене можно видеть несколько лоскутков росписи по чудом сохранившейся штукатурке – желтые улыбчивые рыбки с пухлыми красными губами и красными плавниками. Между рыбками застыла черная с зелеными крапинками ящерка размером с карандаш. Другая комната представляет собой что-то вроде чулана шириной не более метра с мраморной гладкой плитой от стены до стены и аккуратным круглым отверстием ровно посередине. Тут есть тень. Садишься на плиту, прислоняешься головой к прохладной к стене, и начинаешь думать разное. Сначала думаешь что-то монументальное, вроде «Оратор римский говорил средь бурь житейских и тревоги...». Потом представляешь себе, как из триклиния кричат: «Сколько можно там сидеть! Ты не один в доме!» Потом думаешь о мальчике, который колупал ногтем нарисованных рыбок, когда его наказывали и ставили в угол. Потом воображаешь шумный порт и бронзовых от загара мускулистых грузчиков, ругающихся друг с другом последними словами на классической латыни. Потом чувствуешь, как по узкой, мощеной большими камнями улице ползет отвратительная волна запаха жареной на прогорклом оливковом масле уже начавшей портиться скумбрии. Потом кто-то на втором этаже пьяным голосом начинает: «Пьяной горечью фалерна чашу мне наполни, мальчик! Так Постумия велела...» Потом что-то падает со страшным грохотом на пол. Потом кто-то стучит в потолок и кричит: «Вы угомонитесь, суки, или нет? Я сейчас пошлю за центурионом!»... Потом все затихает, и ты продолжаешь думать: «О Постум! Постум! Льются, скользят года! Какой молитвой мы отдалим приход морщин и старости грядущей, и неотступной от смертных смерти?», а хор цикад, который никто и не думал спрашивать, поет: «Никакой, никакой...», а ты все равно думаешь: «Ведь не может же быть, чтобы совсем никакой...» и даже совсем глупое: «...И я?», а цикады поют: «Еще как может, еще как...» и «А как же, а как же...». Ты понимаешь, что цикады не отстанут и начинаешь думать о другом – о том, что через много столетий берег моря отодвинется от Остии на несколько километров, и белеющие паруса можно будет видеть только на горизонте. Потом

представляешь себе человека, от которого ушло море. Он все живет и живет на старом берегу, смотрит вдаль, собирает ветки для костра, машет кому-то, почти невидимому на горизонте, потом долго сидит у потухающего костра и засыпает.

Потом ты встаешь, возвращаешься на станцию, едешь на электричке в Рим, берешь чемодан в гостинице, едешь в аэропорт, смотришь в окно, на пробегающие мимо дома, заправки, пальмы, кафе и упрямо думаешь, что нет, не может быть, чтобы никакой...

Литровая бутыль с широким горлом

Провинция справляет Рождество. На самом деле до Рождества еще почти месяц, но на площади перед дворцом наместника, у подножия чугунного памятника вождю мирового пролетариата уже открылась рождественская ярмарка. Еще вчера, увязая по щиколотку в серой соленой каше подтаявшего снега, звонко роняя железные трубы, оглушительно хлопая на сыром холодном ветру разноцветными полотнищами и стуча друг другу молотками по пальцам, рабочие монтировали эстраду, а уже сегодня на ней выступает художественная самодеятельность – двое мужчин в казакинах, военных фуражках и с балалайками в руках, багровея от натуги, пляшут вприсядку. Позади мужчин стоят женщины в красных сарафанах и цветастых шалях поверх серых пуховых платков, детишки, наряженные скоморохами, и Баба-яга с метлой. Поют какую-то народную песню, притоптывают ногами, а Баба-яга совершает метлой воздухоплавательные движения. Чуть поодаль от бабы Яги стоит дородный наместник в черном кожаном пальто с меховым воротником, на который выложены все три наместниковых подбородка. Рядом с наместником свита, состоящая из одной тощей женщины в пуховике, одной толстой женщины в каракулевом полушубке с большим количеством суетливых рук и еще большим количеством пухлых, в перетяжках золотых колец, пальцев, одного мужчины с хитрожопым выражением лица и еще двух мужчин без всякого выражения лиц. Перед сценой стоят несколько мамаш с колясками, в которых лежат и упревают наряженные полярниками младенцы. За мамашами переминается с ноги на ногу старший лейтенант полиции женского полу и время от времени зевает в кулак таких размеров, что и майор позавидовал бы. За широкой спиной старшего лейтенанта расставлены полукругом торговые палатки, привезенные с городского рынка. Торгуют в них впавшими в зимнюю спячку беляшами, медом, сувенирными лаптями, мороженой клюквой, валенками с нашитой на голенища эмблемой автомобилей БМВ и пловом из большого дымящегося котла. В углу площади устроен небольшой Рождественский вертеп. Фигурки в нем деревянные, раскрашенные яркими красками и в одеждах из разноцветных тканей. У Иосифа большая окладистая борода, искусно связанная из множества веревочек с узелками и придающая ему сходство с древним шумером из школьного учебника по истории. У вертепа стоят двое: молодая женщина и ее сын лет восьми. Женщина объясняет, кто есть кто в этом вертепе:

– Вот мать Мария, вот ее муж, Иосиф, вот младенец Иисус...

– А это кто? – спрашивает ребенок, показывая пальцем на трех немолодых мужчин в затейливых головных уборах.

– Это, сынок, халвы, – отвечает мать.

***

Оттепель. Винегрет, неубранный после завтрака в холодильник, остывший кофе в большой фаянсовой кружке с подсолнухом, книга, раскрытая на словах «...чтобы она по голосу или по губам не догадалась, что со мной, и я задрал голову к потолку, чтобы слезы вкатились обратно...», окно в сад, за которым серое, наполовину заросшее терновником небо, кривая ольха и пруд, полный медленных, неповоротливых мыслей ни о чем.

***

...и уже откусил половину от свернутого в трубочку тонкого золотистого блина, сквозь бесчисленные поры которого проступили крошечные бордовые капельки земляничного варенья, и уже

начал, захлебываясь слюной, его жевать, как вдруг вспомнил, что забыл выпить рюмку водки, настоянной на чернослив, гвоздике, ванили и гречишном меде, замычал набитым ртом, замахал руками, проснулся и, стараясь не разбудить жену, пошел на кухню...

***

В литровую бутыль с широким горлом кладем две пригоршни кисло-сладкого чернослива, пригоршню сушеных груш, две-три пригоршни сушеного липового цвета, три или четыре высушенных гвоздичных почки, несколько душистых перечных горошин и совсем чуть-чуть ванили, но не ванилина с сахаром из пакетика, а настоящей стручковой бурбонной ванили. Все заливаем водкой и убираем в темное место, о котором забываем на месяц или полтора. Даже по рукам себя бьем, чтобы отбить память. Потом достаем, фильтруем в графин, из графина наливаем в рюмку, вдыхаем пряный экзотический аромат и смотрим на просвет.

Ежели посмотреть против света, то получается авантюрин, но не совсем авантюрин, поскольку багровые тона, хоть и присутствуют, но не так чтобы уж очень, а скорее, как говорил Павел Иванович Чичиков, «искрасна, но не к бутылке, а к бруснике». Впрочем, если наклонить голову, прищуриться и посмотреть с другой стороны... Такие появляются теплые бархатные переливы, как на пышных старинных платьях, которые любили носить купеческие жены и дочки. Переливы, которые бывают, когда она, смущаясь и пунцовея, подаст тебе чашку чаю, потянется за молочником... и тут бархат на лифе ее платья, украшенного бантиками, какими-то особенными защипами и тонкой кружевной каемкой по периметру волнующего декольте, чуть натянется и блеснет так, что хоть вставай из-за стола и иди курить на улицу.

Что же до вкуса, то он получается насыщенным. Есть в нем этакая сладкая кислинка и острота, и даже некоторая жгучесть. Как попадет на язык, то не сразу и разберешь, что там такое, а как войдешь во вкус... Напоминает поцелуй, сорванный с губ женщины, на вид строгой, интеллигентной, почти не пользующейся косметикой, а только капелькой пряных духов, до запаха которых еще надо дотянуться носом. Такие бывают среди библиотекарей и учительниц русского языка и литературы. У них обычно полон рот стихов Мандельштама или Ахматовой, а за щекой может лежать, точно долгоиграющий леденец, целый абзац заранее разгрызенного чеховского рассказа. Сорвешь этот поцелуй где-нибудь в учительской, после педсовета, когда все уже уйдут, а она замешкается, собирая тетрадки, и только тогда поймешь, что это было, когда переведешь дух и вдруг почувствуешь, что и на губах, и на языке, которым ты так смело слизывал то ли руки под темной вуалью, то ли терпкую печаль, то ли ворованный воздух... начинается такой пожар, который унять можно еще тремя, а то и пятью рюмками. И даже после этих пяти или десяти поцелуев очнешься лишь тогда, когда откроется дверь и войдет уборщица в синем халате с преогромной шваброй или вбежит, запыхавшись, белобрысый малец из шестого класса, чтобы спросить, что сегодня задали по литературе. Вот эта разница между купеческим цветом и интеллигентным вкусом... От нее и сходим с ума.

Вообще говоря, настойка должна иметь женский, коварный характер. Это в спирте все мужское и примитивное – два атома углерода, пять водорода и один кислорода. Связи грубые, ковалентные. Никаких ~~внебрачных~~ тонких взаимодействий, типа вандерваальсовых или диполь-дипольного притяжения. Как поется в песне: «выпил и упал – вот и весь сказ». Другое дело настойка. Только что ты еще сидел и рассказывал какой-то анекдот или, принимая красивые, томные позы, декламировал «когда, закрыв глаза, я, в душный вечер лета, вдыхаю аромат твоих нагих грудей...» как вдруг оказывается, что ноги и руки тебя совершенно перестали слушаться, а руки так и вовсе забрели черт знает куда и уже что-то расстегивают, расстегивают... или это руки жены, которая укладывает тебя спать на диван лицом к цветам на обивке.

***

Вдруг откуда ни возьмись появляется большая, цвета черного жемчуга туча и заслоняет солнце. Снег, еще минуту назад лежавший без движения, вдруг начинает идти. Весна мелко дрожит, разбегается в разные стороны и прячется куда только может: за частокол сосулек под крышей бани, в щель между фанерными щитами, которыми на зиму заколочена садовая беседка, обвивается вокруг столба дыма из трубы, лезет в ворох теплой соломы в собачьей будке и протискивается даже в крошечную, протаянную всего одним лучом солнца, ямку в крупнозернистом лежалом снегу, на дне которой лежит иссохшее, но все еще колючее и цепкое прошлогоднее семя репейника.

***

Ветер сырой, порывистый, хриплый. Сад чернее черного. Еще на прошлой неделе он стоял по колено в снегу, а теперь только по щиколотку. Не дожидаясь проталин, из-под зернистого полупрозрачного снега лезет во все стороны барвинок. В раскрытой настежь теплице полно черной талой воды, по которой плавают обрывки бечевки, прошлогодних высохших помидорных плетей и желтая пластмассовая лейка с отломанным носиком. На ветке облепихи сидит какая-то серая невзрачная птичка и своей песней хочет пережурчать ручей. Еще немного, и у ручья кончится терпение. Небо висит так низко, что на него можно смотреть, не поднимая глаз. Где-то в самом дальнем его углу виднеется голубой с золотой каемкой клочок – краешек лета. Если за него потянуть, то... он оторвется и из образовавшейся дыры пойдет мокрый снег.

***

Весна все время занята – то она падает мокрым снегом на торчащие из лопнувших почек острые уши новорожденных листьев; то превращается в ржавый мангал, который сосед вытаскивает теплым солнечным днем во двор; то кружит в небе маленьким, басовито гудящим и еще не перелинявшим после зимы самолетиком с остатками белой краски на крыльях; то пахнет горелой травой на откосах возле железной дороги и рассыпается звонкими словами, которыми путевые обходчики ободряют друг друга; а то вдруг входит на станции «Цветной бульвар» в вагон метро двумя девочками лет десяти-двенадцати, усаживается на свободные сиденья, долго хихикает, возится, толкается, потом, наконец, успокаивается, достает большую красную папку с нотами, раскрывает ее на той самой странице, где написано «Ангел» соч. С.В. Рахманинова, слова М.Ю. Лермонтова, и начинает, не обращая внимания на грохот поезда, петь на два голоса. До самой Нагатинской поет. Пухлый розовощекий мальчик, вошедший в вагон вместе с весной, сначала слушает, раскрыв рот, а потом все же опоминается, дергает ее за один из четырех рукавов и говорит:

– Алексеевы, ну чего вы распелись-то? Еще целый час до репетиции.

***

Мучиться бессонницей лучше всего в мае на даче. Проснешься в пять утра, поворочаешься с боку на бок еще полчаса, откроешь, наконец, глаза, чтобы развидеть бесконечные кусты с помидорной рассадой, обуешь галоши на босу ногу и пойдешь в теплицу, чтобы проверить, как она там провела первую ночь в грунте – не продуло ли ее сквозняком через щель у земли, не снился ли ей в кошмарном сне пырей и не пробралась ли к ней под утро вездесущая сныть. Выйдешь на крыльцо, наступишь на хвост собаке, дремлющей на уже нагретых утренним солнцем деревянных ступеньках, и замрешь, пораженный нескончаемым насекомым гулом в ветвях цветущего клена, щекочущим видом всех этих пчел, мух и микроскопических жучков, лихорадочно собирающих сладкий нектар с нежно-зеленых соцветий. И, прищурившись из-под ладони, приставленной ко лбу, разглядишь на самой верхней ветке маленькое, невзрачное, серое, размером с детский кулачок, карузо, так сладко поющее о прелестях семейной жизни, о заботливо свитом гнезде, об отложенных яйцах, что невольно и сам, вопреки всякой логике... И тут деликатно заскулит собака, прося убрать ногу с ее хвоста.

***

Упасть навзничь в одуванчики, замереть, слушать, как щебечет овсянка, как свербит знойный воздух стрекоза, смотреть в небо на большое облако, которое усиливается проглотить солнце, на то, как оно вытягивает свои ложноножки, как прикидывается горой, мышью и фрегатом, чтобы усыпить солнечную бдительность, как внутри него вращаются и погромыхивают какие-то жернова, как набухают его толстые белые губы, и быть овсянкой, стрекозой, облаком, горой, мышью, фрегатом... отмереть, встать, отряхнуть с себя одуванчиковый пух, перестать быть овсянкой, стрекозой, облаком, горой, мышью, фрегатом, превратиться в тыкву и пойти окучивать картошку.

***

Третий день льет холодный дождь. Уму непостижимо, сколько пропадает зазря аромата цветущего шиповника. На вишню от сырости напал какой-то грибок, и надо бы обрызгать ее специальным антигрибковым ядом, но нельзя, потому что дождь его смоет. Да и яда на самом деле нет – надо ехать за ним в райцентр и там долго ходить по рынку, нося за женой бесчисленные сумки с новой рассадой для огурцов, которая померзла от внезапных холодов, сыром, селедкой, баклажанами, красным сухим вином, яблоками, телятиной, крышками для банок, ветчиной, помидорами и ядом, который, как выяснится по дороге домой, забыли купить, и придется возвращаться за ним еще раз.

Уже на выезде из города зайти, по случаю беспросветного дождя, в районный краеведческий музей, в одной из комнаток которого устроена выставка кукол, привезенная сюда из области, и среди целлулоидных красавиц в старинных, затейливо украшенных золотой и серебряной тесьмой платьях из шелка и бархата, углядеть небольшую, сделанную мастером из Петербурга куклу мужичка в очках, фетровом сером беретике, коричневом драповом пальто с большими костяными пуговицами, крошечным портфельчиком в одной руке и холщовой сумкой в другой под названием «Бухгалтер Толик».

Стоять, смотреть на него и представлять, как он спускается по полутемной лестнице парадного, пропахшего кошками до мышиного инфаркта, как идет в магазин, потом во второй и в третий, чтобы купить яблок, телятины, ветчины, помидоров, сыра, селедки, орехов, красного сухого вина, как возвращается домой, ставит на пол свой раздувшийся от продуктов портфель, вешает на крючок сумку, разувается, снимает берет, пальто и относит все покупки на кухню.

Через какое-то время бухгалтер Толик, все нарезав и разложив на тарелки, приглаживает остатки волос на голове, робко, с виноватой улыбкой на лице, открывает дверь в гостиную, где его жена берет уроки живописи у модного петербургского художника, и зовет всех ужинать.

За ужином жена выговаривает ему:

– Ты, Толик, умный, благородный человек, но у тебя есть один очень важный недостаток. Ты совсем не интересуешься искусством. Ты отрицаешь и музыку, и живопись.

– Я не понимаю их, – отвечает он кротко. – Я всю жизнь занимался бухгалтерией, и мне некогда было интересоваться искусствами.

– Но ведь это ужасно, Толик!

Бухгалтер Толик ничего не отвечает и отворачивается к окну, за которым идет бесконечный дождь, а под окном и под дождем стоит и мокнет старая вишня. Часть листьев на ветках побурела и свернулась в трубочки.

«Наверное, ее грибок ест. От сырости все», – думает он. – Хорошо бы яду специального развести и обрызгать этим раствором дерево. Впрочем, что толку от этого яду – все равно его смоет дождем».

Потом он переводит взгляд на кусты цветущего шиповника возле детской площадки и еще думает:

«Сколько чудесного аромата пропадает зазря – уму непостижимо... Яду все же надо будет купить. Даже если дождь не кончится».

***

В прошлой жизни я был улиткой. И в этой тоже. Люблю все свое носить или возить с собой. Даже когда выхожу в магазин за хлебом, то непременно возьму рюкзак, в который положу и зонтик, и планшет на случай, если придется записать какую-нибудь мысль, вдруг пришедшую ко мне в колбасном отделе, и фотоаппарат, чтобы просто принести его обратно.

Если же я собираюсь поехать на велосипеде в поле или в лес за три километра от деревни часа на два проверить, все ли облака на месте, то багажные сумки моего велосипеда будут переполнены бутербродами с колбасой, пряниками и термосами с чаем. Тут уж я возьму с собой и складной стул, и планшет, и фотоаппарат, и штатив к нему, и теплую куртку, и гаечные ключи, и комплект заплаток на велосипедные камеры на случай, если вдруг наеду на гвоздь или заблужусь на единственной проселочной дороге и буду ездить по ней взад и вперед, пока не кончится запас бутербродов и чай с пряниками. Правду говоря, я бы брал и палатку, чтобы переждать дождь на случай, если... бы жена не смеялась.

Зато когда мы собираемся ехать в путешествие на машине на два или три дня в соседнюю Нижегородскую или Костромскую области, она уж не смеется, а сама покупает такой запас тушенки и других консервов, которого хватит до самого Владивостока. Еще и месяц жить в тайге, в брошенной избушке лесника. Багажник машины ломится от газовой плитки, баллончиков с газом, специального экрана, который защищает пламя плитки от ветра, кастрюль, половника для супа, складного стола, стульев, тента от дождя, походного холодильника, аптечки, в которой на всякий случай положены даже хирургические инструменты, палатки, надувной лодки, якоря для нее и удочек, если вдруг придется добывать себе пропитание рыбной ловлей; одежды и обуви на случай дождя, снега и шквального ветра. Честно говоря, ночуем мы в гостиницах, но мало ли что...

Больше всего мне хотелось бы жить в доме на колесах. Чтобы он хоть и медленно, но все время ехал. Вернее, проезжал мимо. Мимо все этих сложностей с работой, ипотекой, зарплатой, здоровьем и всем тем, что может быть сложным. Чтобы кладовки ломились от запасенной тушенки, соленых огурцов, сушеных грибов, орехов, гречневой крупы, чая, кофе со сливками, шампанского и жареных семечек. Чтобы время от времени выходить на балкон седьмого этажа, смотреть на проплывающих внизу прохожих, дворников с метлами, проезжающих полицейских с мигалками, пробегающих собак с хвостами, закрученными...

К чему я это все... Совсем не этому, а к улиткам. Я хотел сказать про то, что хорошая книга, или повесть, или рассказ, или стихотворение должны напоминать улитку. В них все должно быть для того, чтобы в них можно было остаться и жить. Закончил читать и закрыл за собой изнутри обложку. Там, внутри, все есть – и пряники, и пираты, и любовь, и палатки, и удочки на случай, если придется добывать себе пропитание рыбной ловлей, и поле, и лес, и даже одиночество в углу какой-нибудь десятой или двенадцатой главы.

Еще лучше, когда и каждое предложение похоже на улитку. В нем все должно быть для жизни – и подлежащее, и сказуемое, и достаточное количество предлогов с приставками. Взять, к примеру, предложение, внутри которого растет небольшая яблоня, а под ней, в тени, лежит и дремлет собака, а над собакой и яблоней все выше и выше поднимается палящее солнце и, по мере того как тень от яблони становится все меньше и меньше, собака сворачивается во все более и более тугой клубок, в котором уже не видно ни черного носа, ни глаз, ни хвоста, и только кончики ушей чуть торчат над тем местом, где должна быть голова и... если бы меня не позвали разделывать судака, купленного утром на рынке, то собака успела бы уйти спать в сад, под лавку в беседке, попутно сунув нос в клумбу с цветущими лилиями и получив за это по шее от жены.

Если это предложение наполнить ароматом цветущего чубушника, окурить шашлычным дымом от мангала, огородить его по периметру тремя рядами кавычек, то в нем можно... Одно плохо – такое предложение никуда не едет. Оно намертво прикреплено к земле. Вот если бы его разделить на придаточные, поставить все их на колеса и... В пути они могут заплутать, потерять друг друга из виду, а потому каждое должно быть снабжено запасом пряников, тушенки, гречневой крупы, яблоней, собакой и...

***

Берем баранью лопатку. Лучше две. Берем бутылку белого и сухого. Лучше две. Зелени берем столько – сколько не брали никогда. Берем кинзу, тархун, уцхо-сунели, чеснок, петрушку, зеленый лук, укроп, острый перец, базилик, мазилик, и даже пучок той зеленой травки без названия, но с острым запахом, которую нам дают бесплатно, как покупателю приятному во всех отношениях. Красного вина в рецепте нет, но его тоже берем. Мясо рубим с костями, кладем в казан, густо засыпаем крупно нарубленной зеленью, заливаем сухим белым вином, закрываем крышкой и тушим, пьем вино, снова тушим и снова пьем вино. К концу первого часа тушения, когда белое вино подходит к концу и переходит за него, достаем красное и начинаем петь, не переставая тушить. Поем, тушим и не трогаем последнюю бутылку красного одновременно. Еще через полчаса добавляем в казан ткемали и снова тушим. Достаем последнюю бутылку красного, в глубокую тарелку накладываем мясо и приправы, поливаем образовавшимся золотисто-зеленым соком и, не успев толком распробовать, снова накладываем. Берем тонкую лепешку, рвем ее на куски и макаем в мясной золотисто-зеленый сок так, чтобы нежный мякиш пропитался, а корочка не успела. Петь продолжаем, но внутри себя. Снаружи это кажется урчанием. Наконец усилием воли отодвигаем от себя тарелку, с сожалением смотрим на пустую последнюю бутылку красного и говорим жене:

– Перед грозой такая духота... Просто нечем дышать... Даже говорить трудно. Язык во рту еле поворачи...

– Это все потому, что кто-то слишком много...

– Это все из-за твоего пачемули.

– Чакапули, – поправляет жена.

– Почему, когда мне нечем дышать, ты обязательно должна меня поправить?

– И обкормить, – добавляет жена.

***

У меня все рассчитано. С понедельника по пятницу я работаю – пишу разные бумаги, переписываю их, откручиваю и закручиваю гайки, рассматриваю графики, таблицы, делаю вид, что все мне в них понятно, вмешиваюсь в те процессы, которые без меня идут хорошо, а со мной... Одним словом – руковожу. В пятницу вечером я слагаю с себя обязанности руководителя, перестаю делать вид, что знаю, как надо, сажусь в машину и еду на дачу.

Через три часа стояния и лавирования в пробках приезжаю на нее ближе к полуночи, и пока вслед за женой не повторю три раза какой здесь чистый воздух, сколько звезд, какая огромная луна, как чудесно пахнут пионы в саду, пока не понюхаю горсть бледной клубники, собранной с фонарем в огороде, пока не скажу, что с детства ее терпеть не могу и есть не буду, спать не лягу. Утром в субботу проснусь, вытащу из дровяного сарая велосипед, навьючу на него багажные сумки с провиантом, фотоаппаратом, складным стулом и поеду далеко-далеко. Сначала буду ехать по асфальту, хоть и в трещинах, потом по асфальту с дырками, потом по дыркам с асфальтом, потом по одним дыркам, заросшим подорожником и пыреем, потом по зарослям лебеды, по краю поля, заросшего ромашками, клевером и лопухами, пока, наконец, не приеду к старой березе с обломанной верхушкой.

Здесь такое место, в котором удобно и хорошо быть самим собой, поскольку здесь нет ничего, кроме поля, ромашек, стрекоз, облаков, птичьего пения и далекого, чуть выглядывающего из-за верхушек березовой рощи, креста церкви в соседнем Зиновьево. Раньше посреди этого поля стоял председатель колхоза и растирал в мозолистых ладонях листики молодой капусты или молодые картофельные клубни, глядел из-под мозолистой ладони на колосящуюся ниву и на комбайнера, выпавшего из комбайна и уснувшего в борозде, или этими мозолистыми ладонями рассказывал спящему комбайнеру о том, как он его... а теперь здесь просто поле, заросшее травой, сурепкой и ромашками.

Здесь я останавливаюсь, раскладываю стул, достаю из багажника бутерброды, термос с чаем и начинаю быть самим собой – перестаю притворяться седобородым завлабом, которому два года

до пенсии, а становлюсь молодым и отважным путешественником, летчиком дальнего плавания первого ранга с медалью за отвагу при закрашивании белых пятен на карте Северного полушария и двумя золотыми значками первой и второй степени за бескорыстие при поиске сокровищ.

У меня все рассчитано – к тому моменту, когда я доедаю бутерброд и принимаюсь за чай с коньяком и пряником, в облаках начинается гул. Это гудит самолет, прилетающий в мое небо над полем каждые выходные. Он летит с маленького аэродрома под городом Киржач. Самолет тоже маленький, винтовой. То ли он разбрасывает парашютистов по окрестным полям, то ли обучает летному делу любителей воздухоплавания. Гул от самолетика настоящий. Как сказали бы меломаны – теплый, ламповый гул, а не это бездушное и безликое «у-у-у...», которым гудят все реактивные самолеты любой модели. Это даже и не гул, а голос.

Голос приближается и, наконец, из облаков выныривает самолетик. Он старый и даже старинный, с двумя килями, расчалками и неубирающимся шасси. Над полем он делает разворот. Я сижу в кабине, в командирском кресле, в летном кожаном шлеме, в белом шелковом развевающемся шарфе и в скрипящем летном кожаном комбинезоне. Это ничего, что в самолетной кабине нет ветра и шарф не развевается. Сейчас я велю штурману ее немного приоткрыть, чтобы не было так жарко. Летим-то мы медленно и низко. Заодно пусть наведается в салон, чтобы проверить – не забыли ли мы с собой специальные крючки для ловли акул, зеркальца и бусы для аборигенов, хлороформ для усыпления бабочек и набор цветных карандашей для их зарисовки. Еще и самолетные лыжи, если вдруг придется возвращаться зимой. Нам лететь далеко – в Новую Гвинею на поиски разбившегося в джунглях корабля пришельцев. Там, по непроверенным слухам, в святилище одного из местных племен случайно забредший туда миссионер видел шлем марсианина. Заодно на одном из островов Карибского моря нужно найти пиратский клад и сбросить запас продуктов и сушеных березовых дров полярникам, дрейфующим вместе с Землей Санникова. Карту мне выдали в министерстве приключений на свою и чужую тоже перед самым отлетом. Не перепутать бы ее с картой полета, на которую нанесены белые пятна на случай географических открытий. Кроме обычных карт имеются у нас специальные коробки с папиросами «Беломорканал», которые выпускает министерство гражданской авиации с подробными картами на пачках. По ним обычно летают в экстренных ситуациях, когда никаких других карт не остается или штурман забывает все карты дома. Главное – не проверять в полете, не забыли ли мы медицинский спирт для дезинфекции и обеззараживания укусов тропических насекомых. Такие проверки обычно плохо кончаются.

Когда устаешь сидеть за штурвалом, то передаешь управление автопилоту, а сам идешь в салон, выпить кофе и посидеть у камина с книгой. Самолет у меня старый и даже старомодный. Никаких электрических обогревателей в нем нет. Нет и мониторов, с которых показывают путешественникам бесчисленные голливудские комедии для умственно отсталых. Зато есть библиотека с большим количеством старинных фолиантов. Снимаешь с полки записки Гржимека и Вахмурки об их приключениях в кратере вулкана Нгоронгоро, закуриваешь трубку, стюардесса приносит тебе кофе со сливками и шоколадные конфеты, бумажки от которых я никогда не бросаю в иллюминатор, пока не пересеку границу...

Тут я открываю глаза и вижу, что самолет мой давно улетел в Киржач. Небось уже и приземлился на маленьком пыльном аэродроме. Летчик велел механику зачехлить моторы, а сам отметился в ведомости полетов, сел на служебный автобус и поехал домой есть окрошку. Ну, а мне ничего не остается, как перестать быть самом собой, превратиться обратно в завлаба, собрать в пакет бумажки от шоколадных конфет, положить пакет в багажник, сесть на велосипед и поехать на дачу, чтобы успеть к ужину.

***

Сидишь на раскладном стуле, на берегу Волги, хлебаешь, обжигаясь, из железной миски дымчато-золотистую уху, пьешь за здоровье проплывающих барж, яхт и туристических теплоходов вологодскую горькую настойку, смотришь, как солнце подрумянивает край облака до золотистой

корочки, как, облокотившись на фальшборт, курит на палубе проплывающего мимо буксира матрос, как, выражаясь языком Лейбница, монады ухи, барж, буксирного матроса, вологодской горькой настойки объединяются, образуя умопостигаемый феноменальный мир, и думаешь, что кабы тех трех подлещиков, двух ершей и одного окунька из ухи вытащить, да заменить их на одну, но крупную стерлядь, да влить в котелок сухого, как порох, шампанского, да подать к ухе расстегаи с налимьей печенкой, да к ним прибавить цыганский хор, непрерывно поющий эх, загулял, загулял, загулял парнишка молодой, молодой в красной рубашоночке хорошенький такой, да к хору прибавить какую-нибудь Грушеньку или Ларису, да к ним обеим собственный пароход, а лучше два, да чтобы монады стерляди, цыган, шампанского, Грушеньки, Ларисы и пароходов водили хороводы, объединяясь в умонепостигаемый мир, – то жизнь определенно удалась бы. А настойка пусть осталась бы вологодской и горькой. Она и без цыган с пароходами хороша.

Сидишь на раскладном стуле, на берегу Волги, хлебаешь, обжигаясь, из железной миски дымчато-золотистую уху, пьешь за здоровье проплывающих барж, яхт и туристических теплоходов вологодскую горькую настойку, смотришь, как солнце подрумянивает край облака до золотистой корочки, как, облокотившись на фальшборт, курит на палубе проплывающего мимо буксира матрос, как, выражаясь языком Лейбница, монады ухи, барж, буксирного матроса, вологодской горькой настойки объединяются, образуя умопостигаемый феноменальный мир, и думаешь, что для полного счастья не хватает только того, чтобы проплывающие мимо баржи, туристические теплоходы и яхты гудели бы каждый раз, когда ты выпиваешь за их здоровье... Ну, хорошо. Пусть не гудели бы. Пусть хотя бы капитан высунется по пояс в иллюминатор с ответным тостом или буфетчица в нем застрянет своей накрахмаленной кружевной наколкой.

***

Дождь кончается. Где-то за деревней еще погромыхивает и, когда все вокруг освещается далекими сполохами, видно, как по иссиня-черному небу быстро плывут белые косматые облака. Еще накрапывает, но сверчки уже запели на невидимую в тучах луну. На веранде, да и вообще дома темно – где-то между райцентром и деревней оборвало ветром ветхие провода, и электричество, вместо того чтобы бежать по ним на дачу, вытекло тонким голубым искристым ручейком в мокрую траву. Завтра утром к месту обрыва должна будет выехать из города аварийная машина с двумя дежурными электриками, но не выедет потому, что кончится бензин или куда-то запропастятся большие пассатижи, которым скручивают порванные провода, или не будет болтов с нужной резьбой, или электрики вдруг найдут закатившуюся вчера за верстак непочатую бутылку водки.

Все это, однако, будет завтра, а пока на веранде светится только тусклый красный огонек противокомариной спирали да горят две маленьких икеевских свечки в алюминиевых плошках. Из кухни долетают запахи укропа, чеснока и гвоздики – там еще минуту назад солили рыжики, а теперь обо что-то спотыкаются, громыхают кастрюлями, банками и чертыхаются. Собака лежит на мокрых ступеньках и делает вид, что боится грозы. На веранду ей нельзя, но очень хочется. В отверстия между планками шпалер заглядывают мокрые лохматые георгины, а в углу, за тумбочкой, на которой стоит самовар, неслышно плетет паутину невидимый паук. Теперь, при свечах, под шум капель, срывающихся с листьев, хорошо пить цейлонский чай с ямайским ромом и мечтать о дальних странах, о тропических морях, о корсарах стихами Гумилева. Или щекотно шептаться стихами Ахматовой о чем-нибудь таком... или этаком... и даже сжимать чьи-нибудь руки под темной вуалью... Ну, хорошо, хорошо. Не чьи-нибудь, а только те, которые пахнут гвоздикой, укропом, чесноком и рыжиками. И вовсе незачем так греметь кастрюлями.

Или вовсе завалиться спать. Зажечь свечу у изголовья кровати и перечитывать перед сном Шмелева. Ту главу в «Лете Господнем», где о Яблочном Спасе. Свеча наклонится на бок и будет трещать, догорая. Капли воска потекут на обивку стула (за то, что не подстелил под консервную

банку со свечкой газету, тебе еще завтра достанется), а ты под шум дождя, который надумал снова идти, станешь то ли читать, то ли выуживать из памяти белый налив, ананасное царское, анисовое монастырское, титовку, аркад, боровинку, скрыжапель, коричневое, восковое, бель, ростовку сладкую, горьковку...

***

С одной стороны можно начитаться до одури Бердяева, Соловьева, Карсавина и долго, до хрипоты спорить о русской идее, о смысле существования России во всемирной истории, об объединении языческой дионисийской стихии с монашеским православием, о всемирности и о черте в ступе, а с другой – встать часов в шесть утра, разбудить собаку и пройти с ней километра три по полю, дойти до ельника, набрать корзину рыжиков, принести ее домой, накопать в огороде картошки, нажарить ее вместе с рыжиками и луком, поставить еще щипящую и брызгающуюся горячим рыжим маслом сковородку на стол, налить в рюмку ледяной полынной или перцовой настойки, вздохнуть, потереть руки, посмотреть равнодушно на потолок, на собаку, на жену, которая в шесть утра встала, разбудила собаку, пошла с ней через поле к ельнику, насобирала рыжиков, накопала картошки и нажарила полную сковородку, в то время как тебе все это снилось, выпить, закусить картошкой с рыжиками, задуматься на мгновение, перед тем, как... Впрочем, и этого не надо, чтобы понять – что-то есть в русской идее. Особенно в объединении дионисийской стихии с монашеским православием.

***

Сядешь на велосипед, уедешь на край земли, в осеннее поле, заберешься в самую его середину, в заросли поникшего лугового мятлика, в высохшие стебли васильков и ромашек, в колючки репейника, во влажную от моросящего дождика тишину, в тяжелое молчание облаков, ползущих за горизонт, в однозвучную песню кузнечика, который, чувствуя, что скоро придется уходить умирать за кулисы, все поет и поет на бис, хотя никто его об этом и не просил, посмотришь на бледный солнечный луч, стиснутый меж двух облаков, на церковь, которая растет на дальнем краю этого поля уже полтораста лет, на колокольню этой церкви, которая давно засохла и вот-вот отвалится, и ощутишь в груди такую сладкую, с тонкой горчинкой, точно земляничное варенье, тоску, что, кажется, так бы и зарыдал от полноты чувств, как Левитан, который весь день рыдал после того, как просидел час на берегу моря. Дома, конечно, дела, урожай яблок, картошка, которую надо просушить перед тем, как убрать в подвал, и никто тебе даже всхлипнуть не даст. И усиливаешься, если не зарыдать, то хотя бы слезинку, и уже начинаешь изо всех сил размазывать по лицу капли дождя... как вдруг оказывается сам собой в твоей руке бутерброд с паштетом из куриной печенки, и ты начинаешь его нечувствительно уписывать за обе щеки и думать, что никакой ты не Левитан, а самая настоящая свинья, у которой в сумке еще бутерброд с колбасой, термос с чаем и сдобный сухарь с изюмом. Всего один, а лучше бы два.

***

Зимой смотришь в окно и думаешь – скорее бы оттаяло все снаружи и внутри и началась весна, а весной тоже думаешь, но мысли путаются, рвутся, снова путаются и на них даже завязываются узелки. Летом думаешь о том, что хорошо бы тепло продлилось хотя бы на недельку, или умучила жара и нужен дождик, чтобы успела вырасти до холодов картошка, или он не нужен, чтобы успеть ее выкопать, а осенью ничего думать не надо. Все уже кончилось или еще не начиналось. Можно просто сидеть у окна и смотреть на тянущийся к югу гусей крикливых караван, на матерые черные тучи, облепленные пухом новорожденных облачков, на красные гроздья рябины, на голое поле в серых и ломких стеблях репейника, на стайку синиц, прилетевших из лесу поближе к человеческому жилью и с шумом перепархивающих с яблони на яблоню в опустевшем саду. Можно слушать тишину, которая из крошечной мало-помалу превращается в огромную и наполняется шумом ветра, шорохом дождя, шелестом листьев, укоризненным молчанием несобранных грибов, карканьем ворон, криком ястреба, и чувствовать, что тишина слушает тебя

тоже, не говоря о поле и облаках, которые всматриваются в тебя так пристально, что ты отводишь взгляд и идешь на кухню пить чай.

***

В конце сентября температура воздуха на улице понижается настолько, что расстояние, которое может пролететь воздушный поцелуй, уменьшается прямо пропорционально квадрату температуры, умноженной на абсолютную влажность воздуха. Первые попытки вывести уравнение воздушного поцелуя относятся еще к восемнадцатому веку. В черновиках Сумарокова был обнаружен фрагмент вычислений... Честно говоря, это трудно назвать даже фрагментом вычислений, поскольку Александр Петрович с арифметикой был не в ладах и в юности не смог одолеть даже учебника Магницкого. За уравнение воздушного поцелуя он взялся лишь из опасений, что его выведет Ломоносов. Все, что смог сделать Сумароков – нарисовать в виде облачка воздушный поцелуй, вылетающий из губ какой-то кокетки, и девичьи пальцы, украшенные перстнями. На губах, на облачке и на пальцах его же рукой проставлены в случайном порядке цифры от одного до десяти, крестики, крючки и необычного вида загогулины, которые, надо полагать, простодушный Александр Петрович считал знаками математических действий.

Не в пример Сумарокову, Фридрих Готлиб Клопшток понимал в математике гораздо больше, как и все, впрочем, немцы, и даже, при выведении уравнения воздушного поцелуя, консультировался с великим Эйлером. В архиве Клопштока сохранилось письмо Эйлера, в котором он просит поэта не морочить ему голову всей этой Kussblödsinn*. Как бы там ни было, а Клопшток смог установить зависимость расстояния, которое пролетает поцелуй, от температуры окружающей среды. Правда, он не учел, что эта зависимость квадратичная, что поцелуй может быть влажным, что при изобарическом охлаждении воздуха... Короче говоря, Фридрих Клопшток рассматривал случай идеального сферического воздушного поцелуя в вакууме. Впрочем, тогдашнее состояние физики, метеорологии и математики не позволяло учесть ни силу дыхания, которая, в свою очередь, является первой производной от страсти, ни угол наклона пальцев, ни то, каким образом сложены губы при отправке поцелуя, ни их влажность, ни тем более наличие на них губной помады.

Ни Клопшток, ни тем более Сумароков не рассматривали случай английского воздушного поцелуя, когда окружающий отправителя туман поглощает поцелуй, не дав ему пролететь и нескольких сантиметров. Потому-то в Англии воздушный поцелуй встречается так же редко, как в России трезвый. Тем не менее именно англичане во второй половине девятнадцатого века, введя в уравнение коэффициенты, учитывающие плотность тумана, расстояние прямой видимости и задымленность воздуха, определили граничные условия, при которых воздушный поцелуй превращается в обычный. К концу прошлого века они даже смогли приступить к разработке единой теории воздушного поцелуя, которая должна была представлять собой систему дифференциальных уравнений второго порядка... И тут воздушный поцелуй стал исчезать из обихода. То есть им, конечно, еще пользуются артисты, посылающие со сцены фальшивые, запачканные жирным блеском для губ воздушные поцелуи в зрительный зал, но обычные люди в повседневной жизни... И то сказать – нынешний воздушный поцелуй, в отличие от старинного, имеет маленькую начальную скорость, пролетает куда как меньшее расстояние, летит только по прямой, и его может сдуть с пути даже годовалый младенец. Всего лишь сто лет назад воздушный поцелуй мог пролететь из Москвы если и не до Петербурга, то уж до Торжка точно, дождаться там попутного ветра и снова полететь. А уж как он прилипал к получателю...

Ничего этого теперь и в помине нет. Постмодернисты и вовсе отрицают воздушные поцелуи как дань ложноклассической моде. Молодежи всё заменили смайлики и сердечки в смартфонах. Искусством настоящего воздушного поцелуя теперь владеют только люди среднего и очень среднего возраста. Зато у них они выходят нежней и суеверней.

Вернемся, однако, к тому, с чего начали. В конце сентября температура воздуха на улице понижается настолько, что расстояние, которое может пролететь воздушный поцелуй, уменьшается

до минимума, расположенного на кривой Кольриджа – Кэрролла в области бесконечно малых значений. В такие дни воздушный поцелуй куда проще подобрать с кончиков пальцев губами, чем поймать в холодном и туманном воздухе. На кончиках пальцев он еще теплый.

- - - - - - - -

* Поцелуйной галиматьей.

***

В середине октября, сразу после первых ночных заморозков, наступает неторопливое и обстоятельное время холодца. Театр, как известно, начинается с вешалки, а холодец – на рынке, с разговора с продавщицей в мясном ряду – хрупкой маленькой женщиной со смеющимися глазами. Ее зовут Таня. Не то чтобы у нее все время было хорошее настроение, но глаза если и не смеются, то непременно улыбаются. Раньше у нее время от времени можно было видеть то под одним, то под другим глазом хорошо запудренный и замазанный тональным кремом синяк. Таня была замужем за человеком пьющим. Мало того, что пьющим – так еще и, выражаясь Таниным языком, дерущим. Однажды ей надоело терпеть, запираться в комнате, дрожать и звать соседей на подмогу, чтобы утихомирить и уложить проспаться мужа. Наняла она двух здоровых мужиков из числа рубщиков мяса на рынке и, когда муж в очередной раз начал буянить... Держали его крепко, а она достала из шифоньера туфли на высоких каблуках, которые, может быть, всего-то один раз и обувала на Новый год, и этими самыми каблуками его, ирода, так отходила... Одного раза, правда, мужу не хватило, но после второго, когда ему здорово досталось еще и от рубщиков мяса, он утихомирился, а перед третьим и вовсе пропал. Видимо догадался, что его буйства каким-то образом связаны с заплывшим глазом и распухшим носом. Таня не стала его искать, ходить по соседкам, говорить вась-вась и наливать в блюдечко у двери водку, а перекрестилась и вздохнула свободно. Теперь синяков нет, и Таня, если не брать во внимание нелады с невесткой и начинающего выпивать сына, живет хорошо. На торговлю она не жалуется, а вот соседка по прилавку слева – та жалуется. Прямо директору рынка на Таню и нажаловалась – дескать, отбивает Таня у нее покупателей. Может, глазами смеется так заразительно, что... Таня, однако, тоже не лыком шита. Есть у нее знакомый с большой майорской звездой на погонах. Поговорила она с ним, а он с директором рынка, и все уладилось. Успокоилась соседка.

Мы, однако, отвлеклись от холодца. Мясо на холодец должно быть... Впрочем, это все скучные, всем известные с детства вещи. Холодец варится просто. Особенно если его варит жена*. Самое трудное в этом деле – не хватать у нее из-под руки хрящики в тот момент, когда она режет вытащенное из бульона мясо на мелкие кубики, и не пробовать уже готовый, но не застывший до нужной кондиции холодец.

Осенний холодец, в отличие от новогоднего, который продолжается салатом оливье, заканчивается пустым графином водки и песней моя смерть ездит в черной машине с голубым огоньком или мне нож по сердцу там, где хорошо я дома там, где херово. Последнюю лучше петь тихо или вовсе про себя – не ровен час, услышит жена, моющая посуду.

Лучше и вовсе выйти во двор покурить, посмотреть в поле, в желтеющий и краснеющий на его краю черный лес и вдруг почувствовать, что Бог есть. Он и летом был, но все как-то было не до него – то был отпуск, то на работе квартальный план горел, то надо было выкапывать картошку, то закручивать банки с вареньем, которое наварила жена, а теперь картошка выкопана, план сгорел, все банки закручены, все улетели, и сквозь голые ветви... Между тобой и им никого нет. И ты к нему придвинулся поближе, как синица, которой голодно зимовать в лесу. Синицам, кстати, надо кормушку починить и заодно проверить запасы сала в морозилке, которого, судя по тому, как много рябины, понадобится много. Зима будет холодной. Кто его знает, когда она кончится.

- - - - - - - -

*Да и какой вообще может быть рецепт у холодца? Холодец – это то, что вокруг него: хрен, горчица, грибная икра, малосольная селедка в кольцах лука, рябиновая или перцовая настойки, бородинский хлеб и мелкий снежок за окном.

***

Еще светло, но для чтения лучше включить лампу. Прочтешь полстраницы, зевнешь, еще раз зевнешь, захлопнешь книгу, допьешь остывший чай, сунешь ноги в валенки, накинешь тулуп, замотаешься толстым шарфом и выйдешь ненадолго в сад поскрипеть снегом, посмотреть на почерневшую от прошлогодних дождей гроздь рябины, на трех довольных синиц, которые заклевали до смерти кусок сала, привязанный бельевой веревкой к ветке яблони, и теперь перемывают кости какой-то вороне, на серые замшевые сумерки, которые на тонких белых ниточках медленно и осторожно кто-то невидимый опускает на деревню, подожмешь внутри перчаток замерзшие пальцы, соберешь их в кулак, поежишься от холода и вернешься в дом, чтобы читать с оставленного места: «Уже давно смеркалось. Он отправил своего надежного Терешку в Ненарадово с своею тройкою и с подробным, обстоятельным наказом, а для себя велел заложить маленькие сани в одну лошадь, и один без кучера отправился в Жадрино, куда часа через два должна была приехать и Марья Гавриловна». Потом прикроешь глаза и станешь представлять себе бледную и хрупкую Марью Гавриловну, ее слезы, ее белое платье, ее рассыпавшиеся по плечам волосы, случайное такси, небритого шофера, спрашивающего: «Дорогу покажешь, брат?», толчею на вокзале, густой рев паровоза, мчащегося сквозь метель, морозный полустанок, занесенных снегом людей, бегающих по платформе и беспрестанно отворяющих и затворяющих большие двери, ее слова «Я не знала, что вы едете. Зачем вы едете?», заиндевевшее окно вагона, а в нем снежная круговерть, огромный шевелящийся сугроб, наметенный перед дверью в дровяной сарай... Подумаешь о том, что надо бы подложить дров в печку иначе под утро... и заснешь, так и не выключив лампы.

***

Осенние сумерки. В пространстве между оконными рамами сонная муха долго ползает, ползает и, наконец, устраивается спать под мохнатым боком у давно спящей без задних ног бабочки. Из стоящего на подоконнике горшка со змеистой трещиной на глиняном боку тянет свои бледно-розовые цветки герань к серому мышиному свету за окном – небо, разрезанное на длинные узкие полоски электрическими проводами, висящий второй день в воздухе дождь, прозрачные капли на голых ветках березы, бледно-зеленые пятна лишайника на стволе рябины, рыжее черное поле, три десятка километров разбитой дороги до города и город, от которого хоть три года скачи – ни до какого государства не доскачешь.

***

Ветра нет. То есть до того нет, что у деревьев даже листья затекли от неподвижности. В серой, сырой и обреченной тишине, какая бывает только перед первым снегом, со стоящей у забора березы падает один лист, за ним второй, за вторым третий, а за третьим последний. И снова ветра нет. Так бывает, когда женщина смотрит в окно, смотрит и вдруг ни с того ни с сего выкатится из ее глаза крошечная слезинка. Смахнет она ее аккуратно мизинцем, чтобы не размазать тушь с ресниц, и снова смотрит в окно. И как ты ее ни спрашивай – отчего, да почему, да что случилось-то в конце концов... Переведет разговор на что-нибудь другое. Попросит натаскать из сарая дров, или починить табуретку, или размолоть в кофемолке высушенный на печке острый перец и потом смешать его с табачной пылью. Станет рассказывать, что эта смесь убивает капустных блох, гусениц-листогрызов и пилильщика. Вот весной они все народятся, и давай вредить капусте, георгинам и гладиолусам, пилить все, что пилится, грызть все, что грызется, а тут мы их этой пылью и припорошим до смерти. Против мышей табак с перцем тоже очень хороши. Мыши начинают так чихать, что зачихиваются до сердечного приступа или даже до инсульта, и потом волочат хвост и теряют способность шевелить усами. Дрогнувшим голосом проговорит, что жалко их до слез, поднесет к щеке мизинец... и велит идти чай пить. И захватить к чаю из погреба банку какого-нибудь варенья.

***

Есть такие люди, у которых ощущение, что все хорошо или должно быть хорошо, внутри. Они это ощущение носят с собой. Или вынашивают. Есть и такие, у которых хорошо там, где их нет. Я из тех, у которых все по пословице.

Из моего окна на работе видны какие-то автобазы, ржавые грузовики, будки сторожей, склады до самого горизонта и на горизонте белые многоэтажные дома. Каждый день я смотрю на эти дома, еле виднеющиеся сквозь московский смог, и мне кажется, что там хорошо – ведь там нет меня. Там тепло, там никто не работает, все сидят у окошек, пьют чай с коньяком и шоколадными конфетами «Грильяж», читают толстые старые книжки с рассказами Чехова, забравшись с ногами в большие и уютные кресла. Там – это в Бирюлево. Если бы Бирюлево не было так близко, то я бы, наверное, поехал туда посмотреть.

По выходным я приезжаю на дачу, в глухую деревню во Владимирской области, и там, по вечерам, пью горячий чай с коньяком, шоколадными конфетами «Грильяж», домашними настойками, пирогами с яйцами и луком, забираюсь с ногами в большое кресло, читаю рассказы Чехова, романы Тургенева, повести Гоголя и смотрю в окно. Через дорогу от нашего дома стоит другой дом, в котором уютно светятся окна, полуприкрытые ветками старой вишни. Там меня нет, там хорошо и... живет семья алкоголиков, никогда не пивших никакого чаю, кроме самогона. Тем более с шоколадными конфетами. Чехова они не читают потому, что у них нет кресел, в которые можно забраться с томиком его рассказов. Даже маленьких и неуютных нет. Только две колченогих табуретки, на которых многочисленное семейство сидит по очереди. Это не мешает мне думать, что там, через улицу...

Чувство, что хорошо там, где нас нет, особенно сильно вспыхивает во мне на берегу реки или моря. С рекой все понятно – по ней плывут корабли, на кораблях каюты, полные шоколадных конфет «Грильяж», уютных кресел, толстых старых книжек с рассказами Чехова, горячий чай каждый час разносят отменно вежливые стюарды и обворожительные стюардессы, изящно изогнув ручку в белой перчатке, доливают в этот чай коньяку.

На берегу моря, а тем более океана, все сложнее. Много лет назад поиски места, где одновременно было бы и хорошо и нас не было, завели меня на другой край земли, в город Сан-Диего. Сидел я однажды на берегу Тихого океана и пил чай с шоколадными конфетами в ресторане отеля, расположенного на острове Коронадо. Это был тот самый отель, в котором снимали фильм «В джазе только девушки». Правду говоря, вместо чая я пил кофе, а шоколадные конфеты «Грильяж» мне заменяло огромное пирожное-корзиночка с клубникой и взбитыми сливками. Коньяк мне подали отдельно, но кресло было большим и уютным. За окном был ноябрь, градусов двадцать или двадцать пять тепла, цвели какие-то пышные красные цветы, в которые то и дело залетали жужжащие колибри. Я смотрел на бескрайний океан, на волны, катившиеся к калифорнийским берегам, и думал, что на другом берегу Тихого океана, в той стороне, откуда я приехал, и где меня теперь нет...

Теперь у меня на горизонте Бирюлево. Я могу сесть на метро или на такси и за полчаса до него доехать, но не сделаю этого никогда. Пусть хотя бы там люди спокойно попьют чаю с коньяком и шоколадными конфетами «Грильяж».

***

К утру из-за туч выглянуло солнце и пошел слепой снег – сначала медленно, потом быстрее и, наконец, повалил изо всех сил. В холодном сыром воздухе повисли тысячи перепутанных между собой белых нитей, которые там, наверху, кто-то невидимый без устали отрезал и отрезал ножницами. Угол неба над черным лесом стал таким золотым, таким синим и таким пронзительным, что на мгновение почудилось – вот-вот должно случиться что-то очень хорошее, или просто хорошее, или хотя бы не случится ничего плохого. Или не должно, но все равно случится. Или не случится, но все равно.

***

Осеннее дымчато-синее, в белых клочках облаков небо. Лежащий в пожухлой траве и уже оплетенный серебристой паутиной осколок черной, ледяной, в голубых и белых искрах ночной тишины, отбитый упавшим красным и желтым, в коричневую крапинку яблоком. Бабочка павлиний глаз, сидящая на этом осколке, от скуки то разворачивающая, то сворачивающая свой хоботок. Бесцветный как моль, коротенький, но очень беспокойный обрывок вчерашней недодуманной, запутанной мысли о том, что теперь уже не разобрать о чем, упорно шебуршащий в голове где-то в районе правого уха. Если попрыгать на одной ноге, то он выпадет, наконец, наружу, взмахнет рудиментом правого крыла, чтобы взлететь в осеннее дымчато-синее небо, и тут же будет сбит еще одним падающим красным и желтым, в коричневую крапинку яблоком.

***

Сельский магазин... Женщина, в большом сдобном теле, обернутом ниже талии в складчатые бриджи, усеянные мелкими цветочками, тычет пальцем в буханку белого, ругается с продавщицей, с бабкой, стоящей за ней, с мужчиной в конце очереди, с собакой, которую не пустили в магазин, и при этом ни на секунду не перестает нервно жевать своим большим сдобным телом бриджи, усеянные мелкими цветочками.

***

В марте на снегу от яркого солнца бывают такие резкие и острые тени, что даже глупые сороки переступают через них осторожно, а воробьи так и вовсе норовят перелететь.

Телефон с двумя симками

Они стояли у витрины кондитерского отдела и выбирали пирожные.

– Я тебя люблю, – сказала юноше девушка, таким громким шепотом, что вздрогнула даже огромная продавщица в белом колпаке. Юноша покраснел от удовольствия и ответил:

– Я тебя тоже.

Лицо девушки сделалось как сладкая фруктовая корзиночка с клубникой, персиками и взбитыми сливками. Она пожевала губами ухо юноши и прошептала:

– Ты хороший.

Юноша, не отрывая взгляда от пирожных, чуть приподнял бровь и спросил ее:

– Ты так думаешь?

Девушка вдруг строго прищурилась, сделала губами решительный и упрямый рот и этим упрямым ртом отчеканила:

– Это неправильный ответ! Правильный: «Ты тоже хорошая!»

***

– Как я живу? – спросила женщина за соседним столиком своего визави и начертила в воздухе вилкой, на которой был наколот листик салата, что-то вроде мертвой петли.

– Как я живу, милый...

Она осторожно сняла полными губами листик с вилки и стала задумчиво его жевать.

– Я живу, Санечка, как телефон с двумя симками. Одну симку зовут Сережа, а другую Максим Леонидович.

Женщина дожевала салат и спросила своего спутника:

– А может, мы Ларисе Петровне еще коньячку?

Мужчина поднял вверх руку и стал делать знаки официанту.

***

– Нет, я так не могу! – крикнула девушка в телефон и рубанула воздух свободной рукой. – Я должна понять, что у меня с головой!

Она сделала паузу и сказала задумчиво:

– Вдруг мне надо покраситься...

***

– Уже и новый год скоро, а снега все нет, – посетовала продавщица, торгующая на рынке куриными запчастями.

– Да уж... – задумчиво отвечала ее соседка, продающая колбасу, – плохо, когда снега нет. Пьяному Деду Морозу и поваляться не на чем.

***

– Ему что, – сказала девушка с ушами в многочисленных сережках, обращаясь к подружке. – Надул трусы и улетел. Ты его видела.

Подружка молча кивнула, и красно-синяя бабочка, татуированная на ее худом плече, сложила крылья.

– Ну и дура, – сказала девушка в сережках и решительно толкнула дверь пиццерии.

***

– Ты, Саня, какой-то посвежевший, – сказал человек с измятым лицом другому человеку с розовой полуголой головой, покрытой редкими белесыми кустиками. – Не бухал, что ли?

– Болел я две недели. Лежал, – отвечал извиняющимся тоном человек с кустиками на голове, – не выходил.

***

– Как, ну как можно было умножить периметр на площадь! У меня это просто в голове не укладывается! – сказала строгая на вид женщина в очках девочке лет четырнадцати в точно таких же очках, но поменьше.

Девочка молчала.

– Что же дальше?! – продолжала она, перекрывающим стук колес, громким голосом.

Девочка стояла, низко опустив голову, не шевелясь. Белые треугольные меховые уши на ее шапке были прижаты к голове.

– А дальше ты кое-как доползешь до конца школы и станешь красить заборы. – разговаривала сама с собой мать. – Ты даже замуж не выйдешь с таким убогим приданым по геометрии.

Девочка еще помолчала, вздохнула тяжело и произнесла:

– Я тебя понимаю, мам. На твоем месте я бы тоже меня убила.

Они обнялись и проехали две остановки молча. Потом объявили «Боровицкую», мама схватила дочь за руку и стала решительно прокладывать путь к дверям вагона.

***

Вместе со мной в лифт заходит пара – мужчина с желто-зеленым лицом и женщина с таким же лицом, но синеватого оттенка. Женщина сразу же прислоняется к стенке, закрывает глаза и начинает спать. Ей далеко ехать – на четырнадцатый этаж, а мужчину, видимо, мучает бессонница, и он решает открыть рот. Рот, пусть и не сразу, но открывается, и мужчина, с трудом поворочав в нем пудовым языком, выталкивает имя своей спутницы:

– Марин... – и замолкает.

Женщина, не открывая глаз, отвечает:

– Я прошу тебя, Саш, как человека прошу. Ну не дыши ты в лифте! Люди же, бл...

– Не могу, – отвечает Саша. – Рот дышит... – и закрывает глаза.

Кто их там потом разбудил и сказал, что на четырнадцатом лифт стоит ровно полминуты – не знаю. Я вышел на седьмом.

***

– Колокольня, – сказала девочка с торчащими в разные стороны косичками, – это такая церковь с колоколами. Люди сначала загадывают желание, а потом звонят, чтобы оно исполнилось.

Настоящая писательская собака

Кабы я был индус и верил бы в переселение душ, то прожил бы... как минимум, четыре жизни, чтобы попробовать все, что хочется. Первую жизнь прожил бы космонавтом. Не капитаном корабля, а космическим биологом и археологом. Тем, кто находит следы внеземных цивилизаций, упаковывает их в специальные контейнеры и отсылает на Землю, где их потом долгие годы дотошно исследуют ученые и потом пишут диссертации, которые никто не читает. Я лучше полечу к другим планетам. Вторую жизнь я прожил бы гениальным композитором. Уверял бы всех, что музыку не сочиняю, а лишь записываю звуки, которые приходят мне сверху. Сам, конечно, тайно писал бы эту музыку в поте лица, но прикидывался бы Моцартом. Третью жизнь прожил бы писателем и поэтом. Описывал бы жизнь космических археологов и композиторов. Уверял бы всех, что стихи не сочиняю, а лишь записываю слова, которые... Ну, понятно. Потом, когда оседлое писательство осточертело бы, прожил бы жизнь путешественника, краеведа, бродячего поэта и пришвина с ружьем и удочками. Ну, пожалуй, все. Только ученым я не хотел бы быть. Я уже прожил жизнь ученого. Больше не хочу. Нет ничего скучнее, чем раскрывать тайны природы. Ну, раскрыл ты ее, разломал и увидел все эти микроскопические колесики, шестеренки, молекулы ДНК и даже протоны с электронами. Теперь одной тайной стало меньше. Интереснее тебе стало жить? То-то и оно... Да, чуть не забыл. Еще одну жизнь надо прожить семейную... Или целой семейной жизни многовато... Лучше понемногу в каждой из предыдущих. То тебя ждет жена из космоса, то переписывает ноты твоих гениальных симфоний, рассказов и повестей, или ты просто машешь ей с пригорка ружьем с удочками и уходишь навстречу восходящему солнцу, а она тебе вслед кидает в голову котелок с горячим супом на дорожку.

***

В детстве я мечтал стать астрономом. Да и сейчас не отказался бы, но не астрофизиком и не космологом, которые с ног до головы обсыпаны дифференциальными и интегральными уравнениями, а просто смотрителем в телескоп, звездочетом, который сидит по ночам в холодном гулком зале, смотрит одним глазом в окуляр, периодически отпивает из термоса горячий кофе с коньяком и в журнале наблюдений зарисовывает новые планеты, созвездия, кольца Сатурна, марсианские каналы и под утро, выпив весь кофе, весь коньяк и весь синий от холода, бежит по коридору обсерватории и кричит изо всех сил о том, что он увидел в одном из марсианских каналов плывущую лодку. Я и химиком хотел стать таким же. Не таким, какими теперь бывают химики, которые без ультрафиолетовых или инфракрасных спектров шагу ступить не могут и все высчитывают углы между атомами в молекулах при помощи трехэтажных уравнений, а самым настоящим алхимиком, смешивающим мягкое с теплым, красное с зернистым и черное с паюсным, превращающим свинец в золото при помощи философского камня, делающим эликсир вечной беззаботности из спиртового настоя сушеных насекомых лапок. И чтобы все тайные знания свои записать зашифрованными насмерть словами справа налево в гроссбух с пергаментными листами и замуровать его... В детстве я и взрослым хотел стать таким же. Не тем, который каждое утро в метро на работу, вечером домой, купить три кило картошки и заплатить за электричество, а тем, который затемно сел в седло, надел на голову островерхий шлем, взял поданный женой меч-кладенец, разрешил ей пробежать метров сто, держась за стремя и... Понятное дело, что вечером обязательно домой с картошкой и квитанцией об уплате за электричество, но днем... Хотя бы днем.

***

Так вышло, что я могу отмечать несколько профессиональных праздников – могу День науки, могу День поэзии, могу День изобретателя и рационализатора, могу День переводчика, могу

День писателя и даже День химика. Могу, но не знаю как. Возьмем, к примеру, День науки. Как его отметить? Собраться узким кругом, поплакаться друг другу в жилетку, проклясть правительство, напиться и расползтись. С Днем изобретателя такая же история. С той лишь разницей, что сначала можно достать принесенные с собой не внедренные в промышленность еще советские авторские свидетельства, российские патенты, облить слезами их тисненые красные печати, а потом уже проклясть правительство, напиться и расползтись. С днем писателя, не говоря о поэтах, все обстоит еще хуже. Так и вижу Пушкинскую площадь в праздничном убранстве. По ней, путая шаг и заплетаясь нетрезвыми ногами друг за друга, идут нестройные колонны писателей и поэтов. То тут, то там вспыхивают мгновенные ссоры, потасовки, слышатся крики «Тебе кто сказал, что ты поэт, а? Из тебя поэт, как из... Нет, ты прочти... Это стихи?! Это рифма? За такие стихи надо в морду... Это твоя Муза? Ты где ее подобрал? В подземном переходе у Павелецкого?». Потом еще до поздней ночи придется уговаривать их расползтись и не драться с писателями и поэтами, которые расползаются с площади Маяковского.

Вот я и думаю, что нам нужны совсем другие праздники. Непрофессиональные и бесполезные. Вроде Нового года, хотя, конечно, и его превратили в полезный за много столетий, а жаль*. Я посидел, подумал и у меня получился День Утраченных Иллюзий. Все ходят задумчивые, ищут. Кто-то находит свои, а кто-то чужие. Организовать бюро по обмену иллюзиями. А не то замуровывать их в стены домов или тех мест, где они были утрачены. Еще и с памятными табличками. «Здесь утратил(а)... а думал(а)... а надеялся(ась)... чтобы еще хоть раз... да ни за что». Или совсем кратко: «Какой я был лопух...».

Или День Сбывшихся Желаний. Все уже дали себе зарок желать осторожно и теперь ходят задумчивые, соображают, что теперь с этими сбывшимися желаниями делать. Организовать бюро по обмену. Не выбрасывать же их. А не то замуро... Или пусть будет День Людей, много о себе понимающих. Все ходят задумчивые и много о себе понимают. Даже больше, чем хотелось бы. Организовать бюро, где Люди, много о себе понимающие могли бы делиться этим лишним пониманием с людьми мало о себе понимающими или с людьми вообще ничего о себе не понимающими, но много понимающими о других. И пусть делятся, сколько хотят. Сами потом напьются, подерутся и расползутся.

- - - - - - -

* Новый год мне не нравится еще и тем, что он общий для всех. Лучше бы он был у каждого свой. Или несколько человек могли бы договориться между собой, что у них общий Новый год. Позвонили на работу и сказали, что сегодня не придут. И завтра тоже. И послезавтра. Потому как празднуют. Или позвонил я сам на работу и сказал, что завтра выходной. Жена велела праздновать День Подкаблучника. Собственно, и позвонить-то она сама должна была, раз главная, но приказала мне. И начальство не моги отказать мне в этом Дне, потому как право на свой праздник гарантировано каждому Конституцией. Оно и не откажет, но потом устроит мне Юрьев День. Принудительно.

***

У земли все серое и беспросветное, но ветхие, истрепанные ветром облака переполнены птичьим щебетом и звоном. Еще немного – и они порвутся во множестве мест, и хмельное весеннее небо хлынет на землю. Ручей, полгода назад выглядевший тонким, пересохшим и больным, поправился так, что перестал обращать внимание на берега и несется напролом через овраг и кусты ольхи. Над останками полумертвых сугробов кружат первые, злые как собаки комары, готовые пить кровь даже из большого куска пенопласта принесенного откуда-то ручьем и застрявшего между наклоненных к воде ветвей ивы. Собака сует нос... Если бы я был тем, кого нынешние писатели-фантасты называют «попаданцами», то забрался бы лет на сорок или пятьдесят назад. С такими текстами быть бы мне в том времени писателем-деревенщиком, а не то приписался бы я к отряду Пришвина семейство Паустовского род Бианки. Писал бы книжки о природе, даче, рябиновой настойке и пирогах с капустой. Ходил бы регулярно на заседания местной писательской

организации, дремал бы в уголке, получил бы землю под дачный участок от писательского союза и в очереди на машину «Москвич» стоял бы не очень далеко, а может, уже и купил бы. Ездил бы в творческие командировки по разным провинциальным городкам, дачным кооперативам и садовым товариществам. На встречах с читателями меня спрашивали бы о том, как варить борщ, как делать земляничную настойку и как солить грузди. Меня бы даже выпустили в Болгарию с профсоюзной делегацией. И книжки мои издавали бы преогромными тиражами и... Все кончилось бы в один прекрасный день, когда на Западе, в журнале «Континент» или вовсе в нашем «Самиздате» вышел бы мой рассказ об огуречной рассаде или о том, какие разговоры лучше вести на даче под вишневую наливку. Меня бы, понятное дело, исключили из союза писателей, а писатели-деревенщики стали бы говорить, что давно чувствовали во мне классового врага и пособника сионизма, что в одной из моих детских книжек есть намек на то, что... Ну, нашли бы на что намек. Наверное, запил бы с горя и безденежья, пропил бы «Москвич», дачу и уже стал бы подумывать о том, чтобы выехать на... но вовремя одумался бы. Сел бы в машину времени и вернулся назад, в будущее. Здесь у меня дача, машина, борщ, соленые грузди и огуречная рассада. Я даже в Болгарии прошлой осенью был. Сам, без профсоюзной делегации. Вот только с рябиновкой в этом году проблемы – не на чем было настаивать. Не уродилась рябина. Приходится пить настойку на чернослив с гвоздикой. Тоже хороший вкус. Особенно, если ее употреблять со сладкими вишневыми или яблочными пирогами.

***

Подарили мне портрет Чехова. С виду – самый обычный. Сделан он с известной фотографии Опитца в девятьсот первом году. Таких портретов, я думаю, в советское время напечатали тысячи. В доме родителей есть такой. Сделан эстампом. Купили они его давно, в моем детстве, и теперь уж он сильно выцвел. Тот, что мне подарили, выполнен, как написано на его обороте, «Под Палех». Производственный комбинат Музфонда СССР его произвел. Насчет Палеха, как мне кажется, производственный комбинат Музфонда несколько преувеличил – больше всего портрет напоминает те фотографии, что прикрепляют к кладбищенским памятникам. Особенно двойная золотая рамка, которой он обведен, напоминает. Ну, да это все равно. Дорог он мне тем, что лет ему немногим меньше, чем мне самому. И тем, что купили его на другом континенте, в антикварном магазине Донецка, везли сюда через моря, горы и пограничные заставы тоже дорог. Короче говоря, решил я его поставить на свой письменный стол в деревенском доме. У портрета есть для этого специальная картонная ножка. Поставил и... Вот как, спрашивается писать, когда он на тебя так смотрит? Нет, он, конечно, не осуждающе смотрит. Это же, в конце концов, не Достоевский и не Толстой, но... лучше бы прямо так и... Я бы все зачеркнул с легкой душой и сел писать заново. А тут вроде и понятно, что надо поправить здесь, здесь и здесь... или не здесь, а вот здесь... Или переписать этот кусок... или выйти на обочину шоссе к проезду автобуса из Александрова во Владимир и покосить траву... или вовсе переквалифицироваться в управдомы... Со временем, конечно, я бы привык – научился бы смотреть ему в глаза и говорить с вызовом:

– Да, теперь так пишут-с. Теперь по пяти раз не переписывают. Теперь черновики...

Или не научился бы. Все же Антон Павлович – это вам не Федор Михайлович, чтобы с ним так разговаривать. Подумал я, подумал... и повесил портрет с правого боку на стену повыше и чуть сзади. Пишешь себе и смотришь, как раньше, на полку с коробкой, в которой лежат рыболовные крючки и грузила, на пузырек со смолой для пропитки лыж и на горсть пыльных старых батареек. Чехов, конечно, присматривает за тобой сверху и сзади, но... можно и не оборачиваться. Иногда, конечно, чувствуешь взгляд на затылке... Почешешь его и дальше пишешь*.

- - - - - - -

* Я, кстати, потом стал искать в интернете – у кого из писателей на письменном столе была фотография другого писателя. Вдруг у Достоевского стоял на столе портрет Тургенева с пририсованными фиолетовыми чернилами усами, козлиной бородкой и рожками. Искал, искал... Нашел только фотографию письменного стола советского писателя Григория Федосеева с бюстом Ленина и все.

Потом-то мне товарищи указали на ошибки, и я узнал, что у самого Чехова на столе стоял портрет Григоровича с дарственной надписью, на стене висел портрет Толстого, а на шкафу пылился портрет Тургенева. У Горького тоже на стенке в кабинете висел Лев Николаевич в полный рост с косой наголо. Это я понять могу – если бы мне, к примеру, Антон Павлович или Лев Николаевич подарили портрет хоть бы и с самой маленькой дарственной надписью из нескольких букв – я бы этот портрет по всему дому развесил. Может быть, даже сделал бы татуировку на левой груди если не с профилем, то с дарственной надписью.

***

За окном ночь, моросящий дождь и тень фонаря, колеблемая ветром из стороны в сторону. Я сижу на кухне, пью остывший чай, ем черные сухари с солью и читаю стихи Державина. Жена уже спит и видит во сне теплицу, в которой созрели на кустах преогромные помидоры. Часы в гостиной бьют полночь, и помидоры в ее сне начинают превращаться в тыквы. Жена стонет, мечется, умоляет помидоры этого не делать, но они, уже огрубевшие снаружи, ее не слышат... Вдруг за стеной по мусоропроводу с грохотом пролетает пустая бутылка, брошенная соседом-алкоголиком, и тыквы, едва получившиеся из помидоров, начинают превращаться... но не успевают, потому что через минуту пролетает другая, а следом за ней третья. Хочется встать, вытряхнуть сухарные крошки из бороды, взгромоздиться на стул и до самого утра громовым голосом декламировать: «Я связь миров, повсюду сущих, я крайня степень вещества, я средоточие живущих и на соседей вездесущих я...» Чтобы никто, кроме жены, не спал, чтобы сосед-алкоголик захлебнулся от ужаса своей паленой водкой, чтобы сверху плакали, молились и стучали зубами по батарее, чтобы полоумная старуха, бросающая с балкона пшено на крыши припаркованных у дома машин, вместе со своим пшеном... Однако пора спать. Жена уже там измучилась с помидорами, которые превратились в пырей и окружают ее, загоняя в теплицу. Она его косит косой, но ей нельзя косой – у нее больное плечо. И ведь вцепилась в нее – не оторвать. Отдай косу и запрись в теплице! Я этому пырею сейчас... «И он подобно так падет, как с древ увядший лист падет! И он подобно так умрет, как...».

***

Теперь на различных творческих вечерах писателей и поэтов все реже и реже можно встретить самых обычных диких, неодомашненных и не прикормленных, читателей. Писателям самим приходится исполнять роль читателей. Плохо у них получается. Натянут маску читателя, а из-за нее все равно торчат писательские уши. Когда писатель хлопает, он знает – какой мерою хлопаете, такою же и вам будут хлопать. Когда писатель слушает, открыв рот – он ждет, что и во время его выступления рты будут если и не распахнуты настежь, то хотя бы приоткрыты. Когда писатель хвалит чужие стихи или прозу... Лучше бы уж молчал.

Умный писатель, который готовится к читательской конференции или авторскому вечеру заранее, приходит со своим личным читателем. Чаще всего это близкий родственник или старый знакомый, которому неловко отказаться от приглашения. Нечасто писателю удается найти настоящего, не состоящего с ним в родстве или знакомстве читателя. Такой читатель ценится необычайно. Писатель с него глаз не спускает – ограждает от чужих книжек, которые норовят сунуть ему для прочтения другие писатели, всегда занимает для него на фуршетах лучшие места возле бутылок, заранее откладывает ему на тарелку маринованный огурец или гриб, канапе с ветчиной, рюмку водки и отгоняет от этой тарелки других писателей.

Логически рассуждая, можно было бы подумать, что умный писатель объединяется с другими умными писателями, у которых есть свои читатели, и они устраивают вскладчину авторские вечера друг другу, сдавая в аренду чи... Нет, вот этого писатели не умеют потому, что ни один, даже самый глупый писатель, даже тот, который только рифмованные стихи и пишет, не доверится товарищу по цеху, а про умных и говорить нечего. Писатели сидят в социальных сетях, собирая, точно пауки доверчивых мух в паутину, лайки и комментарии под своими постами, лишь изредка

выбираясь на читательские конференции и авторские вечера других писателей, чтобы выгулять своего читателя, выпить с ним рюмку водки и закусить канапе с ветчиной.

Что же до умных писателей, то они и вовсе никуда не ходят, а пьют водку дома и закусывают не бутербродами с засохшим сыром, а рассольником с почками, к которому жена подает ватрушки с соленым творогом и жареного цыпленка. Конечно, жена при этом не станет слушать главы из нового романа и задавать вопросы о творческих планах, поскольку у нее в духовке вот-вот подойдет пирог с вишней, но если у писателя есть собака... Настоящая писательская собака, натасканная, кроме обычных повестей, рассказов и рифмованных стихов, на верлибры и постмодерн, может внимательно выслушать текст любой длины, заскулит в самом трагическом месте, гавкнет от полноты чувств и простит даже, если вы будете декламировать свою прозу или стихи с набитым цыпленком ртом. Настоящая писательская собака будет так внимательно заглядывать вам в рот, как ни один, ни тысяча читателей в него не станут заглядывать. Только не забывайте при этом делиться с ней косточками.

***

Признаться, я никогда не понимал поэтов и прозаиков, которые обижаются на редакции тех изданий, где не приняли к печати их стихи или прозу. Тех, которые страшно обижаются, или, тем более, обижаются на всю оставшуюся жизнь, я понимаю еще меньше. В конце концов, отказ в одном журнале означает лишь только то, что вам отказали в этом журнале. Вам же не написали в отказе, что вы не гений и даже не талант, что с вашими способностями писать только объяснительные о прогулах на работе. Вовсе нет. Вам просто вежливо отказали. Вы берете свои стихи, не переставшие быть гениальными после отказа, и несете в другой журнал. Даже после того, как вам откажут во всех журналах, стихи не перестанут быть гениальными. Просто на них появится налет непризнанности, что равносильно благородной патине на бронзе. С научными статьями в научных журналах все обстоит куда как печальнее.

В середине девяностых случилось мне сотоварищи отправить большую статью в европейский научный журнал – один из лучших в той области химии, которой моя группа тогда занималась. Через какое-то время получил я из редакции конверт. Принес я его в лабораторию к утреннему чаю и дрожащими руками вскрыл в присутствии своих сотрудников и соавторов. Во первых строках редакционного письма читаю, что они там, в Голландии, очень рады, что из этой части света (именно так там было написано) стали, наконец, приходить такие интересные работы. Тут я позволил себе расслабиться и сказал сотрудникам, что конкретно это предложение мы сегодня вечером обмоем. Со вторым предложением было сложнее. Вместо того, чтобы написать, что наша работа принята к печати, там перечислялись все ее недостатки. Их было много – в основном огрехи в обработке полученных экспериментальных данных. В третьем предложении было сказано, что статья наша может быть принята лишь после полной ее переработки. Кое-какие экспериментальные данные нужно было получить вновь. Легко сказать кое-какие... Это вам не глагольные рифмы заменить на прилагательные или то место в финале, где главная героиня рыдает полчаса от счастья, сократить до пяти минут и одной улыбки. Это реактивы, которые на исходе, закажи... Нет, не так. Деньги на реактивы найди, потом их закажи, потом дождись, пока их привезут, потом эксперимент поставь, потом таблицы заполни, графики начерти и не забудь, что коридор ошибок у тебя должен быть раза в три уже, чем был до этого.

Обмывать первое предложение уже не хотелось. После такого ответа наша статья определенно перестала быть гениальной и даже талантливой. Некоторым из нас показалось, что нам просто прислали горькую пилюлю, которую подсластили всего одним предложением. Конечно, можно было отправить статью в какой-нибудь журнал поплоше... но это было бы унизительно для коллектива. Помнится, нашел один из редакционных экспертов у нас ошибку в уравнении Блейка-Козени... или это было уравнение Козени-Кармана... Короче говоря, прицепился эксперт к какому-то члену в этом уравнении. И член-то был – просто плюнуть и растереть. Ничего от него не зависело. Даже и не член, а жалкая константа, однако же кровь он нам попортил изряд-

но. Эксперт писал в редакцию, что похожие эксперименты они в своей лаборатории делали, но у них ничего не получилось, а они этой темой занимаются не первый год, а тут вишь... И вообще с математикой у нас в работе не очень. Редакция нам его критику прислала и прислала даже ссылку на работу этого эксперта, где с математической обработкой данных все было отлично*. Больше года мы переделывали свою работу. Еще год переписывались с редакцией. И еще полгода прошло, прежде чем нам прислали оттиски нашей опубликованной статьи. При этом не надо забывать, что научные статьи – товар скоропортящийся, в отличие от стихотворений. Твои результаты может получить другой, в то время как твои гениальные стихи никакой другой гений писать не станет. Даже если его попросить. Ему бы свои, не менее гениальные, успеть написать.

Так что не стоит обижаться на редактора. Как говорил Павел Иванович Чичиков: «зацепил, поволок, сорвалось – не спрашивай. Плачем горю не пособишь, нужно дело делать». В том смысле, что посылать рукопись в другой журнал. И в третий, если отказали во втором. Конечно, обидно, когда тебе отказывают. Особенно тогда, когда ты это стихотворение, можно сказать, выносил, страдая от токсикоза жены. Тебе каждую ночь снились рифмы, ты вскакивал среди ночи и бежал на кухню, чтобы записать их. Ты вымыл посуду и проверил у детей уроки, чтобы жена согласилась послушать, что получилось. Ты заранее принес ей анальгин и стакан воды, чтобы во время чтения у нее... И таких стихотворений в твоей подборке два или три десятка, а они тебе пишут, что, к сожалению, ваши стихи не могут... Чтоб вы сами не могли! Только попробуйте ко мне сунуться с вашими стихами. Только попробуйте! Я ваши стихи... и вас всех... и от редакции камня на камне... И когда воображаемая пыль на воображаемых руинах редакции осядет, вздохнешь и пойдешь в редакцию другого журнала.

- - - - - - - -

*Я тогда от этой математики впал в тоску. У меня с ней плохо. У нее со мной еще хуже. Пошел я к своему старинному приятелю – профессору физики. Он как раз вернулся из длительной командировки в какую-то американскую ядерную лабораторию и никак не мог понять зачем. В том смысле, что зачем вернулся. Приятель мой посмотрел нашу работу, потом эталонную статью эксперта и потом посмотрел на меня, как физик смотрит на химика. Всякий знает, что по неписаной естественнонаучной табели о рангах, которую никто не отменял и никогда не отменит, физики находятся на ступень выше химиков. Выше физиков – только математики, которые уже и на ступенях не стоят, а просто парят в вышине. Химик может смотреть свысока на биолога, биолог – на медика... И так до самых ветеринаров, которые ступенек не занимают, а просто стоят на земле и пасут своих кроликов, которых потом отдадут для экспериментов медикам и биологам. Приятель мой очень хорошо знал математику, поскольку обрабатывал результаты экспериментов с элементарными частицами в ускорителях, и потому смотрел на меня так, как истребитель четвертого с половиной поколения может смотреть на кукурузник. Вот так он на меня несколько секунд смотрел, а потом сказал, что эксперт наш, равно как и вся редакция уважаемого, но химического журнала, в математике разбираются, как... Да, так он и сказал, и тут же, не сходя с места, написал несколько простейших, с его точки зрения, уравнений, доказывающих, как дважды два, что... Короче говоря, после получения нашего ответа нам написали из редакции, что они со всеми выкладками согласны, но, если можно, хотелось бы упростить математический аппарат и ~~удлинить змеевик~~ сократить количество формул.

***

Раньше, во времена Гутенберга и бумажных книг, писатель своих читателей на классы и подклассы не делил. Они были для него равны, поскольку все покупали книги и журналы, в которых публиковались сочинения писателя полностью или частями. Были, конечно, и те, кто не мог позволить себе купить книгу и был вынужден читать ее через чье-то плечо, а то и вовсе крал, чтобы

прочитать. Какой-нибудь поваренок мог изучить азы евклидовой геометрии, читая выдранные из книги листы, в которую заворачивали принесенную с рынка рыбу, и потом стать Лобачевским только потому, что параллельные прямые на мокрой измятой бумаге могли пересекаться. Были еще читатели, так сказать, второго порядка. Эти слушали книги в пересказе друзей или профессиональных пересказывателей по радио. В четвертом классе я таким манером прослушал одну главу из романа «Всадник без головы» в исполнении одной девочки, с которой мы забрались на пыльный чердак дома ее бабушки в один прекрасный день.

Теперь, в эпоху интернета и социальных сетей, все читатели поделились на две части. Первая, малочисленная, часть, чтобы прочесть книги писателя, их покупает – бумажные или электронные. Вторая, куда более многочисленная, читает блог писателя в интернете, ставит ему лайки и комментирует. Перед писателем встает вопрос – как сделать приятное читателям первой части, которые тоже читают блог писателя, ставят лайки и комментируют его тексты? Какие льготы, выражаясь профсоюзным языком, им предоставить?

Можно, к примеру, на их комментарии отвечать в первую очередь и развернуто, а на комментарии читателей второй части отвечать односложно или не отвечать вовсе. Кроме хвалебных, конечно. Читателям первой части, купившим несколько книг, можно разрешить прилюдно и в частной переписке критиковать писателя. Тем, кто купил две или три книги – позволено критиковать отдельные предложения, давать советы по замене прилагательных на существительные и причастных оборотов на деепричастные. Те же, кто купил пять книг или даже собрание сочинений, смогут, не опасаясь обидеть писателя, критиковать его произведение в целом. Постоянные авторы хвалебных комментариев могут предлагать свои варианты имен для кошки или собаки писателя. ~~Даже для детей и жены~~. В свою очередь и сам писатель может назвать своего хомяка или камни в своих же почках именем самых противных и въедливых комментаторов из второй части и раздробить их при помощи ультразвука или специальных таблеток. Если же у писателя нет камней в почках, то есть больной зуб, который можно назвать и вырвать без наркоза, или бородавка на носу литературного критика, которую можно тоже удалить без наркоза, но уже хирургическим путем. Проще всего было бы, если бы читатели второй части имели хвосты. Тогда писатель с удовольствием на каждый насыпал бы соли.

В недалеком будущем, когда бумажная книга превратится в раритет, предмет роскоши и снова превратится в рукописную, читатель такой книгой сможет открыть дом писателя и остановиться в нем на любое время. Дети писателя будут прислуживать ему. Сам писатель будет метаться по дому, не зная, куда посадить читателя, а куда книгу, жена писателя будет на кухне... Правду говоря, насчет жены я не уверен. Боюсь, что она может просто не впустить читателя с книгой в дом. Скажет, что писатель здесь не живет или живет, но запил, и захлопнет дверь перед его носом. Или просто приоткроет дверь, просунет в щель читателю какой-нибудь мелочи или кусок домашнего пирога с капустой, начатую бутылку водки и велит идти своей дорогой. Нечего, скажет, беспокоить писателя, а то он только-только стал браться за ум и устроился на работу в солидную контору на приличную зарплату, а по вечерам и ночью, вместо того чтобы жечь электричество и писать как заведенный, пьет чай с вареньем и спит с ней. Не с зарплатой, конечно, а с женой.

***

Мне не так уж и сложно представить ладанку, в которой зашит, написанный микроскопическими буквами, маленький отрывок из «Ваньки Жукова», или «Дома с мезонином», или «О любви», или вовсе насыпана горсть земли из Мелихово или Ялты. Могу даже вообразить подлинные осколки стекла от Его пенсне, которыми торгует из-под полы в подворотне чеховского дома-музея филолог-расстрига с трясущимися от похмелья руками. Другое дело – представить зашитую в ту же ладанку монолог Родиона Раскольникова или речь прокурора из «Братьев Карамазовых». Или покупку с рук за несусветные деньги хотя бы занозу от древка толстовской косы. Вы попробуйте – представьте. Попробовали? То-то и оно...

***

Мне кажется, что все началось со смайлика – весь этот возврат к упрощению и опрощению языка. Может, ты и выразился коряво и никто вообще не понял, что ты хотел сказать, но в конце поставил смайлик. Ну, да – ты спорол чушь, но с улыбкой. Никто не обиделся. Можешь продолжать коряво выражаться. Появились пиктограммы в большом количестве. Но они не очень удобные. Кликаешь мышкой, они выпадают, потом их надо выбирать. Да и не всё при помощи пиктограмм можно выразить. Стали придумывать жаргон... Нет, не жаргон. Словесные формулы. Ты не любишь кого-то. Ненавидишь даже. Ты желаешь этому человеку или этой группе людей... Не надо ничего придумывать и описывать сложными словами свою ненависть. Достаточно послать луч диареи. Или наоборот. Посылаем луч любви. Главное – не перепутать и не послать два луча сразу. Другая ситуация – поддержка. Или соболезнование. Ей соответствует формула «Держать кулачки». Особенно женщины любят держать кулачки. Представляете десятки кулачков, которые держат и держат. На клавиатуре должны скоро появиться специальные клавиши. Необходимо только придумать пиктограммы для луча диареи, луча любви и кулачков. Их придумают. В этом можно не сомневаться. Мы, по всей видимости, минуем даже стадию иероглифического письма и сразу перейдем к пиктографическому или идеографическому. В последние несколько лет я заметил и еще одно новшество – указание настроения в скобках. Это делают как женщины, так и мужчины. Женщина пишет перед предложением «улыбается» в скобках, а мужчина «улыбаясь в усы». Или оба пишут «ржот». Есть и другие настроения. Можно написать «кокетливо улыбаясь» или «опустила от смущения глаза». Согласитесь, что по сравнению со смайликом это просто как Анна Каренина и тургеневский Герасим вместе с Му-Му. Все это мне напоминает ремарки в пьесах – «с восхищением», «с досадою». В восемнадцатом веке, к примеру, их авторы очень любили. В «Недоросле» их очень много. У Чехова их уже меньше и они больше означают действие вроде «стучит пальцем по лбу», нежели обозначают настроение говорящего. Что же получается? Мы движемся в каком-то древнеегипетском направлении. Мне представляется, что клавиатура завсегдатая социальных сетей нашего века может превратиться в набор клавиш с «кулачками», «лучами диареи», смайликами, и прочими «улыбками в усы». Там не будет места старым добрым буквам из алфавита. Для разговора будет достаточно идеограмм и пиктограмм. И вот что еще обидно. Вот я, к примеру, имею полное римское право улыбнуться себе в усы, поскольку они у меня есть. Но когда я себе представляю как какой-нибудь прыщавый юнец лет тринадцати или четырнадцати в «Одноклассниках» будет своей подружке «улыбаться в усы»...

На этом месте мне наскучило писать обо всем этом. Посылаю всем луч и держу кулачки.

Большой шаманский бубен

В кафе на Малой Бронной юная, тонкая и гибкая официантка интеллигентной, но неуловимо провинциальной наружности, в руках которой роман Тургенева смотрелся бы куда как лучше, чем салфетка, ловко прибирает стол в перерыве между тыквенным биском с тигровыми креветками и утиной ножкой «конфи» с тушеной капустой. Она ставит на свой поднос пустую тарелку, рюмку из-под «Русского стандарта», заглядывает мне в глаза своими огромными, почти детскими, золотисто-зелеными глазами и почтительно, как дочь отца, тихо спрашивает:

– Сейчас еще пятьдесят, да?

Где, как, когда всосала она из того воздуха, которым дышала, этот лакейский дух, откуда она взяла эти приемы, которых видеть не могла в детстве, в семье, где папа наверняка был инженером или врачом, а мама библиотекарем или учительницей начальных классов где-нибудь в Боровске или Торжке. Но дух и приемы эти были те самые, неподражаемые и неизучаемые.

Черт дернул ее поехать поступать в Москву, в театральный. Не поступила, поплакала, вспомнила, что хорошо у нее с арифметикой, что в уме умножает трехзначные числа, и пошла в официантки, чтобы уж на следующий год непременно поступить в театральный. Проработает она в официантках года три или даже лет пять, выйдет замуж, придет домой с полными сумками продуктов,

проверит уроки у детей, постирает, станет кормить обедом мужа и, между гороховым супом со свиной рулькой и гуляшом, спросит его:

– Сейчас еще пятьдесят, да?

Не дожидаясь ответа, наденет ему на голову кастрюлю с остатками супа и уйдет в спальню, глухо рыдать в подушку, чтобы дети не услышали.

Может, конечно, повернется жизнь к ней другой, более светлой стороной. Выйдет она замуж за олигарха, который случайно зайдет к ним в кафе поужинать, потом родит ему двух детей, потом они уедут отдыхать к себе на виллу, на французский Лазурный берег и уже там, за обедом, не задавая никаких вопросов и не дожидаясь ответов, она наденет ему на голову супницу севрского фарфора, полную тигрового биска с тыквенными креветками.

С третьей стороны, может, ей повезет. Сбудется ее мечта, и она закончит театральный. Выйдет замуж за инженера, похожего на ее отца, родит от него двух детей, придет домой с репетиции, уставшая как собака после изнурительного пятичасового поиска сверхзадачи в роли комнатной левретки в доме какой-нибудь выжившей из ума пиковой дамы, охрипшая от лая, с порванными о руку режиссера колготками, проверит у детей уроки, внимательно выслушает рассказ мужа о том, как его подсиживают на работе, достанет из холодильника кастрюлю с гороховым супом и, не говоря худого слова, наденет ему на голову.

С четвертой стороны – почему все должно заканчиваться кастрюлей с супом? Вовсе нет. Это может быть компот, или манная каша, или жидкое тесто для сырников. Они будут смотреться ничуть не хуже. Только манная каша должна быть без комков. Она девушка добрая, не жестокая.

***

Подъехало такси, он засуетился, замешкался, а когда раскрыл руки, чтобы ее обнять, она уже садилась в машину и на прощанье, чуть шевельнув губами, выдохнула ему воздушный поцелуй. Когда через полчаса или час она, наконец, приехала домой, открыла дверь и посмотрела на себя в зеркало, то вдруг увидела, что ее поцелуй никуда не улетел, а прилип к накрашенной нижней губе. Кончиком наманикюренного ногтя она осторожно отлепила его прозрачную, уже начавшую мутнеть, оболочку и пошла мыть руки.

***

Первый снег... Он идет уже третий час и его все равно на всех не хватит. Из снега можно скатать шары для снеговика, его можно засунуть за шиворот другу, слепить снежок, кинуть... и получить в ответ тремя снежками по шапке и одним по спине, можно в снегу валяться, можно его есть, можно построить крепость, можно оставлять на нем красивые узоры из следов, а можно просто идти след в след за одной воображалой из соседнего подъезда и перетаптывать ее следы по-своему. Еще и за косу дернуть.

***

Чашка чаю, три чайных ложки вишневого варенья, горсть тыквенных семечек, полсотни книжных страниц, окурок со следами губной помады, пуля, застрявшая в штукатурке, четыре столовых ложки вишневого варенья, чашка чаю, сотня книжных страниц, отравленный змеиным ядом кусок киевского торта, горсть тыквенных семечек, пустая банка варенья, чашка чаю, холодная котлета, полсотни книжных страниц, утопленник с толстым кругом сырокопченой колбасы на тонкой шее, чайная ложка засахаренного меда, сдобный сухарь с изюмом, пять тыквенных семечек, десяток книжных страниц, убийца, оказавшийся селедочным хвостом с луком и рюмкой зубровки.

***

Позвонил мне сотрудник банка, в котором я получаю зарплату, и вкрадчивым голосом спросил:

– Удобно ли мне сейчас говорить?

– Вы, отвечаю, небось кредит мне предложить хотите?

– Да, хотим, и на очень выго...

Тут я его прервал и быстро, без перерыва, стал говорить:

– Ваш звонок очень важен для нас, но сейчас мамы нет дома, она вышла на пенсию, дети на работе, и поговорить с вами на интересующую вас тему может только жена, поскольку она решает вопросы, связанные с получением кредитов. К сожалению, она сейчас не может взять трубку, так как выщипывает брови, но вы, пожалуйста, оставайтесь на линии – как только она освободится, то сразу же с вами обсудит ваше невыгодное предложение.

В этом месте должна была заиграть музыка, какая обычно играет на линиях во всяких организациях, куда дозвониться невозможно. Понятное дело, что никакой музыки у меня не было, но я запел «Пока живут на свете дураки...» и, в банке тотчас же положили трубку. Потом я сидел и думал – меня таки внесут в список номеров, куда звонить больше не нужно, или придется им все же объяснять простыми русскими словами, что я думаю об их назойливости?

***

Дочь улетела в Якутск в командировку. Обычно она присылает мне смс, которое приходит почему-то ночью, со словом «приземлилась», и я потом долго соображаю, где она это сделала – в Хабаровске или в Нью-Йорке. В этот раз она почему-то ничего не прислала, и о ее приземлении в Якутске я узнал утром из Фейсбука, когда увидел фотографии реки Лены, сделанные ребенком из самолетного окошка. Уже на днях она вернется. Все это хорошо, наверное. Все эти скорости, все эти смс... Хорошо, что есть Фейсбук, из которого можно узнать, где сейчас твои дети. То есть, конечно, хорошо, но... Отправляйся она в Якутск лет сто или даже двести назад... Мы бы провожали ее дилижанс до Дорогомиловской* заставы, уложили бы в ноги коробки с пирогами, жареными курицами и яйцами, сваренными вкрутую. Ямщику в бараньем тулупе и засаленном треухе дали бы на водку и велели ехать осторожней. Попросили бы попутчика, старого артиллерийского капитана с аннинским крестом и седыми усами присмотреть за ней. Дочь писала бы нам подробные письма с каждой почтовой станции, рисовала бы пером проползающие за окном дилижанса пейзажи, оренбургских казаков с пиками, сибирского мужика, ведущего на цепи медведя, играющего на балалайке, подписывала бы свои рисунки «Le moujik» или «Le Kassak» и, глядишь, через месяца три или четыре доехала бы до Якутска. Решила бы там все свои производственные вопросы, связанные с инвестиционными фондами, и вернулась, обветренная и повзрослевшая. Привезла бы оттуда связку вяленого муксуна, березовый туес просоленной до каменного состояния красной икры (все равно протухшей дорогою) и большой шаманский бубен, который, доложу я вам, есть самонужнейшая вещь в семейной жизни. Повздорил ты, к примеру, со своей дрожащей половиной или даже с ее тремя четвертями, и так она тебя доехала, так умотала, так укатала и так заела поедом, что ты ей в сердцах возьми да и скажи:

– Сейчас как дам в бубен!

И пока халат на тебе не задымился от ее испепеляющего взгляда, пока она не погребла тебя под грудой таких слов, что... Короче говоря, быстро бежишь туда, где висит на стенке или лежит в тумбочке твой бубен, и ударяешь в него. И гомерически хохочешь про себя. И для нее тоже хихикаешь. И показываешь ей голые руки, в которых нет ничего, кроме бубна.

Впрочем, это все одни мечты... Двести лет назад я бы дочь ни в какой Якутск не отпустил. Сидела бы дома и вышивала на пяльцах. Ишь чего удумала – в Якутск. Заказал бы бубен почтой или вовсе купил в магазине детских игрушек барабан и на все приказы срочно прикрутить, прибить, присмотреть за обмолотом гречихи на гумне, на все бесчисленные записки выдать подателю сего сто рублей или даже двести отвечал бы:

– Мне все по барабану.

И тихонько, чтобы не услыхала ни одна из трех моих четвертей, стучал бы по нему в свое удовольствие.

- - - - - -

*Может, и не Дорогомиловской. Я их не помню, эти заставы. Написал ту, которая в голову первой пришла.

***

Вчера слушал «Очи черные» в исполнении Шаляпина и хора. Вообще я человек скромный. Не мот, не транжир какой-нибудь. Такси лишний раз не возьму. И в быту тоже. Шапка цигейковая, куртка на китайском пуху и трусы в турецкую полоску. А когда в ресторан меня нелегкая занесет, то всегда, даже и мимо воли, думаю, что если бы стоимость этого фондю или чизкейка перевести на обычные котлеты или бокал дайкири измерить в рюмках клюквенной настойки, то из-за стола бы уносить пришлось, а не уходить с чувством тяжелого голода... О чем, бишь, это я... Да! Слушал я, слушал и вдруг почувствовал острое желание промотать не доставшееся мне по наследству имение, залить шампанским соседей снизу, нанять лихача и гнать к Яру, чтобы там всю ночь не спать, не знать удержу, не думать о последствиях, швырять доллары и акции Газпрома под ноги цыганкам, упиваться тем, чем невозможно уесться, а утром встать, отряхнуть с колен цыганок, сигарный пепел с лацканов смокинга, вычесать из бороды и усов застрявшие там черные и красные икринки и застрелиться. В том смысле, что пойти на работу.

***

Серое, черное от автомобильной копоти полуподвальное московское окно между громом, молниями, кипящим ливнем, мутными потоками воды, мокрыми насквозь прохожими, выныривающими время от времени из этих потоков, захлебнувшимися насмерть лежачими полицейскими на их дне и тобой в полутемном, полупустом и прохладном кафе становится цветным, если к ризотто с копченой утиной грудкой, лисичками и двумя дольками карамелизованного абрикоса, которое тебе принесли, прибавить бокал австралийского «Шираза». Лучше два.

Как светлячки

Было это в одной из русских церквей в Швеции. Подходит к причастию бабушка. Бабушка как бабушка, но... с котом на руках. Кот как кот. Серый и полосатый, но... к причастию. Просит бабушка священника причастить ее и кота. Удивленный, мягко говоря, священник, говорит ей, что котов причащать не принято. Бабушка начинает настаивать, и батюшка видит, что женщина не в себе – еще чуть-чуть, и у нее начнется истерика. За бабушкой очередь... И тут священника осенило и он спросил старушку:

– Кот перед причастием исповедался?

Та растерялась и сказала, что нет.

– Ну, раз не исповедался, то и причащать его нельзя. Вы ведь и сами знаете...

Бабушка знала, а потому поджала губы и молча отошла в сторону.

***

Что-то есть особенное в песнях и музыке старых советских кинофильмов шестидесятых годов. Вроде и поют о том, чего никогда не было и не будет, а все равно веришь в то, что главные герои поженятся и улетят в свадебное путешествие в тайгу строить дорогу или новый город, в котором все будут счастливы, а пока они работают в троллейбусном парке, но не оставляют мечты о космических полетах и потому учатся заочно на инженеров и полярников. И все ты знаешь о том, что будет дальше, но как только за кадром зазвучит музыка и под крылом самолета запоет зеленое море тайги – сразу у тебя в голове начинает клубиться светлое будущее, и откуда ни возьмись сами собой проявляются картины из романа братьев Стругацких «Полдень, XXII век». Какая такая двадцать пятая нота была в песнях советских композиторов... Хорошо, что этот секрет теперь утерян.

***

Взять, к примеру, слово ландыши. Вроде дышишь. Вроде на ладони. Вроде и ладоням не холодно, а все равно они прячутся в твои, и кончики пальцев почти касаются губ. Другое дело коленки...

***

Один умный академик, из физиков, как-то сказал, что сам-то он, конечно, атеист, но его всегда интересовало, как из молекул и атомов получается совесть. Меня тоже всегда интересовало, хотя я и не академик и не из физиков, а из химиков. Почитал я разные книжки по эволюционной биологии и понял, что вывести из хромосомного набора совесть, способность к самопожертвованию и прочий, и тому подобный альтруизм все же можно. Есть такие люди, которые готовы пожертвовать собой для спасения других. И это в них запрограммировано природой. Правда, не все так запрограммированы. Совсем не все. Ну, да я сейчас не об этом. Есть вещи, которые объяснить еще сложнее, чем совесть. К примеру, потребность делиться своими переживаниями. Для простоты назовем их душевными. Правильнее было бы написать для сложности, но получится как-то кривовато и некрасиво. Начнем с потребности делиться горем или угрызениями совести. Зачем нам эта потребность? Почему нам становится легче от того, что мы расскажем кому-то, может быть даже и совершенно постороннему человеку о том, что проиграли в карты казенные деньги или тайком от жены на работе ели сардельки, уверяя ее, что сидим на голодной диете вместе с ней. Церковь не спрашивает почему, а просто велит приходить на исповедь и каяться в грехах. Вольных или невольных. Верующим после исповеди наступает облегчение. Они точно сваливают камень с души. На священника, отпускающего им грехи. Неверующие ходят к психоаналитикам, и те им грехи не столько отпускают, сколько объясняют, что их грехи и не грехи вовсе, а... Впрочем, тут одного сеанса мало, а нужен целый курс и он будет стоить дороже, но постоянным клиентам предоставляется скидка. Тут я еще могу себе представить мотивы людей, рассказывающих о своих несчастьях, но уже не понимаю – какой ген отвечает за то, что мы называем «облегчить душу». Как это все работает на генном, а тем более на молекулярном уровне... Бог его знает. Как-то, видимо, работает, если не переводятся исповедники и психоаналитики. Да и вообще работает этот механизм, который у нас называется «с больной головы на здоровую». И уж совсем непонятна мне природа желания поделиться радостью или счастьем. Кстати говоря, нет таких специалистов по выслушиванию счастливых или радостных людей ни в церкви, ни... нигде. Счастьем делиться гораздо сложнее, чем горем. Погоревать с тобой вместе готовы многие, а вот разделить радость... И самое главное – на какую реакцию рассчитывают люди, когда хотят поделиться радостью? Простые случаи, вроде того, когда школьник с порога кричит родителям, что он получил пятерку, мне понятны – это он надеется на вознаграждение в виде мороженого или шоколадки. Но возьмем человека, который хочет рассказать друзьям, городу и миру о том, что он влюблен. Чего он ожидает? Ну не конфет же с мороженым. Станет ли легче ему от того, что он поделится своим счастьем со всеми? (Я сейчас не говорю о том, что не все, к кому приходит человек со своим счастьем, готовы разделить его чувства. И это мягко говоря.) Логично было предположить, что в противоположность горю, которое надо разделить с другом, счастье хорошо бы съесть самому. Но ведь не едят же... Вот на что рассчитывал Дмитрий Дмитрич Гуров, когда «однажды ночью, выходя из докторского клуба со своим партнером, чиновником, он не удержался и сказал:

«Если б вы знали, с какой очаровательной женщиной я познакомился в Ялте!»

На что он рассчитывал, когда хотел рассказать совершенно постороннему человеку про Анну Сергеевну? Вряд ли на осетрину с душком.

***

Вот если бы мы могли, как светлячки... Понятное дело, что пока не достигнешь половой зрелости, ходишь темный и не мигаешь. Или перестигнешь. Зато как достигнешь... Мужики светили бы нахально, в открытую, еще бы и носились со своими крошечными... светильниками* как с писаной торбой и подмигивали бы прекрасному полу неприличное азбукой Морзе, а дамы и девицы

прикрывали бы свой приманчивый свет кружевными накидками. Вспыхивали бы, словно невзначай, и тут же, покраснев до самых ушей, поплотнее кутались в кружева. Старые девы прятали бы все под шерстяным, двойной вязки, чтобы никто не догадался о том, что у них уж давно ничего не светится, а военные под сукно. Все же служба и неудобно, когда в строю... Или чиновники. Распекает тебя начальница, а сама нет-нет, да и мигнет против воли. И ты вдруг как полыхнешь зеленым с красным отливом... Как расцвело бы искусство подмигивания и перемигивания. И глазами, и светом. Девушки строгих правил светились бы ровно и холодно. Голубым, холодным светом без полутонов и оттенков. Ну, а бесстыдницы... Те самые, которые не только в кружева, но даже и наоборот... Нечего и говорить о бесстыдницах. На их неверный и обманчивый свет сколько летело бы... Кстати, о «летело». Вот если бы мы еще и летать могли...

- - - - -

*Некрасов сто раз подумал бы – писать про Добролюбова «Какой светильник разума угас...» или нет. Его с такими стихами вся редакция «Современника» на смех подняла бы.

***

...С одной стороны, участь старых, вышедших на пенсию, целовальников была незавидной – губы, вечно вытянутые трубочкой, которые они порой не могли втянуть обратно, вечное пришлепывание... а с другой, отставной целовальник, как правило, был отличным свистуном. Те, у кого был хороший слух, шли к скоморохам и в ансамбли художественного свиста, те, у кого было со слухом похуже, но со здоровьем получше, шли в разбойничьи шайки – стоять на стреме. Такой свист слышен был за версту, а то и за две. Ну, а те, кто по причине отсутствия слуха не попадал ни в ансамбль, ни в шайку – те организовывали школы для обучения технике поцелуев. Власти на такие школы смотрели косо – потому как срамоты и непотребства в них... При Алексее Михайловиче целовальнику, содержащему такую школу, запросто могли высечь губы розгами или вовсе их отрезать по жалобе соседей на слишком громкое чмоканье после захода солнца, а вот уже при его сыне, Петре Алексеевиче, такие, с позволения сказать, учебные заведения расплодились, как тараканы в курных избах. Искусству европейского поцелуя дворянам и их детям было приказано обучаться наравне с танцами, навигацией и тригонометрией. Тогда, в первой четверти восемнадцатого века, в моде был не французский, а голландский и немецкий поцелуи, пахнущие крепким кнастером, мадерой и с непременной щекоткой дам усами...

***

Открыв рот смотрел английский фильм о зарождении животной жизни на планете. Все эти события, которые происходили более полумиллиарда лет назад... Отпечатки древнейших то ли растений, то ли животных на огромных каменных валунах поражают воображение. Как все было сложно и извилисто. Слушал я, слушал Дэвида Аттенборо и думал, что чем больше мы знаем об эволюции животного и растительного мира – тем сложнее нам все это объяснить в рамках самой эволюции и всех этих естественных отборов. Точно невидимая многомудрая рука направляла процесс развития. И вдруг показали окаменелый зародыш какого-то крошечного червяка размером с горошину, жившего пятьсот семьдесят миллионов лет назад до Рождества Христова. Этот камешек просветили пучком электронов на сверхмощном микроскопе. Швейцарский профессор с восторгом рассказывал, что у этого червяка уже был желудок и анальное отверстие. Получается, что у наших древнейших родственников еще и мозга не было, а дырка в жопе уже была. Вот с какого органа мы, значит, начинались... Как хотите, но это не Провидение, не Промысел Божий и не акт Творения – это самая обычная эволюция вместе с естественным отбором в придачу.

***

А ведь я помню, как пахнет копировальная бумага. Жирная копировальная бумага, которая пачкала пальцы. То есть если даже закрою глаза и мне дадут понюхать разных бумаг, то я не ошибусь и выберу именно ее. Ведь это... ведь это как уметь по звуку определить, какое ядро летит – каменное или чугунное. Вот до чего я дожил.

***

Время от времени мама, когда решает, что жить ей осталось два понедельника, как она любит говорить, она отдает мне части семейного архива – старые фотографии, почетные грамоты, приветственные адреса, газетные статьи, которые она писала на тему воспитания трудных подростков, коллекцию значков, собранных мною еще в школе и невесть как сохранившуюся, письма дедушки с фронта и многое другое. В этот раз она выдала мне килограммов пять или больше приветственных адресов, врученных папе в день его шестидесятилетия в апреле девяносто второго. Все это тяжелые кожаные папки, в которых вложены листы, исписанные красивыми почерками с завитушками. Есть даже одна папка в резной деревянной обложке с хромированными петлями и застежками. Папа был главным технологом большого военного завода, и на юбилей к нему приехали... Кто делал корабельные ракеты, кто подводные лодки, кто средства морской радиолокации, кто приборы... Короче говоря – приборы. Небось, и сейчас это все военная тайна. Среди всех этих огромных и неподъемных папок нашел я чудом сохранившийся приветственный адрес НПО «Альтаир». Размером он с два спичечных коробка и сделан, думаю, с использованием гальваники. Увы, он уже потрескался и местами из него выпали кусочки. Наверное, внуки или правнуки его выбросят или он сам потеряется, а я, пока до этого еще далеко, его подклеил, как смог. Понятное дело, что «Альтаир» одним приветственным адресом не ограничился – был еще и подарок. По таким случаям, кроме обычных подарков вроде коньяка или огромных ваз с гравированными дарственными надписями, посланцы военных заводов дарили то, что делали в качестве так называемого «ширпотреба». Папин завод производил электрические мясорубки, еще какой-то завод делал программируемые калькуляторы, в Бердске из отходов основного производства (так говорил папа) выпускали проигрыватели «Вега», в Харькове делали электробритвы, в Москве телевизоры... Помню огромную оптоволоконную лампу, подаренную папе... но уже не помню от кого. Что подарил «Альтаир», тоже не помню. Папа и не говорил, от кого что подарено. Он считал, что эти знания мне и маме ни к чему. И вообще все это было военной тайной. Это сейчас можно просто открыть Википедию и узнать, что «Альтаир» разрабатывает корабельные зенитные ракетные комплексы и системы морской радиолокации, а тогда... Только вполголоса и чтобы никому. Враг не дремал и подслушивал. У папы были красивые запонки – на черном поле золотой крейсер «Киров». Страсть как мне хотелось в них пойти в школу, хотя у меня и рубашки, понятное дело, не были приспособлены под запонки. Куда-то эти запонки потом пропали. Впрочем, и крейсер «Киров» тоже...

***

В три часа пополудни, после обеда, я сел писать роман. Придумав название и написав первую страницу, я страшно устал, повесил на стол табличку «Технический перерыв сто минут» и ушел на ужин. Теперь, придя в себя после разварного судака с гречкой и чаю со слоеным язычком, с ужасом думаю о том, сколько же лет мне придется его писать. Я тут прикинул – получаются какие-то мафусаиловы веки надо прожить. Писать маленький роман как-то уже и неловко. Последняя моя книжка вышла на пятьсот страниц. Меньше никак нельзя. Это получается откат. Хоть и не в плохом смысле этого слова, но хорошего мало. Положим, если каждый день по странице писать без выходных, то через полтора года... можно чокнуться, умереть от мозговой водянки и перестать узнавать собственную жену. – Только попробуй! – сказала жена. А без жены как писать роман? Кто, спрашивается, будет тихонько скрестись в дверь кабинета писателя и говорить:

– Дорогой, я уже третий раз разогреваю твою свиную отбивную с жареной картошкой. Зубровка уже теплая... Выпей хоть рюмку, и я уйду.

А я ей из кабинета буду кричать:

– Нет! Пока не допишу двадцать пятую главу – даже и не предлагай!

И она уйдет на цыпочках, чтобы мне не мешать, а я достану из ящика письменного стола рюмку и бутылку...

Нет, на подвиг я не подписывался. Есть ведь еще маньяки, которые подымаются ни свет ни заря, и пока не напишут десять или даже пятнадцать страниц – к завтраку не выходят. А потом поедят жидкой овсяной кашки и снова за стол до обеда. Этак я умру голодной смертью. При моей крейсерской скорости страница в день мне придется завтракать раза три в месяц от силы, не говоря об обедах. Но это если писать каждый день. Если же делать это по выходным и только после обеда... проспишь весь роман. Короче говоря, я уже думаю писать повесть или даже рассказ. С другой стороны, я написал начало романа, а не рассказа. А начало романа смотрится на теле рассказа, как огромный нос или ухо на маленькой голове. Не переделывать же его. Да и бросать жалко. Сам по себе этот нос тоже не выживет. Тем более, что фамилия моего главного героя не Ковалев. Придется писать... С третьей стороны, преимущества, конечно, есть. На вопрос о творческих планах всегда есть что ответить. Всегда можно сказать, к примеру, жене:

– Да ты с ума сошла! Ты сама-то поняла, о чем просишь? Ты вообще понимаешь, что я две страницы назад вот этими самыми руками разбил счастье своей главной героини? Ну, что ты стоишь, как столб?! Зубровку неси скорее! Отбивную не забудь подогреть...

***

Музыкальные критики напоминают мне этрусских гаруспиков. С той лишь разницей, что античные жрецы, гадая по внутренностям жертвенных животных, предсказывали будущее, а музыкальные критики, разъяв музыку, как труп, предсказывают прошлое*, рассказывая нам про то, о чем думал композитор, когда сочинял данную симфонию или концерт для фортепиано с оркестром. Что же до результатов предсказаний, то разницы между гаруспиками и музыкальными критиками...

- - - - - - -

*Чаще всего гаруспики гадали по печени жертвенных животных. В этом смысле на них похожи нынешние наркологи. Впрочем, наркологи по печени судят о прошлом наверняка.

***

Увидев Закхея, мытаря, залезшего на смоковницу, Иисус посмотрел на него с укоризной и сказал:

– Закхей! Не сиди на ветвях дерева. Слезай немедленно – иначе люди подумают, что ты произошел от обезьяны.

***

Очень часто все зависит от места, в которое вы вставляете ключ к успеху.

Сергей СЛЕПУХИН

***

Хор ангелов над цепью горной,
дыханье пламени в траве.
Но видишь ли, что воздух – чёрный,
и бесы скачут в голове?

Уже не яростно, не ярко –
Флоренция, повозка, труп –
Кого везут? – Меня под аркой,
целуют в угол чёрных губ.

В глазах бездомных серафима
блестит солёная слюда,
трагично и неотвратимо
застыла тёмная вода.

Осадок осени мерцает
за острым стрельчатым окном.
Кто умер вновь? Никто не знает.
Зелёный сумрак, метроном...

Искушение пространством

Я сам римотворец теперь...
Александр Леонтьев

Второе «я» растрачивая в споре
с пространством смерти в оползнях стены,
предстать таинственным пятном в узоре
из тени, света, пыли, тишины.

Карниз массивный валится на плечи,
колонны ствол пятнистым мхом зарос –

Сергей Слепухин родился в 1961 году в городе Асбесте Свердловской области. Окончил Свердловский медицинский институт, аспирантуру при кафедре физиологии человека. Публикации в журналах «Звезда», «Уральская новь», «Арион», «Знамя», «Новый берег», «Крещатик», «Волга», «Дети Ра», «Белый ворон», «День и Ночь», «Новый журнал», «Интерпоэзия» и др. Автор семи книг стихов, а также книг эссе совместно с М. Огарковой – «Новые карты Аида» (США, 2009), «Перья и крылья» (США, 2010).

иллюзия смещений и увечий,
дисторсия, распад, анаморфоз...

Руины обнажённая фигура –
соблазн глубин, нетленности искус,
сочится вечность в щели кракелюра,
песочная, соленая на вкус.

Уходит в эмпиреи обелиском,
густеет облаком по краю полотна,
непостижимо – далеко и близко,
туда, где времени изнанка не видна.

Гроза

Гремят молочные бидоны,
Бьёт колокол, тяжел и груб,
По трубам вод утробных стоны –
Профундо, скошенный у губ.

Как в этих чёрных глотках тесно!
Взбесился поршень: жму и жму!
А там – вверху – разверзлась бездна,
Из тьмы прессующая тьму.

Джентрификация

Светлане Ельницкой

Меандры памяти – и вымысел, и явь,
торжественная пафосная скука.
Сыпь, яркость красок прошлого... Избавь!
Быть целым, неделимым – что за мука!

Переступать пределы света вновь,
Зачем-то вышагнуть из престарелой тени:
цветенье, молодость, несчастная любовь,
и оползень позднейших наслоений...

Читаю Лосева. Валяет дурака,
хотя уже расслышал эхо смерти:
излучины, неслышная река...
Довольно! Вёсел плеск умерьте!

Часть целого... Тупик ли, коридор?
Затеять обновление построек?

Куда мне деть бесчестье и позор,
и реголит везения нестоек.

Подножье, мост в стремительную высь,
антенны, крыши, ямы, катакомбы...
Переустраивать былое не берись,
а ну, наткнёшься на останки бомбы.

Капризный рай и вероломный ад,
стремление, страданье, помраченье.
Оставь, как есть, и не смотри назад,
пусть крошится, не придавай значенья.

***

Павлинье-синяя комета –
смерть умирающей зари.
Месть остывающего света,
зелёный сумрак, фонари.

Глоксиния в бреду кружится –
марена, киноварь, кармин.
Со мной печаль спешит ужиться,
я, сдавшись, говорю: come in.

Сгружают ящики по доскам,
мотор рыдает, перегрет.
Течёт из-под фрамуги «Tosca».
«Тоска», – я поправляю вслед...

Офелия

на дне бассейна Мамышев-Монро
фата кувшинка лилия перо
Офелия морщины и белила
висит вверху балийская луна
похожая на желтого слона
и рыба прячется под толстым слоем ила

должно быть акция подумай головой
свет излучает кафель неживой
он слепит глаз макабр ползет по коже
прилип окурок к высохшей губе
Курехин джаз играет на трубе
все умерли и ты конечно тоже

взволнованные воды не кипят
нас утопили точно тех котят
что никогда и мявкнуть не сумели
трава-мокруша Гамлет-каскадер
муть пузыри и рыб народный хор
и спит планктон в налитом смертью теле

***

Скребущие небо деревья голые,
озябшая тень на белой стене,
слюдяные бабочки летают бесполые,
словно в ментоле – во сне.

Женщина осенью – свет простуженный...
С тебя облетело лето. Страх...
Глаз, покрытый эмалью, суженный
в точку, вобравшую птах.

В постели – зима, зеркала завешены,
лепит тебя и меня простыня,
Снеговики подушек стоят утешены,
занавески звенят...

Андрей ДУДКО

РАССКАЗЫ

Лежатель Свиридович

Был один такой человек: он очень любил лежать.

Звался он или Свиридович, или Филипович. Или Корнилович, почти как гадкий публицист Коялович. Такие у него были известные фамилии.

Он обожал истории. Лучше для него занятия не было, кроме как лечь на любимую перину и оттуда смотреть, как раскручивает перед ним все свои аспекты какой-нибудь новый сюжет.

Книжки он поглощал как орехи, одну за другой, научившись видеть их целиком и сверху. Никогда не выключал телевизор, одним глазом запоминая все художественные фильмы, которые происходили внутри. При этом он ни про еду не забывал, ни про выпивку, и покурить любил, и наркотик по вене ударить. Всё вокруг себе позволял.

Он лежал, погруженный в перину, расслабленный, и иногда приходила к нему в мысль какая-нибудь история. Составленная, конечно, из тех, которые он потреблял, откуда же ей еще браться, но незаметно, по-новому. И так хорошо составленная, что самому Поздняковичу нравилась, и появлялась у него мысль встать за стол и записать эту историю, рассказать для другого лежателя, но Копытович боролся и не вставал.

– Ни за что, – говорил он, – не встану. Буду лежать и смотреть телевизор. Очень интересный фильм показывают.

Иная из попавших в мысль историй затмевала фильм и начинала расти, присовокупляя к себе подробности, но Дуракович давил ее и смотрел, чем закончится кино. История погибала и навсегда не возвращалась.

На следующий день приходила другая. Вдохновленная неудачной книжкой, которую читал Гниломедович, и знающая, как эту книжку переписать и исправить. Ему бы сесть и запротоколировать вдохновение, и он даже частично порывался так сделать, но вовремя успевал совладать с собой.

– Толку мне с этого, – говорил он, бросая в рот пищу.

А эта история оказывалась хитрее, чем Свиридович, и назавтра не исчезала. В ней было уже больше величины и яркости – почти готовая книга, садись и пиши, Бирилёвич, – проработана вплоть до некоторых предложений.

– Ну у меня и внутренний мир! – дивился себе Коялович. – Автономно живет.

Он насильно лежал, хоть несколько раз его и нещадно подмывало вскочить и взяться за рассказ.

– Досочиняю и возьмусь, – говорил Соколович вслух, чтобы поняли все невидимые зрители, которые смотрели за его жизнью. – Еще мало сочинено.

И он с упоением сочинял дальше, и вот насочинял уже на второй том, и нечаянно пошли параллельные ответвления, и новые рассказы, и, прожив в уме все эти истории, Ходокович понял, медленно и страшно, что становится писателем.

– Да ну, какой из меня писатель, – возмутился он, – что вы пристали!

Андрей Дудко родился в 1988 году в г. Слониме, Беларусь. Образование высшее техническое. Живет в Минске, где работает инженером АСУТП. Прозу пишет с 2010 года. Автор полутора романов и пятнадцати рассказов. Публикуется впервые.

Стыдно было ему перестать быть лежателем и начать быть кем-то другим, пусть и писателем. Хотя других писателей, не себя, он уважал и много их читал.

Может, из него бы и вышел неплохой писатель, думал Хотянович, и судьба бы сложилась, и невидимые зрители стали бы видимыми, и можно было бы с ними наконец-то познакомиться, может, бы и попутешествовать удалось в жизни, но ведь тогда не придется читать, а надо будет целое время писать. И потребуется для этого встать.

И вообразил Запупович, что встает, и пишет, и отправляет роман по почте в издательство, и оттуда приходит панегирик с деньгами, и становится Ксилофонович Автором. И продолжил он дальше мечтать о таком будущем, и придумал интриги, которых его жизни не хватало, и приключения, и любовь, – все поместил, – и начал у него получаться настоящий роман о жизни писателя, интересный, целостный и красивый. До последних мелочей придумались целые эпизоды, где он бродит, мечтательный, по природе, в ржавой проволоке и среди гроздьев осенних трав, и думает стихами.

– Да что за напасть! – лежа вскричал он. – Романы в голову лезут!

Роман струился, как голубая звезда, и жертвенно ждал, раскрывшись Свиридовичу, словно мишень.

– Уйди! – приказывал роману Сердюкович. – Я не встану и не поднимусь!

И глубже вползал в перину, переключая пультом каналы телевизора.

Это было только начало. Голубиное везение Ивановича закончилось. Теперь, о чем бы он ни начинал думать, когда баловался на перине счастьем, все превращалось в рассказы. Воображение настолько натренировалось, что рождало новые истории, не успевая закончить предыдущие. Рассказы возводились в циклы и сборники, Электропроводович навоображал уже небольшую полочку книг и мог выбирать, с какой первой начнет писать.

Начинать не приходилось, потому что до стола он не доходил. Доходил, перекатываясь, до края перины и останавливался.

– Вот еще, – думал Попович, лежа на боку над холодным воздухом. – Может, лучше не начинать?

Крайне не хотелось выползать из теплой, нежной перины и садиться за угловатый стол, но рассказы были равнодушны к желаниям Костровича, и продолжали рождаться, снедая его изнутри.

Тогда Воеводовичу пришла мысль взять блокнот в перину, и, не вставая, он потянулся за лежащим на столе блокнотом.

Блокнот лежал на столе далеко, и Колесович вылезал, разматывался, пока не закончился и не упал, стукнувшись зубами о столешницу.

– Ну все, – обиделся он от боли и вернулся в перину. – Это был последний раз.

Рассказы подумали иначе и увеличили густоту возникновения.

– Ах так?! – вознегодовал он и спрятал их в подушку вместе с головой, чтобы перетерпеть атаку.

В подушке стало происходить что-то еще более ненормальное: пузыри рассказов с бешеной скоростью зачинались, надувались реальностью и лопались, стреляя как патроны, и с каждой минутой их реальность становилась все достовернее, и можно было в них проникать умом и некоторое время там жить, и так было их много, что Федорович не успевал рассмотреть их все и метался из одного в другой, забыв о себе.

– Так нельзя! – выскочил он из постели под ликование звездных рассказов.

Возле него обнаружился письменный стол.

– Думаете, добились своего?

– Добьемся, когда начнешь, – плескались в нем рассказы, не ограненные и компактные.

– Никогда! – сказал он и прыгнул назад в перину.

– Ты должен нас написать!

– Вы ошиблись, – сказал он, накрывшись одеялом. – Я не писатель.

– А кто?

Стаканович моргнул, думая, и посмотрел в телевизор.

– Может, режиссер?

Тут же появился рассказ о режиссере и превратился в большой, насыщенный событиями роман.

– Сейчас придут мои друзья и прогонят вас! – обозлился Кулакович. – Я буду танцевать и петь, и за стол не сяду!

Рассказы сдулись и исчезли, оставив Свиридовича наедине с собственной глупостью и неоригинальностью.

– Тоже мне рассказы, – сказал он, несколько разочаровавшись. – Могли бы быть и понастойчивей.

Ноябрь 2016

На улицу, там день

Будто город-динозавр, прекраснодушный город Слоним рано вымирал, вконец опустевая с первым пугалом темна, зато и поднимался беспримерно рано: в два тридцать лучшие его дворники уже шли с закрытыми глазами на работу, чтобы в три основательно мести; в три тридцать выходил первый человек, повернутый зевками в темноту, и чапал пешком на автобазу, где садился в автобус, на котором делал круг по городу, собирая разделенных на дома водителей, после чего они садились каждый в свой автобус и начинали возить город на работы.

Работ под небом Слонима хватает: можно сказать, что он работящий город, не просто сборник поезженных улиц. Есть менты, есть продавцы, и всех других хватает. Недалеко ментов есть прокуроры, еще фабрика художественных изделий на коленях, камвольная на плаву, стройка, транспорт, телекоммуникацийщики, заботливый санитарный аппарат, пух-перо, газ, нефтебаза, кбз, мяскомбинат: тьма людей. Город людей.

Все очень, ну очень-преочень, ценят и уважают свои места. Даже кто сбоку от заработных плат.

Кроме нашей англичанки.

Она всегда по понедельникам так ужасно зевает, так ужасно выглядит, в таких вся морщинках и так хочет спать, что мы сами начинаем искать спасения в сползаниях и задреманиях, и век полуприкрытиях.

– Кто придумал рано вставать? – пожаловалась она сегодня. Из ее носа медленно текла блестка, температура сорок лиловела из лба: ее тоскливый женский организм был встрясен, прогневан первым уроком. – Так не люблю! Больше всего на свете! – продолжала она, доставая учебник из мягкой сумки. – В семь утра как раз так сладко спится! – листала она искоряканный журнал. – Как раз так ни за что не хочется выползать! Еще бы как раз хоть сколько-то припоспать! Но тут этот урок! Этот пропади он под землю первый наглый урок!

Она злобно оглядела парализованную паству, и Деменко не выдержал ее взгляд.

– Да, – поддакнул он.

– Что да, Дименко? – опавшим лицом сказала англичанка. – Я уже устала от тебя.

Я сидел на последней парте и не видел Деменку, но тоже от него устал. Какой-то он не такой совершенно.

– Тему рассказать хочешь? – предложила ему она.

– Нет, – заинтересовался он вдруг своей партой.

– Может, кто-то другой хочет? – водила она над списком наших несмешных фамилий ручкой, жирно синевшей на шарике, и над ворсом наших макушек своими высохшими бурыми глазами, ища, как мы догадывались, самую трепещущую душу. Возни с самоконтролем на этих уроках не-

мерено: нужно притворяться лицом, что все выучил, и каждый раз во время лотереи журнального вызова сосредоточенно смотреть на воздух триста сантиметров вперед. Я прижевываю щеки, чтобы они впадали, и немного щурю на концах глаза, и держу ручку в руке, направленную будто бы в мою важнецкую мысль. Это несомненно спасло меня от верного вызова уже двадцать девять раз, но я иногда забываюсь и веду себя как постоянно, когда хочется рассказывать Рысаку фигню про фильмы или наспех выдуманные анекдоты про наш класс, которые перманентно не желают жить взаперти в одном только мне, и тогда меня ловят и спрашивают подвохи, и скорее всего ставят что-нибудь нехорошее, после чего приходится подмасливать огорченных родителей и учить домашку, и несколько уроков подряд самому проситься на этот эшафот уклончивых знаний и хитростных допросов, на эту гильотину, эту паперть преодоленной спеси, называемую доской.

– Наверное, ты хочешь, Дурко, – сказала англичанка, и я обнаружил, что увлекся и совсем почти заехал под парту, а щеки так всосал, что стал похож на рыбку.

Дурко – это моя фамилия, и я – Дурко.

– Не совсем, – сказал я, въезжая назад на стул.

– Почему так? – спросила она, озаботившись, как будто бы я ей рубль.

Я молчал: всем понятно, что отвечать не надо. Беспорядочное внимание учителя может в любой момент переместиться на кого-нибудь другого, поэтому лучше его на себе долго не задерживать.

Вдруг придумался такой остроумный выход, что я не стерпел.

– Спать невероятно хочется, – сказал я, сделав заспанную физиономию.

Класс хорошо меня чувствовал и поэтому единодушно прыснул, но доверчивая учительница посмотрела на меня с траурным согласием и задумалась.

– Тогда пусть поднимет руку тот, кто готов отвечать.

Конечно, никто на провокацию не повелся. Мы сидели тихо как друзья и скрипели напряженными в англичанку глазами.

– Нам всем спать хочется, – предупредил ее Пирогов, единственный в классе, кто выглядел сразу на сорок.

– Врешь, – сказала она, – но я верю.

Класс дружно притворился вялым.

– Так что же, – спросила англичанка, – мне урок не проводить, что ли?

– А зачем его проводить, – развивал мысль Пирогов, – если ни вам, ни нам не хочется?

Пирогов затмил солнце своей смелостью, и это знал: расплечился и повесил спину наискосок, будто герой: показывал, что в свободное время всегда любит так налегке поговорить со взрослыми, и вообще живет полной жизнью, о которой мы лишь мечтаем.

Класс, чтобы не заржать, убрал лица в мягкости.

– Да, – продолжал вещать Пирогов в склоненный в безумную радость класс, – для кого нам стараться? Раньше мы думали, что хоть учителям нужны эти уроки.

Я просто не мог уже: смех пыхтел из меня, рвя клапан горла, крохотными пердунами, и понемногу заражал Рысака.

Англичанка же жадно клевала на разумные слова Пирогова: они были как раз тем, что она мечтала услышать.

– Правильно, Пирогов. Не нужны эти уроки никому. Учителя на них идут как на каторгу. Всем нам намного лучше дома.

– Или на улице.

– Да, или на улице. Мы всю погоду в этих классах просиживаем. Я как раз давно не гуляла.

– Так что, может, остановим эту комедию?

Рысак церемониться не стал и заржал во весь свой колхозный голос. Я отшвырнул пионерскую чопорность и подключился к нему.

Класс тоже не преминул грянуть.

– Ка-ме-ди-ю!! – квохтала Рысачина.

– Ну ты, Пирогов, дал! – звучала общая мысль класса.

Англичанка встала, обращаясь к нам:

– Дети.

Мы проглотили глум и краску с лиц и прислушались.

– На улице лучший день, дети, – рекла англичанка. – Ради чего вы его пропускаете? Ради ху из он дьюти? Ради ай эм ленин инглиш? Ничего вам этого не надо. Собирайтесь и выходите на улицу.

– Но как же так? – возразил староста, этот голубой. – Если увидит директор?

Он всюду вставлял своего подхалимского директора, так как хвастался знакомством: однажды тот после всяких там старостиных докладов запомнил старосту и несколько дней в коридоре здоровался по имени, причем не говорил: Эй, Каляцкий, прочь с дороги! а говорил: Доброе утро, Игорёша! и жал руку, чем, конечно, напрочь испортил старосте сознание, заставив на всю жизнь загордиться.

– Псик! – сказала англичанка, стукнув кулачком по столешнице. – Какой еще директор? На улице нет никаких директоров! Я сказала: собираемся и выходим!

На ней уже были надеты куртка и шапочка.

Нас ее слова убедили, и мы ринулись складывать книжки и одеваться: все, впрочем, кроме Каляцкого.

– Я остаюсь, – сказал он. – Мне надо отсидеть урок, я староста.

– Такой маленький, – удивилась англичанка, – а уже маразматик. Смотри, даже Дименко собрался.

– Нет, – занимал парту Каляцкий, – не пойду.

И схватил руками края, чтобы не дать себя выворотить.

Никто его выворачивать не намеревался: мы вышли себе спокойно в дверь, и он лишь проводил наши спины своим фирменным огорчительным глазом, облоктевая свой бесполезный стол.

– Не будет никакого урока, Каляцкий, – потщилась еще раз его спасти выходившая последней учительница. – Ты что, не понимаешь?

Он промолчал, выражая лицом выпуклое сопротивление, и остался сидеть одинешенек в пустом кабинете, наш вконец поверивший директору маленький взрослый староста.

Происходящее воодушевило всех, включая девочек и бескрылых увальней. Впереди гурьбы, совершенно не боясь никого, повалил Деменко, махая целлофановым пакетом с книжками; англичанка семенила следом, скромно засунув руки в рукава и закольцевав их до бесконечности. Мы двигались с приятным страхом, не галдя, но особенно и не крадучись: торжественно: и, слыша глупые ливни слов из кабинетов, радовались, что свой такой смогли хоть на недолго оборвать.

– Блин, никто не знает! – шептал мне Рысак. – Козырно!

На нашем пути старел кабинет химии, в двери которого стекло покрывало окно, и химица шевелилась возле доски, и десятиклассники грустили на виду у коридора. Ведомые смелой англичанкой, мы не дрогнули и прошествовали в химическом глазу, затрагивая склоненные щучьи затылки своей неведомостью. Химица остановила молекулы, падающие из речи, и, застыв с указкой на формуле, вперилась в нашу процессию.

Англичанка кивнула привет, и химица, сжигаемая черным любопытством, метнулась к двери.

– А куда это вы идете всем классом? – невежливо высунулась она в коридор.

– А это мы на улицу гулять, Ирина Степановна, – улыбнулась англичанка, и мы в подтверждение тоже улыбнулись, будто любим химицу, или уважаем: сбыли ей наши хорошие детские лица.

– А урок? – глотнула химица.

– А мы его сегодня не хотим, Ирина Степановна. Идем прогуливать.

– Я что-то не поняла: по какой причине?

– Там осень стоит. Жалко пропускать, – ответила англичанка и безотлагательно повела нас дальше.

Химица, зная правду, отшиться так просто уже не могла.

– И мне жалко пропускать, – бежала она за нами, бросив свой класс. – Что, тоже теперь урок прогулять, что ли? Если всем жалко, то всем прогулять?

Темный коридор был похож на темницу, и она была похожа на замкнутое растение.

– Ирина Степановна, вы совершенно правы! – сдвоив брови, сказала англичанка. – Пойдемте вместе!

– Я не могу! – шептала химица, радуясь предложению, как вакшенный сапожок.

– Сколько можно указкой пырять, Ирина Степановна! – тоже перешла на шепот англичанка. – Неужели за всю жизнь ни разу не прогуляем?

– Да, – уговаривалась химица, – очень хочется.

– Бросайте свой неблагодарный класс, и за нами, – неукоснительно спускалась англичанка во главе нашего косяка на первый этаж.

Химица растерянно катила ноги, тремя частями будучи с нами, а двумя оставаясь за класс. На лестничном свету ее веснушки шало серели, походя на кривые заплатки.

На первом ярусе терял время, толкая стену, физрук в нарядном лоснящемся спортивном костюме. Его лицо обманывало публику, имея лоб и имея маленькие, как младенческая ладонь, теплые, обдыханные носом усы.

Говоря с нами, он раскрывал рот как дурак и вздувал глаза, потому что считал нас маленькими детьми. Больше всех он любил Рысака, потому что чувствовал в нем родную душу.

– Рысак! – громогласно кричал он издалека.

– Что, Петр Петрович? – жалобно отвечал Рысак, стыдясь такой фамильярности.

– Иди-ка ты сюда, – многозначительно звал физрук, пугая Рысака возможностью получить подзатыльник. Рысак, шаркая ногами, подходил, и физрук просто жал ему руку или тряс плечо: настоящие подзатыльники он любил давать экспромтами, исподтишка.

Его полный желудок жужжал, как торпеда, высверливаясь из живота и вставая над пупом ракетой костюма. Сонные глаза спали на ногах, зубы были сжаты в кулаки, как сахарок. Чтобы избежать соударения с ним, англичанка распустила построение и обтекла его.

– Хау ду ю ду? – нахально поинтересовался он.

– Гулять идем, Петр Петрович, – честно ответила она.

Физрук сопоставил отряд балагурящих одетых нас, блестящую осень за окном, англичанку, кудрившуюся из-под шапочки, школу вокруг себя, экономящую свет, и жадная крокодилья зависть проникла в него.

– Можно с вами? – спросил он, взяв двух пацанов за головы, как сыновей: демонстрируя, будто может временно ради англичанки быть педагогом.

– Разумеется, можно, и даже необходимо! – ответила англичанка, пыша скоростью. – Неужели я оставлю вас толкать здесь стену? Немедленно на улицу – там день!

Довольный физрук отпустил головы, зашел вперед и открыл нам высокую дверь, и мы живо вытряхнулись на воздух.

Там было не так уж и хорошо, как казалось из кабинета. Свежевато.

Стоял ветер, прямой, как палка, и холодный, как снеговик. Страшный и странный, ползающий змеей. Лопнущий, осенний. Как я.

Стоял красиво: по асфальту воробьями прыгали листья, трава ползком кралась в тепло, лежа на боку. Желтая и красная команды деревьев резвились, перехватывая у друг у друга шквал мяча. Страстные, блудливые рябины доставали гроздья на виду и терпко обнимали воплем своей увядшей красоты погоду. Городом и порталом неба получался гнетущий крест.

Химица, обданная прохладной струей, съежилась и задала стрекача назад в школу.

– Я за курткой! – крикнула она спиной.

Физрук вырвался вперед и по привычке зашел на школьный стадион, а мы послушно повернули за ним, пересеча крупой лежавший на голой земле беговой асфальт.

Мальчики бросились носиться, девочки, грея руки в карманах, шептаться, а физрук виться возле англичанки и нарочно касаться ее рук обтянутым в молнию, першим вон желудком.

– А почему вы не на уроке? – спросила из вежливости англичанка.

– Физкультура первым уроком не бывает, – шаркнул он, прислонившись к ней костюмом.

– Почему? – отогнулась она от касания.

– Не знаю, – признался физрук. – Таков приказ.

Тупой: чтобы дети проснулись перед спортом, но я этого не сказал.

– А я вообще-то переводчица, – вдруг призналась англичанка.

Физрук ее сразу зауважал и убрал наконец свой костюм.

– Да я сам раньше стихи писал, – вспомнил он.

Тут я увидел, что Рысак катается на Деменке, и во мне взыграл задор. Я метнулся к ним, даровал Деменке свободу и оседлал Рысака.

– Но! – погонял я, стуча в него пяткой. – Давай, Рысачина!

Рысак давал, с трудом переставляя по лужам ноги, а освободившийся Деменко злорадно мстил, аплодируя по его щекам.

– Если ты щас не прекратишь, Дименко, – угрожал Рысак, – то я не знаю, что щас сделаю!

Через некоторое время я слез, и Рысак снова оказался всадником Деменки, а Деменко – рысаком Рысака.

– Скачи, козел! – правил Рысак. – Скачи! Через забор!

– Зырьте все: Каляцкий! – крикнул Студеный, показывая пальцем.

Все позырили: в окне покинутого нами кабинета одиноко находился староста и впивался в нас увеличенным темным взглядом.

Каляцкий-Каляцкий, подумал я.

Толстостеклый ты очколуп!

Даже девчонки пошли скитаться в золот листьев октября, а ты где?

О чем думаешь, сидя один в безрадостном кабинете?

Почему не идешь?

Не хочешь никого катать?

Так вышел бы хоть пошпионить, нам не жалко.

– Зырьте: и директор! – прибавил Студеный, и в окне около Каляцкого появился директор.

Директор выглядел недобро, зато, если приглядеться, стал добрее Каляцкий. Он всего лишь бликовал в окне, но казалось, что он королевский шут, радостно жонглирующий своими лицами.

Философски говоря, я посмотрел на директора, не отдавая себе отчет, и лишь через пять минут осознал, что смотрел недавно на директора. Это так меня повалила купленная прогулом природа, посетив мое сердце розгой адреналина. Я бродил по стадиону, глухой от внутреннего шума, и улыбался, ни в чем не разбираясь.

И мне другие улыбались, зная толк.

И деревья по кайме стадиона влияли на поветрие, создавая воздух бросаемой листвой.

И всем было не до каких-то дириков.

Спустилась экипированная химица в сопровождении полного класса своих старшаков. Для крутизны старшаки не носили шапок и поэтому не сильно уж и радовались прогулу. Они помялись, сморкаясь, и разбрелись на группы, и самая большая сразу пошла курить за угол. Провести метеоурок с химицей осталось всего несколько человек.

– Вот я и пришла! – сказала англичанке химица в белой телогреечке. На улице в ее серых веснушках проявились рельефные огненные осенюшки, дышащие, живые и прекрасные.

Девчонки подарили ей собранный в зарослях кленовый букет и, счастливые, побежали за новым.

Происходили всеобщая удаль, свобода и беготня, растащившие нас по стадиону и переполнившие нам глаза.

– Ну, сумасшедший просто! – остановила англичанка разбушевавшегося, как Дикий Запад, Рысака за капюшон.

Он повесился и от смеха захрипел.

– Пойдемте дальше, – предложил я, снимая его с виселицы. – Я знаю, где сливы растут. Поедим.

– Только недалеко, – сказала химица. – Надо успеть до начала второго урока.

Англичанка посмотрела на нее как на Деменку.

– Фигню сказала? – улыбнулась химица, мгновенно словив намек.

Рысак от смеха провалился в куртку, и я его там застегнул.

– Фигню! – глухо хлопал он рукавами. – Фи-и-и-гню-ю-ю!

– Ну ты, Рысак, и дурак, – вручил ему в бьющиеся под курткой органы физрук.

– Не надо, Петр Петрович, детей стукать, – интеллигентно заметила англичанка.

– Это же Рысак! – ответил физрук.

Рысак расстегнулся, вывив из воротника потную волосатую голову, а из нижнего отверстия колокола куртки на траву выпала шапка.

– Рысак шапку родил! – придумал я и побежал всем рассказать эту новость.

– Дурко! – обернула меня англичанка. – Ты куда? Пошли сливы есть!

– Ура! – Я с молодой матерью Рысаком собрал наших по стадиону и повел к сливе.

Она росла возле забора одной старой бабки, которую дразнил весь двор, и даже соседние дворы ходили дразнить. Я сам не дразнил никогда, всегда только стоял рядом, за компанию. Бабка любила, когда ее дразнят, и мечтала словить кого-нибудь из нас, и при каждой оказии подкрадывалась, но ни разу не словила.

На нижних ветках слив не было. Я предложил Рысаку забраться на дерево и собирать сливы в шапку, как мы всегда делаем, но учителя не разрешили.

И правильно: зачем, если с нами Петр Петрович Физрук? Он лучше всех умеет подтягиваться, отжиматься, лазать по канату, бегать любые бега и прыгать любые прыжки.

Не переставая поглядывать на англичанку, он взялся за сливу сам.

– Разойдитесь, – отогнал он нас от дерева, – не то задавлю.

Он снял верхнюю половину костюма, чтобы не запачкать, и остался на морозном норде лишь в коченеющей белой майке с надписью «Sport». Костюм был доверен англичанке, которая передала его Рысаку, который аккуратно сложил его и держал, как награду.

Физрук приседал, заводил растопыренные руки за спину, корчил страшную зубастую гримасу и прыгал, хватаясь вскинутыми пятернями за воздух. Когда ему случайно перепадала ветка, он на ней цепко повисал и со скрипом опускал, пользуясь силой своего веса. Англичанка грабила ветку и раздавала сливы.

Сливы были мягкие и очень-очень сладкие. Я высасывал мякоть и плевал шкуркой в Рысака, который мастерски увертывался, плевал в ответ и попадал.

– Но я же в тебя не попал, – жаловался я. – Я же понарошку плевал.

Все выражали блаженство, исчезнув на несколько минут в сливовом вкусе. Физрук происходящим был очень горд.

Из забора вышла бабка, похожая на тряпку. Из нее, раздвигая морщины, девчонкой лезло любопытство. Меня в новом осеннем наряде она не узнала.

– Сливки кушаете? – с подозрением спросила она, сосчитывая нас.

– Кушаем, добрая бабушка, – призналась англичанка.

– А чего вас так много-то?

– С уроков ушли.

– Я так и подумала, – медленно клонилась горбатая над землей, опершись на ветер. – Посуду дать?

– Лучше дайте напиться, – отстал от сливы физрук, – если есть такая возможность.

– Всем? – спросила она.

Никто не отказался. Сознавая нашу наглость, мы поскромнели. Кто виноват, что хочется пить?

Она пошла в свой оазис и возвратилась с ведром, раскапывая воду по дороге.

Физрук первым принял стакан ведра и трогательно наклонил в усики, пустив по обеим щекам

стремительные ручьи, затекшие в шею костюма. Ракета над его пупом наполнялась и принимала свой настоящий, конструктивно верный вид, вставая так быстро и так смешно, что даже бабка не удержалась от смеха. Только англичанка смотрела на его таланты и не смеялась.

После физрука в ведро вступил Рысак, засунув туда лицо и уши, почти целую голову, и долго в нем чавкал, чтобы посмешнее всех рассмешить. Когда его мокрое лицо поднялось над водой, то получило подзатыльник и отдало ведро дальше.

– Воду загрязнил людям, – сказал влажноусый физрук, глядя половинкой глаза на англичанку, ради которой старался.

Мы все понимали, что Рысак получил за то, что пил смешнее своего более опытного и сильного соперника, но что разум может противопоставить голой силе, кроме понимания?

– Я чистый, – обиженно шепнул Рысак, и отеческая рука легла ему на загривок.

– Ну-ну, – сказал физрук.

Вода была смертельно ледяная, и я не смог много выпить, обожгя горло ее рукавом. Сразу понял, что начал заболевать. Мельком видел край себя и будущее на несколько минут вперед, как мы на холме стоим.

– И что вы, просто так гуляете? – спросила бабка, чтобы заполнить паузу, пока мы пьем.

– А нам больше ничего не надо, – сказала англичанка.

– Как хорошо посмотреть на таких, – добро смотрела на нас снизу бабка. – Кто бы меня заставил плюнуть на этот огород проклятый и просто так пожить.

– Так в чем вопрос, – взял ее физрук за руку. – Бросайте огород и пойдемте с нами.

– Куда мне гулять, я уже старая, – дрожала она от волнения и хваталась за его сильные пальцы.

– Бросьте, – сделал физрук виртуозный, в своем обыкновении, комплимент, – вы мне всего лишь в матери годитесь.

– С вами не пойду, – ответила она, – но и работать из уважения к вам больше не буду. На лавочке весь день просижу, на природу прогляжу.

А я, подумал я, из уважения больше не буду вас дразнить. Раз вы хорошая оказалась.

Она села на лавочку, приставленную к забору, и стала отдыхать.

С девятого этажа на огород вертолетиком скружился желтый дымящийся бычок.

– Все теперь ничего, – сказала она, – только на это я не обращать внимания не могу.

Что бычки с балконов кидают – нормально, мы с Рысаком их собираем и курим, а что в огород попадают – плохо. Не бросайте бычки, пожалуйста, если под вашими балконами частный сектор, это я к вам обращаюсь.

С прежним искусством мы пошли дальше, оставив бабку отдыхать на лавочке, и забрели на холм, с которого был виден весь город, и в нем наша школа.

– Ого! – вскрикнули мы с Рысаком: на стадионе возле пустой школы суетилась каша из людей. Их количество не поддавалось даже примерному счету. Ну, скажем, тысяча, а может и больше.

Это вся школа вышла. И властелин этот вытолкнулся, по имени дирик, и все учителя под его предводительством, и все ученики, ведомые ими, и даже похожая на обезьянку фигурка Каляцкого плелась где-то в отдалении: вычленились, выдавились из школы как капля, и нас искали.

Рысак пронзительно свистнул и закричал:

– Мы здесь!

Мы поздравительно замахали всем школьникам опустевшей школы, и они, увидев нас, подняли руки в ответ.

– Гудмонинг, – озвучил я их жест и насмешил весь наш класс.

Мы стояли на пронизывающем ветру и тянули время, чтобы хоть пять минуточек еще покрасоваться здесь, на холме. Щелкали семечки, которые были в кармане у химицыных старшаков, и думали о том, что о нас могут подумать внизу.

Пирогов, разваливший школу, сам несказанно мерз и прятал уши в поставленный воротник.

– Какая-то дикая осень. Никогда еще таких не было, – жаловался его холодный нос из воротника.

Конечно: наверное, с первого класса в этой куртке ходит. Нельзя же носить одежду вечно: она снашивается как минимум на пуп ниток в день.

Рысак чувствовал к Пирогову справедливое уважение и, чтобы с этим бороться, сочинил стих:

В мире много дураков,
Ну а главный Пирогов.

На что Пирогов ответил:

Ляпнешь, падла, языком,
И получишь кулаком.

После чего падла Рысак притих.

Осень 2016

Электромеханик (Наша фабрика)

1.

Иосиф Васильевич Судаков пошел на пенсию, и я остался на фабрике одним-единственным электромехаником, наследовав все его дела и чулан, увешанный платами и проводами. Прибавилось работы, – ко мне начали заходить разные люди, привыкшие к Судакову, и просить помощи. Носили все, что ломалось: наушники и пульты, гирлянды, фонарики и калькуляторы, телефоны и компьютеры, и если было что-то сложнее перебитого провода, я всегда отсылал: я ничего не умею, только по софту, извините.

Я никого не знал и ни с кем не дружил и даже не здоровался, – делал утренний обход станков и хоронился в чулане. С течением времени коллектив начал понимать, что я за человек, и тревожил меня реже, но в тот день, когда пришел Богданов, я как раз паял чье-то зарядное.

Он был мужчиной, серым в волосах и общежительным в голосе, и Ломоносов его осанки был барин, несмотря на то, что носил телогрейку. Живот его в карем скатанном свитере был высок, а нос на лице худ и пятнист.

– Где Судаков? – спросил он, сияя в меня своими специально овеселенными глазами, но я с таким халявщицким взглядом уже сталкивался и ничего веселого в нем не видел.

– На пенсии, – сказал я, покрываясь дымом из паяльника.

– И кто теперь живая величина, заведующая электроникой?

– Теперь это я. Что нужно? – отложил я включенный паяльник на блюдце.

– Я Богданов. Мастер седьмого цеха.

Он подошел и навис животом над моей головой, и я вынужден был встать, чтобы не смотреть в его бурый свитер.

– Здравствуйте, – сказал я, перемещая запутавшийся в ногах стул.

– Не вставай, – нажал он мне на плечи, – сиди. Я сам возьму.

– Что возьмете? – вывернулся я из рук, подивившись такому губернаторскому нахальству.

– Я видел, тут у вас в одной коробке автоматы лежали, – сказал он, оглядываясь по стеллажам.

– А зачем вам автоматы? – спросил я. – В станок?

Он внимательно посмотрел на меня, сделав головой угол, и моргнул.

– Нет, не в станок.

– А куда?

Вместо ответа он ткнул пальцем в коробку с конденсаторами.

– В ней? – спросил он и взялся за края, чтобы снять ее.

Хоть в той коробке автоматов не было, я на всякий случай руку его убрал и задвинул коробку на стеллаж подальше.

– Что это вы без спроса лезете? – упрекнул я, но так мягко, что он, видимо, не воспринял.

– Как без спроса? – улыбнулся он. – Разве я не спросил?

– Это не та коробка.

– А где та?

– Вы сначала скажите, зачем вам автоматы, – начал злиться я, – а то ведете себя подозрительно.

– Ну как зачем? – прошептал он. – Затем же, зачем и другим.

– Вы же сказали, что не в станок.

– Не в станок, – согласился он.

– А у меня автоматы только для станков. Других нет.

Его глаза размером с чайную чашку, как у собаки из «Огнива», ели меня огромными укусами.

– Что это ты такой дотошный? – нагло спросил он. – Судаков попроще был.

– Автоматы, что ли, дарил?

– Дарил, – признал Богданов. – Тебе не рассказывал?

– Нет.

– Плохой ты ученик, – покачал он серой головой и сел на стол, засунув руки в карманы и разведя края телогрейки. Столешница прогнулась под его ягодицами великолепной дугой.

Я тоже сел на свой стул в углу чулана.

– Почему плохой? Потому что не даю украсть?

– Мне всего лишь два маленьких автоматика на двадцать ампер, – сказал он, и Лермонтов его плеч стал жалостливо вял. – Какая же это кража?

– Обыкновенная.

– Пустяк!

– Был бы пустяк, вы бы их купили.

– А зачем, если можно взять? Нужно куда-то ехать, мучиться, искать, а тут – вот они, на работе, – взял, и все! – сказал он, и я увидел, что дымится правый край его телогрейки.

– Снимитесь, пожалуйста, с паяльника, – попросил я, – и будьте аккуратнее.

Он отлепил от телогрейки приклеившийся паяльник и прилежно вернул назад в блюдце. На обожженной фалде телогрейки заблистал черный лак.

– Тебе что, жалко? – трогательно спросил Богданов.

– Вот когда понадобятся автоматы на станке, что я скажу? Богданов унес? Мастер седьмого цеха?

– Никто не уносил. Скажешь, что закончились.

– Еще и врать прикажете? – рассмеялся я.

Столешница под Богдановым прогнулась немного меньше.

– Может, ты баптист? Как Жан Мольер? – наклонился он ко мне.

И это сказал человек, чей Мольер холоден, как замороженный фарш.

– Вы не понимаете, – шепнул я. – Это кража у фабрики, у людей. Они работают, а вы у них крадете. Эти автоматы – общие.

– Вот именно! – схватился он за хитрость. – Общие! И никто не против того, чтобы я их взял!

– Ну как же не против? – возразил я. – Как раз-таки против! Кто не против того, чтобы у него крали?

– Никто не против, поверь мне! Всем безразлично! И даже наоборот – каждый сам при первой возможности хватает все подряд.

– Да не может быть! На фабрике работает столько мнений! Все подряд хватают только особенно пройдошные единицы – вроде вас! А остальному большинству – постыдно воровать! Даже если не большинству, то уж точно многим людям!

– Ты не знаешь жизни, Электроник.

– Да даже если кто-нибудь один против, и то – нельзя брать! – запальчиво сказал я. – Вот походите, поспрашивайте людей: против они или нет?! Соберите голоса! Вот если все, абсолютно все до единого выскажутся за, тогда я вам с радостью подарю ваши автоматы, хоть всю коробку отдам, но если хотя бы один человек будет против, то – извините! Тогда это воровство!

Он долго смотрел на меня ненавидящим взглядом и поглаживал щеку. Я сосредоточился на своей напускной грозности и не отводил глаза.

– Собрать голоса, Электроник? – спросил он.

– Соберите, – боднул я головой.

– И тогда ты мне дашь то, что я хочу?

– Дам! Но только чтобы всех были голоса, каждого.

– Я соберу, – встал со стола Богданов, заняв Гоголем своей телогрейки весь чулан. – И принесу доказательства.

– Вот заодно и узнаете жизнь! – крикнул я, когда он был уже за порогом.

Он вышел и не закрыл за собой дверь, и в мерно жужжащий чулан вроился шум копошащихся фабричных механизмов.

У меня после столь странного разговора не получалось вернуться к работе: я вертелся на стуле и думал о том, что Богданов захочет мне отомстить, поэтому в конце концов решил развязать с курением и пошел в цех стрельнуть сигаретку.

2.

Минули выходные, которых всегда слишком два, и казалось, что наш разговор с Богдановым благополучно занесен в забвение, но в понедельник после обеда ко мне наведался электрик. Был он из седьмого цеха.

Электрики часто ходят ко мне за автоматами, и в такой ситуации нет ничего необычного, кроме того, что в этот раз электрика подослал Богданов.

– Мне нужны два автомата на двадцать ампер, – сказал он, и, конечно же, я не мог не заметить глупое совпадение двух последних челобитных.

– А зачем тебе? – спросил я, и электрик обернулся из расхаживающего по фабрике Салтыкова-Щедрина в намного менее уверенного человека.

– На станок, – шепеляво плюнул он, бессовестно тараща боязливый круглый глаз.

Мне стало жалко, что я не могу дать бедняге электрику то, что ему нужно, вынужденно играя роль рассевшегося в чулане паука, облепившего паутиной коробки с добром, но он – просто сошка, не знающий подоплеки противостояния, в которое втянут, и, сражаясь, мне придется сразиться и с ним.

– Точно на станок? –жевал я ошметок щеки.

– Да, – сказал электрик.

– И на какой же?

– Что?

– На какой станок автоматы?

– На наш, в седьмом цеху, этот, как его... – электрик засуетился, поспешно обдумывая ответ.

– Тебя Богданов послал?

– Да, – опустил он свой слезящийся круглый взгляд.

– А ты знаешь, зачем ему автоматы?

– Нет, – покачал головой школьник, сидящий в электрике.

– Вот именно. Я не дам. Иди и скажи, – пусть подписи собирает.

Он посмотрел на коробку с автоматами, тускло темнеющую на полке и, нагнув спину, вышел, а я снова устремился в дымящуюся в углу цеха курилку.

3.

На фабрику проникла осень, и все три фабричных дерева раскошелились на новые листья, чтобы соответствовать погоде. Я шел по территории с утренним обходом и покуривал воздух, оставшийся после идущего передо мной с сигаретой сантехника Кропотко. Впереди я увидел, как на дальний коридор между цехами выпорхнул Богданов с бумажкой в рукаве и пропал за дверью, но мало ли какая бумажка могла у него быть. Вряд ли, подумал я, но немножко все же стало не по себе.

4.

– Все ли станки включились сегодня? – спросил я в четвертом цеху Митю Матвеева, фрезеровщика.

– Все, кроме того, – показал перчаткой Митя Матвеев, и я расположился на ремонт, открыв на столе чемоданчик с инструментом.

Электроника была замарана пылью, и прежде чем браться за работу, надо было ее продуть. Я принес шланг с воздухом, открыл кран и дунул в электрошкаф, и оттуда взнялось кошмарное колючее облако, вынудившее меня отойти. Пока оно падало, в проходе участка появился Богданов и сразу насел на первого же рабочего. Обняв его своим размахом, он держал перед ним достанутую бумажку и что-то нашептывал ему на ухо.

Несмотря на то, что я твердо знал, что Богданову ни за что не собрать все сто процентов подписей, мне стало тоскливо от какого-то нехорошего предчувствия, и с этим предчувствием я был вынужден приступить к работе, хоть было и не до нее: поэтому я только делал вид, что исправляю станок, а на самом деле все время выглядывал из электрошкафа и наблюдал, как Богданов подходит то к одному, то к другому, и все трясет перед ними своей затрапезной бумажкой, и как неистребимо хитры при этом Ильф и Петров его глаз, будто бы знавшие о моем присутствии и оттого ни разу не взглянувшие в мою сторону. Я силился разглядеть, пишут ли рабочие что-нибудь на бумажке, которую протягивал им Богданов, но он так ловко становился, что каждый раз заслонял почти всю картину спиной.

Вскоре он обошел всех рабочих и переметнулся на следующий участок, и я подошел к Мите Матвееву, единственному из этого цеха, с кем у меня сложились более-менее приятельские отношения. Митя смотрел исподлобья и продолжал увлеченно работать над своей деталью.

– Что он хотел? – спросил я.

– Кто? Богданов? – щеткой счищал Митя стружку.

– Ну.

– Подписи собирал.

– На что?

– А хрен его знает, – повернулся Митя к пульту.

– А ты дал? – наклонился я, чтобы видеть лицо.

– Нет, – грустным голосом ответил Митя, с негаданным пылом начав искать какую-то кнопку на пульте.

– Ну и правильно. Молодец! – сказал я. – Он хочет у меня кое-что взять на личные нужды, а я не даю. Вот он на это подписи и собирал, представляешь?

– Не надо меня втягивать в ваши козни, – попросил Митя, не оборачиваясь. – Даже слушать не хочу.

– И совершенно правильно делаешь, Митя, – согласился я с ним и перед тем, как снова взяться за ремонт, от хорошего настроения пошел скурить сигаретку.

Теперь можно не опасаться, думал я. Богданов проиграл.

5.

Тем не менее несмотря на то, что как минимум одной подписи у него уже не было, Богданов продолжал свою деятельность, и около пяти раз попадался мне на территории в обнимку с рабочими. Это удивительно – ведь я ясно сказал, что голоса нужны абсолютно все. Наверное, затеял хитрость – уж такой человек, можно всякое ожидать.

Вдруг я заметил, что ко мне поменялось отношение работников: теперь, где бы я ни шел, везде на меня смотрели Зощенки их лиц, бугристые, усатые и обстоятельные. В столовой все поворачивали на меня пьющие с ложек брови. Глупые еще и смеялись о чем-то, а неглупые засовывали мысли в карман и просто смотрели. В очереди со мной заговорил низкий электрик Гай-Боровский, непростой человек с голосом лошади, стриженый, как сторож.

– Нет, – сказал он посреди общего чавканья. – Ерунду ты затеял.

– Это почему же? – подтолкнул я поднос по поручням вперед.

– Потому что дурость какую-то, – Гай-Боровский смотрел на меня снизу вверх и пучил губы. – Зажилил Богданову два засратых автоматика!

Он поднял пластиковое стекло и взял себе салат, а я стекло придержал и вытащил на свет стакан кефира.

– Вот если бы у меня, – продолжал он, – кто-нибудь чего-нибудь попросил – я бы дал. Вот если бы ты, Электроник, – взял он мой локоть, – пришел и попросил чего-нибудь – непременно бы дал. Что я, враг, что ли, отказывать? Мне не жалко!

– Да мне тоже не жалко, – сказал я. – Вы все неправильно понимаете. Я не зажилил, просто – автоматы не мои.

– А чьи? – взглянул на меня волоокий электрик и обжег запястье вылившимся в рубашку супом, дрожащей рукой спускаемым на поднос.

– Ничьи, – сказал я. – Общие. – Выудил салфетку из салфетницы и протянул ему. – И будьте аккуратнее.

Гай-Боровский стер с себя салфеткой желтые жирки и продвинулся вперед.

– Ты не прав, Электроник. Надо людям помогать.

– Я помогаю.

Гай-Боровский поклонился раздатчику и запросил жаркое. Шуруя черпаком, раздатчик наполнил тарелку похожей на лягушачью икру подливкой и передал сквозь прутья буфета. Я себе первое и второе выбрал из предложенных на раздаточной стойке.

– Такую историю заварил нехорошую, – высказал Гай-Боровский, делая следующий шаг. – Посмотри, как смотрят, – он кивнул на работяг, чьи выскобленные глазки то и дело вешали на мою робу свои помятые галстуки. – На всю фабрику ославился.

– Да я и подумать не мог, что Богданов действительно пойдет собирать эти несчастные голоса.

– А что б и не собрать? – сказал Гай-Боровский, расписавшись в табеле и подняв свой обед с полозьев. – Надо же вразумить салажонка.

– Вот и вразумит, – улыбнулся я.

– Я тоже хочу тебе сделать замечание, молодой человек, – сказала кассирша, и это были ее первые слова ко мне за все время работы. – Разве так можно поступать!? Откуда такое бесчувствие? Заставил пожилого человека по фабрике бегать!

– Фабрика маленькая. – Я отдал ей талоны и взвалил на поднос два литра молока.

– А если я тебе сейчас молока не дам? – злобно спросила кассирша, положив на пакеты руку. – Заставлю подписи собирать?

– И правильно сделаете, – подвякнула круглая спина Гай-Боровского, унося свой обед.

– Вы все перепутали. Молоко я получаю за свою работу, а Богданов автоматы захотел украсть, – сказал я, но кассирша все равно меня не поняла, хоть и сделала такой вид. Она старалась смотреть сквозь свои глубокие очки на гвоздях так многозначительно, будто мы оба с ней были, что называется, Георгия Иванова и Ходаса ученики.

– Я не перепутала, молодой человек. Просто я не накормить людей не могу. У меня совесть не позволяет.

Я вызволил поднос из-под ее руки и сел в угол обедать в одиночестве.

Такова была реакция некоторых людей, с кем мне приходилось столкнуться в тот период.

6.

Вот я и ходил большой по маленькой, дочерна облепленной станками фабрике, и проходил шесть смен.

В тот день, когда пришел Богданов, бог вел себя как сокол и птицами кружил над головой. На территорию вламывался слоновий ветер, – падал с колючего забора и бился в стены, как в паруса, толкая фабрику. Он ревел громче производства и не щадил никого, кто пробегал между цехами, – слепо задевал и боролся, надувая штаны и телогрейку, пока не вынуждал встать к нему боком. Было холодно и тревожно, даже в моем сумеречном чулане, возле лампочки.

Я дремал, засунув ладони в подмышки и дыша себе за шиворот, и Богданов меня разбудил. Его по пояс окапала какая-то лужа, и он походил на шолоховского персонажа: сверху – обманщик, а снизу – леопард.

– Ну что, Электроник, вот и я, – сказал он, усаживаясь на любимый стол.

– Вижу, – постепенно просыпался я.

Из кармана Богданова выступал несвежий желтый листок. Богданов его засаживал пальцем, но листок все равно медленно выезжал вверх, поглядывая краешком на меня.

– По поводу нашего разговора, – сказал Богданов.

– Да, – ответил я, вынимаясь из тепла. – Я видел, что вы ходили и подписи собирали.

– Ходил, – признал Богданов, – общался с людьми. Очень полезно провел время.

– И как? Собрали? – тихо лежал я под горбатой робой.

– Собрал, – горделиво прищурившись, сказал Богданов и достал лист.

– Все?

– Все.

– Не может быть, – сказал я, поднявшись в сидячее положение.

Он отдал мне лист и скрестил руки на животе.

Лист был грязным, испакощенным сотней черных пальцев, и на нем мелким шрифтом был распечатан список фамилий всех работников фабрики, со следующей шапкой: «Разрешается ли Богданову А. В. взять на свои нужды два автомата на двадцать ампер?» Напротив каждой фамилии стояла роспись.

Пробежав список глазами, я убедился, что в нем действительно фигурируют все сотрудники, по крайней мере – все те, кого я могу знать. И подписи были поставлены разными руками – в училище я подделывал подписи одногруппников и научился в этом понимать.

– И Митя Матвеев есть? – я приподнял брови от удивления, а если не приподнял, то что-то во мне точно приподняло.

– Есть, – скромно сказал Богданов.

– Не может быть.

– Может, – заверил Богданов.

– Наверное, тут какая-то хитрость, – глядел я в листок, – только не пойму сейчас, какая.

– Никакой хитрости, – качнул пятнистым носом Богданов. – Я же говорил, что ты плохо знаешь людей.

Невозможное произошло. Оказывается, что с детства у меня неправильная картина мира, и фабрика полна коварства, а в особенности – ее Митя, смотревший голубем и вравший в глаза. Да и пусть, но остальные!

– Ну не могут же все одинаково думать! – сказал я.

– Могут, – ответил Богданов, – когда против тебя. Ты существуешь как заноза, и мы решили тебя поучить.

Я пусто смотрел сквозь него, чураясь глаз.

– Давай положенное, – сказал он, показав на полки.

– Не дам, – сказал я.

– Но ты же обещал! – заметно возмутился он.

– Я обещал только потому, что думал, что вы никогда не соберете подписи.

Богданов покинул стол и надвинулся на меня, и, чтобы избежать его, я встал.

– Значит, ты нечестный! – сказал он со специальной злобой.

– Наоборот, честный, что вы! – я зашел за стул, чтобы деть его между мною и Богдановым.

– И недобрый.

– Добрый! – и я действительно был добрый, как Скотт Фитцджеральд, особенно в душе.

– Как же добрый, если обманул? Причем не только меня, а всех! – Богданов взялся за стул. – Теперь я с тебя уже не слезу. Давай положенное!

– Но я же знаю, что прав!

– Прав ты или не прав, но у нас был уговор! Ты сам его придумал! – роптал, сжимая зубы, Богданов, весь совершенно зеленый, как садовая змея. Он высунул из свитера шею и развесил в воздухе ее плоскую задыхающуюся складку. – Мне что, всех позвать?

– Ну соберете вы своих борзописцев, – сказал я, – и что? Все равно не дам.

– Не дашь, да?! Не дашь?! – Богданов взял стул за потертые ножки и переставил на стол, освобождая пространство. – Тогда мы заберем силой!

Тут я с Богдановым разорвался и совсем перестал его понимать. Он говорил фразы, а я не видел в них конкретики. Фразы были обыкновенными, такими же как всегда, из тех же слов, но они ни во что не складывались. Я не понимал, что значит забрать силой, и что значит, что меня будут бить. Совершенно это ничего не может значить, как ни складывай буквы. Таких понятий нет.

Зато я понял наконец совсем, чего именно хочется этому человеку, и решил сдаться, – зачем я, собственно, упрямился, если так запросто можно сделать его счастливым, ведь в этом же и состоит работа электромеханика, если вдуматься.

– Идите в цех и ждите меня там, – сказал я, снимая со стены кувалду и кладя автоматы в карман. – Я вам все вынесу.

7·

И вот мы уже в самом низу моего рассказа, в седьмом цеху.

За высоким окном серел Шварц вечера, кремлем стоял воющий белый ветр. Цех был полупуст – конец смены, люди собрались домой. Богданов просматривался возле токарных станков на своем участке, и я направился к нему. Для привлечения внимания рабочих я с громким лязгом протащил тяжелую кувалду по металлическому полу, прибабахивая на стыках плит, но рабочие свое внимание держали при себе и за мной не пошли. Тогда я продолжил звать их, стуча кувалдой в один из станков Богданова, и махал так сильно, что рукоятка больно била в отдачу и вибрировала, выковыриваясь из рук. Родилась и пошла по цеху гулкая и зеленая, под цвет станочной краски, чугунная волна, в которой я мог стоять с трудом.

Устав, я отложил кувалду и посмотрел вокруг: писатели с подписателями выстроились под линейку около за мной. Их было много, десятков двадцать, и все одинаково одеты – как я, – но вместо того чтобы молчать, они говорили речи, и говорили столь же странно, как и Богданов, оперируя совершенно неконкретными понятиями. Брали обычные слова и строили из них бессмысленные, пустопорожние скопления. Я, конечно, старался слушать и найти какую-то связь, но так и не нашел, – и много смотрел. Изогнутые усталостью, увенчанные страшными головами, – я так их понимал! – уже конец смены, и я сам такой же уставший, хоть и мало работал сегодня. А вообще, если вдуматься, им намного тяжелее живется, чем нам, электромеханикам, – приходится заниматься ломовой физической работой, и отлынивать некогда. Они не виноваты в том, что произошло.

Я достал из кармана автоматы и передал их в руки Богданову.

– Ваши автоматы, – сказал я.

– И стоила борьба того, Электроник? – скалился Богданов, поместив автоматы в телогрейку.

Что значит стоила борьба?

Я лишь моргал в ответ и немного гладил свой лоб.

Все что-то говорили и говорили слишком много, особенно один дурак на периферии. Я не хотел его так называть, но ведь он дурак же, а я его от этого люблю не меньше. Он даже подошел и начал меня хватать.

Богданов остановил его и случайно совлек с него шапку.

А я закурил и сразу же выбросил – потому что бросаю.

Декабрь 2016

Квартира

В одной поистине симфонической, многолюдной и многонациональной, наверняка известной вам небольшой, но и не маленькой стране жил белорус по фамилии Чех. Ходил и в школу, и в институт, завязал разнообразные знакомства и вобрал в себя за молодые годы полную обойму привычек и потребностей окружающих его людей, сделавшись внутри них очень средним и равноправным гражданином. Жил он между тем крайне неуверенно и неспокойно, так как с той поры, когда стал зарабатывать, его не кончала грызть одна и та же навязчивая, прилипчивая мысль.

Это была мысль о квартире.

Чех проживал в заводском общежитии, где делил тесную комнату с соседом. Первые годы его ничто не беспокоило – он был молод и еще только присматривался к себе, но проработав в одном и том же месте несколько лет, Чех сообразил, что надо думать о будущем и готовиться к настоящей жизни. Он заметил, что тяготится общежитием и ежедневно пропадает на улицах до поздней ночи, потому что не любит долгое время находиться в комнате с посторонним мужчиной, с которым, к тому же, совсем не дружит. Настало время, понял Чех, совершить то, что рано или поздно совершает любой человек, – купить квартиру.

В киоске у проходной он взял газету с рекламой недвижимости и, придя домой, стал ее читать. Начиналась она с красочных фотографий домов и участков, которые Чеху очень понравились, и он не отказал себе в удовольствии тут же помечтать и представить себя на собственном участке возле тихой живой природы. Вдоволь помечтав и представив себя на каждой достойной фотографии, он просмотрел завяленные на них цены и пришел в замешательство, а потом в ужас, а еще потом в тоску. Оказывается, дома стоят невообразимо много – Чех никогда даже не думал, что что-то может так много стоить. Он горько посмеялся над глупыми объявлениями, особенно над более красивыми и дорогими, и, начав уже чуять свою беду, отлистал газету на квартиры.

Квартиры закончили начатое домами и перевернули Чеху жизнь.

Цены на них были несусветно, бесчеловечно высоки. Эти маленькие гробовые коробочки стоили ничуть не меньше, а некоторые – даже больше, чем иные дома! Даже самая простая однокомнатная квартира стоила столько, что у Чеха шла кругом голова.

– Что это такое! – глядел он на газету в своих руках и не понимал.

Он читал буквально каждое объявление и везде встречал удивительную корыстную сговорчивость квартирных продавцов. На равные квартиры цены были равны, а дешевле продавалось лишь то, что на квартиру своими внутренностями было похоже мало. Для примера он нашел самое дешевое объявление и посчитал, что с нынешней зарплатой даже на эту квартиру он может скопить лишь за сорок лет. А до выхода на пенсию, с ужасом вспомнил он, оставалось всего тридцать четыре года.

Чех сложил и спрятал газету в тумбочку и пошел бродить по улицам, где можно было собраться с мыслями.

Он курил и шагал вдоль тротуаров и глядел на свою жизнь с высоты сорока будущих лет. Она представлялась ему крайне неудовлетворительной. Неужели он до старости так и будет жить в общежитии, которое на самом деле должно быть не могилой, а только трамплином? Неужели никогда у него не будет, как у других людей, своей квартиры, не будет нормального отдыха и сна, кухни и ванны, и других обыкновенных удобств? Возмущенный, обиженный ум без устали мудрил, прикидывал, искал выход, как бы Чеху избежать выпавшей ему неудачливой финансовой судьбы, но как он ни примерялся к ситуации, как на нее ни взглядывал, ситуация неизменно казалась безвыходной, и все, что ему оставалось, – это смириться и учить себя откладывать. Даже заставить откладывать, если понадобится, притом так много, насколько можно. По существу, целенаправленным откладыванием он никогда не занимался, и все имеющиеся у него накопления отложились сами, явившись случайным отходом его довольно мотовской жизни, поэтому, если он научится хорошенько ограничивать свои траты, если он будет внимательно следить за каждым рублем, то наверняка сможет сократить срок и успеть купить квартиру хотя бы к пенсии.

Он начал считать свои расходы и первым делом посчитал, во что обходятся сигареты, а тем более – во что они обойдутся через сорок лет, и сумма получилась такой громадной, что он пришел в ярость.

– Это я что, свою квартиру прокуриваю, что ли? – глядел Чех на жалкий окурок в руках.

Он поклялся себе, что незамедлительно бросит, и бросил, – и если в будущем курил, то только стреляные.

Я буду экономить на питании, – считал Чех, куря на лавке три последние сигареты, – на проезде, на одежде. Я не буду покупать ни сладости, ни деликатесы. Я не буду ездить на такси и поездах и носить буду самое дешевое, и то пока не сотрется.

Он до позднего вечера вспоминал, на чем еще можно экономить, и не замечал ни прохожих, ни время вокруг себя.

С той поры он радикально поменял свою жизнь, и проживал ее под флагом сухой, аскетичной экономии, и об одном лишь жалел в своем поступке – что принял решение слишком поздно, ведь за несколько первых лет работы мог уже накопить большую сумму. Жалел он впоследствии часто и о многом и нещадно бичевал себя критикой всякий раз, как только вспоминал о любых неверно потраченных деньгах.

– Как я тратил! – вспоминал он о своем неразумии молодых годов. – Как я бессовестно много тратил!

Несправедливость жизни сделала его тихим, погруженным в себя человеком. Он приходил на работу, глядя в пол, с неохотой раскладывал дела и подолгу над ними вместо работы мечтал. К обладателям собственного жилья, работавшим в управлении вместе с ним, он относился с показным уважением, но это уважение граничило в нем с ненавистью, и он часто мог на кого-нибудь крикнуть без особенной причины. Так или иначе, но он проявлял на работе верность и ум, и за эти качества был избран на руководящий пост, и много лет с честью и старанием исполнял на этом посту свой долг.

В разговорах с сослуживцами он постоянно возвращался на тему жилья и все выведывал, как кто получил квартиру. Выяснялось, что почти все люди – или потомственные горожане, у которых квартира была с рождения, или, как он их называл, бессовестные приживальщики, – то бишь те, которым помогли родственники деньгами или смертью, – и это лишний раз убеждало Чеха в несправедливости его судьбы, ведь у него никого не было, а те, кто были, умирать еще не готовились.

Когда кто-то знакомый покупал квартиру, Чеха это глубоко задевало, и он странным образом делал так, чтобы больше с этим знакомым не общаться, убеждая себя, что виной тому не квартира, а дурные качества знакомого, каким-то образом начавшие лезть Чеху в глаза. Если он слышал, как карамельными, нежными голосами кто-то из сослуживцев обсуждает стройку, или ремонт, или покупку мебели, или другие приятные хлопоты, связанные с обладанием квартирой, то просто свирепел.

– На работе полагается говорить только о рабочих делах! А про свои заботы будьте добры пройти на улицу разговаривать! Таково правило! – кричал он, выскочив в коридор, хотя сам и не думал никогда выполнять такое глупое и неприятное любому человеку правило, которого к тому же, может статься, и не существует вовсе. Он чуть не силой гнал незадачливых болтунов подальше от своего кабинета, не забыв после всего громко хлопнуть дверью.

К женщинам он относился лучше, потому что был, все же, одиноким человеком, и одиночеством своим был недоволен. Некоторое время, когда он работал в общем кабинете, ему нравилась одна коллега, весьма красивая и во всех отношениях милая женщина. Она со своей стороны тоже проявляла к нему большую симпатию – всегда первая с готовностью приветствовала Чеха утром и прощалась вечером, не успевал он даже взять в руки плащ, не позабывала пожелать ему ни приятного аппетита, когда он собирался перекусить, ни здоровья, когда он внезапно чихал, и этими, а также разными другими ласковыми пустяками замечательно услаждала Чеху весь долгий рабочий день. Он часто на нее смотрел: ему нравилось, как она сидит, выпрямив свою тонкую спинку, за неудобным столом, и что-то вечно пишет, как она поглядывает из-под мягких светлых

локонов прелестно разрезанными глазами в его сторону и тут же пугливо их убирает. Эти глаза влекли его все больше и больше, и однажды он словил себя на том, что весь день не работает, но много и с радостью смотрит на них. Это, скорее всего, подумал он, любовь.

Столь полные и просветившие жизнь чувства впустил он в себя тогда, столь великую радость, что долго нигде не находил себе места. Подобно пьяному, он бесцельно бродил по производству, весело улыбаясь всем встреченным нелепостям, приседал и трогал пузыри на лужах, и во всем находил красоту – даже среди асфальта, бетона и в железных решетках росли необходимые его сердцу клочки свежей изумрудной травы. При виде каких-нибудь озлобленных, матерившихся друг друга людей, которые упрямо не желали между собой ничего понимать и договариваться, – когда договориться, казалось бы, так легко, так до смешного выполнимо, – его улыбка росла еще шире. Он качал головой, умудренно смеясь, и шел дальше, ничего им не сказав и не попытавшись остановить их спор, так как и без этого считал их прекрасными людьми.

Когда он возвращался в кабинет, то недолго в нем находился, потому что там лик возлюбленной стрелял по нему чувствами. Он смотрел, как она работает, слушал, как она разговаривает, и находил ее внешность безупречной, а голосок – в высшей степени чудесным. Какой-то расцвет в ней был, какая-то стихия, заставлявшая его плакать, – переполненный впечатлениями, он вновь выбегал.

Ему было не в тягость приходить раньше времени и засиживаться на работе допоздна – но только если любимая так же приходила и засиживалась. Он часто будто бы без дела шагал по кабинету, сунув руки в карманы пиджака, чтобы только подойти ближе к ее столу. Когда она выходила в коридор, он тоже выходил, будто нечаянно, и в тесном проходе всегда поворачивался боком, пропуская ее, а ведь на самом деле мечтал о том, чтобы задеть, прикоснуться! Он не мог жить без того, чтобы не пустить затяжной бравурный взгляд в ее сторону, и она, к его удовольствию, отвечала ему тем же взглядом, что позволяло Чеху надеяться, будто возлюбленная догадывается о его чувствах, и сама испытывает такие же чувства по отношению к нему. У него в мечтах они состояли в тайном кружке двух влюбленных сердец.

Много представлялось возможностей сделать шаг и раскрыть ей душу, но всякий раз Чех видел причины не делать этого.

Когда он думал, куда ее пригласить, то вспоминал о своем общежитии и грустнел, а когда думал о ресторане и цветах, то его настроение совсем падало в пропасть. У нас будет семья, рассуждал он, нам нужна квартира. Я не могу вести ее в ресторан, ведь думаю о большем. Лучше сначала насобирать, а потом уж идти.

Ведь ей и так все известно, убеждал себя он. Ведь ей не надо ничего говорить. Она все знает и понимает и с удовольствием ждет, когда я накоплю на квартиру, – ведь у меня так здорово получается копить. Пусть пока все остается, как есть, ведь нам и так очень хорошо. Мы постоянно улыбаемся друг другу и храним свою тайну, и всегда будем вместе.

Потом появился шофер, развязный, несимпатичный и, по мнению Чеха, весьма дураковатый. Он стал часто заходить к ним в кабинет, и вначале Чех не очень понимал, зачем, но скоро понял. Шофер вился возле возлюбленной Чеха, и донимал ее дрянными остротами, и донимал с возрастающей силой, так, что она не могла отбиваться от столь беспардонного напора и обязана была отвечать. Чех лопался от злости и бунтовал против наглеца-шофера, но при нем не мог вымолвить ни слова.

Однажды он все же не вытерпел и сказал, когда шофер покинул помещение:

– Зачем к нам повадился этот фигляр? Гоните его в шею!

Он говорил в воздух, обращаясь будто сразу ко всем, но смотрел только на нее.

– Это не ваше дело, господин письмоводитель, – твердо сказала она, приподняв голову и зажав в ладони ручку.

Чех открыл рот и потерял все слова, что готовил против шофера. Он хотел бы вжаться в стол, немедленно пропасть из кабинета, улететь, умереть, крикнуть что-нибудь во весь голос, но он ничего не мог, только сидеть на стуле и опускать голову ниже.

Неужели она это сказала, вращал он глазами по бумагам. Неужели?

Не веря этому, он снова поднял глаза, но она на самом деле обиделась и неколебимо писала какой-то документ.

Как? – вопрошал он себя, распластав руки на бумаге. – Она? И с этим шофером? С этим невзрачным, некрасивым, с этим дураком? Да он же просто недостоин ее! Он алкоголик! Он ведет себя неприлично! Не умеет даже говорить! Как можно? Это ведь самый последний вариант!

Он снова и снова всматривался в свою любимую, увиденную в новом обстоятельстве.

А я? – с болью спрашивал Чех. – Как же я? Мы же так переглядывались, так перемигивались! Я улыбался и думал, что ты улыбаешься! Я думал, что ты только обо мне думаешь! Что только меня любишь! А ты! За моей спиной! Шашни! С таким человеком! – Чех положил ладонь на лоб, чтобы спрятать глаза и самому спрятаться от окружающих. – Какое предательство!

Он выметнулся прочь из кабинета и долго не мог прийти в себя, сидя на закрытом колодце и стреляя у рабочих сигареты.

Глубина выявленного предательства повергла его в кризис. Если раньше он чувствовал, что на работе всегда есть кто-то на его стороне, то теперь он остался один против всех.

Ему стало плохо с людьми, и особенно страшно – со своей былой возлюбленной. Когда он думал о ней, и даже не то чтобы думал, а только приближался мыслью к тому, чтобы подумать, то испытывал тяжелые душевные судороги, выворачивающие ему все органы из гнезда. А если он напрямую смотрел на нее, то подымались уж воистину великие корчи, подымались и рвали рогами нутро.

Теперь он избегал ее, где только мог, и если она входила, то старался выйти, а коль уж приходилось быть вместе, то, объятый ужасной скованностью, даже не поднимал головы от своего стола. Полуприкрыв глаза, он покачивался на стуле и пробовал сосредоточиться, но его по кругу донимали одни и те же мысли.

Он ни разу не подумал о том, что можно ее простить, что можно войти в ее обстоятельства и объяснить их. Не подумал, что сам, возможно, несет часть вины за непонимание, что любимая не могла знать, что у него на душе, ведь он ни разу ей не раскрылся, что она, в конце концов, слишком долго была одинокой. Он этого и знать не хотел, его беспокоила лишь своя огромная боль. Все, что он чувствовал, было лишь одно противное, вероломное, первостепенное предательство, и он никогда не простил ее за то, что развалился его кружок, этот единственный светлый приют для двух невыносимых одиночеств.

К счастью, вскоре его перевели, и он мог с ней больше не видеться, так что рана медленно, но зажила, и чувства пришли в порядок.

С тем большим пылом он посвятил себя квартире.

Накопление стало его главным трудом, его первейшей обязанностью и его высшей задачей. Собирал он прижимисто и твердо, до конца уяснив смысл и механизмы этого дела. Он запретил себя абсолютно все товары, за которыми не стоял вопрос о первейшем выживании, и даже повернул свои потребности так, что перестал в них нуждаться. Он не питался в столовой и носил еду на работу с собой. Он покупал только самое недорогое и почти не ел мясо, а также масло и сыр, и консервы, и фрукты, и все другие продукты, которые можно заменить дешевыми. Он заботился, чтобы одежда носилась как можно дольше: при ходьбе шагал широко и не махал руками, чтобы не перетерлись рукава и штанины, не шаркал ногами, сберегая подошвы, мало сидел, чтобы пиджак и брюки не залоснились, и вообще в парадном костюме старался ничего не касаться. Умел он и ухаживать за одеждой: очень аккуратно ее стирал, чтобы не навредить ткани, по возможности без мыла и порошка, вместо глажки научился складывать вещи так ровно, что не оставалось ни одной морщинки, и два раза на дню, не меньше, чистил тряпочкой туфли. Так он по многу лет носил свои вещи, и если одна из них приходила в негодность, то долго не мог решиться на замену, настолько к ней привыкал. Поэтому его очень огорчало, если вдруг, по невнимательности, он сажал себе пятно или дырку – в особенности дырку. Такая ситуация могла довести его до слез. Он не мог простить себе рассеянность и наплевательство и корил, безжалостно корил себя гневом и раздражением, попутно проклиная всех, кто допустил на улицах торчащие гвозди и острые жестяные углы.

Покупать новые предметы Чех избегал до того, что порою не имел даже самых, казалось бы, необходимых – таких, например, как кухонный нож, который он не покупал, потому что всегда мог одолжить у соседа по комнате. Одалживал он у соседа также и сковороду, и большую кастрюлю, и таз для белья, и ножницы, которыми стригся. И мыльницы у него не было, и мочалки, и ручки не было, чтобы писать, а был вместо нее какой-то погнутый стерженек. Он даже брился экономно, раз в три дня, тогда, когда щетина уже делала его похожим на араба, а если третий день падал на субботу или пятницу, то ждал понедельника. Бритву при этом он не менял до тех пор, пока она не начинала вместо бритья дергать волоски из корней, и даже ею он все равно брился еще много недель, превозмогая боль и очень не уважая тех мужчин, которые первыми ввели абсурдный франтовской обычай ходить бритыми и своейали зпт глупостью вынудили его терпеть столько пыток и унижений.

Телевизор в комнате также был соседский, и микроволновка, и электрочайник, и настольная лампа. Сосед заботился о том, чтобы покупать приправы на кухню, масла для жарки, моющие средства, порошки, туалетную бумагу и все другие бытовые мелочи, вроде штор, замков, губок, полотенец и посуды, которыми Чеху позволялось беспрепятственно пользоваться, – что он и делал с бесстыдством и жадностью. Вопреки тому, что сосед так много Чеху дал, Чех его не любил и испытывал счастье, когда получалось остаться в комнате одному. Ведь тогда он мог смотреть любую передачу, какую захочет, мог заходить на территорию соседа, мог разложить на кровати и пересчитать свой конверт. О, этот конверт! Пачка в нем была нетолстая, но сколько она значила! Чуть не каждый день Чех доставал ее, чтобы убедиться в том, что ничего не пропало, и, вжав от наслаждения голову, как вжимает голубь в свою крылатую спину, перелистывал купюры разного роста и длины. Он столько раз их видел, что знал все пятнышки и рванышки, а общественные деятели, показанные на них, стали ему известнее отца с матерью.

Он мечтал о легких деньгах, могущих совершить скачок в его медленном накоплении. Воображение часто рисовало ему, как он находит кошелек или просто бесхозную купюру, воткнувшуюся уголком в цветочную клумбу, но находил он все больше монетки, да и то такие, что другим за ними просто было лень наклоняться. Однажды он мог заарканить удачу, когда на улице из заднего кармана впереди идущего мужчины действительно выпал настоящий кошелек, но Чех мгновенно струсил и поспешил кошелек отдать, и только потом сообразил, какое проявил тупоумие.

На работе у него было такое положение, что некоторые с легкостью умели бы на его месте что-то украсть, – но он не умел, потому что не знал, с чего начать. Зато ждал, что кто-нибудь неробкий придет и сам даст ему взятку, и немного обижался, что никто из пришедших ее не дает, отчего был с ними сердит и помощь предоставлял без удовольствия и скупо.

Шло время, менялись соседи в общежитии, переезжая кто куда, и к удивлению Чеха, все они ехали на свои квартиры, – либо на взятую в приданое с невестой, либо на родительскую в другом городе, – но у них получалось решить дела наилучшим образом. Зависть давно стала главным чувством, питающим Чеха, поэтому о ней ничего нового сказать здесь нельзя, – это была та же зависть, что и ко всем прочим счастливым гражданам, которых Чех называл везучими дурачками, урвавшими жилье на дармовщинку, – но к зависти примешивалось растущее недоверие, ведь его деньги незаметно росли, и если первому соседу, человеку, как оказалось, далеко не худшему, он еще доверял, то всем последующим, которые были один ненадежнее другого, – уже не мог.

Кончилось тем, что к нему поселился один совсем уж кошмарный человек – пьяница, дебошир и грубиян в одном лице, – что Чеха, конечно, совершенно не устраивало, ведь с таким ветреником в комнате должен был постоянно находиться конверт. Поэтому Чех на работе только и думал, что о конверте, а остальное время сидел дома, на матрасе, под которым конверт хранился. Так ему было спокойнее.

Сосед этот, по фамилии Севелев, поначалу еще как-то держал свое поведение в общественных границах и в комнате не выпивал и не буянил, но видя, что Чех сутками сидит на своем матрасе и, можно сказать, мешает жить, стал позволять себе все больше и больше, а вскоре и вообще все. К нему начали приходить дружки, приходить часто, по три раза на неделю, и закатывать гуляния,

на которые невозможно смотреть приличному человеку. Иногда они звали Чеха участвовать, но Чех отказывался и полулежал спиной на худой подушке, соединив руки на груди и подглядывая за мерзкими застольями. Когда дружки стали в иные вечера спьяну стелиться на полу и ночевать в комнате, Чех решил, что деньги больше оставлять нельзя, и тайком в туалете пришил карманы на свое белье, чтобы носить конверт с собой.

Это его не спасло: носить конверт на работу и на улицу оказалось столь же страшно, а в некоторых местах, вроде магазинов, где были густые скопления лиц, даже невыносимо, и отныне подозрения грызли Чеха везде. Он так волновался, что ему несколько ночей снились грабители, и снились так достоверно, что он просыпался в глубокой панике, дрожа от отчаяния, но, осознав, что все это лишь сон, смеялся от счастья и облегчения.

Оказалось, что грабители снились совсем не зря, потому что в одну дикую ночь Севелев с дружками на него напал.

– Чех! – тряс его кто-то среди сна. – Чех!

– Что? – встрепенулся Чех с еканьем в сердце. – Что случилось?

– Дай денег, – сказало ему темное расплывшееся лицо. Это было лицо Севелева, за ним стояло еще два лица.

– Денег? – переспросил Чех, выгадывая время, чтобы сообразить. – Каких денег? Зачем?

– Ну денег, – сказал Севелев. – Обычных.

Чех автоматически покосился на конверт, оставленный в тайном кармане висящей на стуле рубашки.

– Что, они там? – спросил Севелев.

– Т-там? – вздрогнул Чех. – Что – там? Там нет, ничего нет.

– Да ладно тебе! Покажи!

– Н-не дам-м! – Чех нагнулся с кровати к рубашке, но негодяй перехватил и задержал его руки, и взял рубашку сам.

– Что? Что вы делаете? – Чех потянул на себя рубашку и вцепился в ладони грабителя, но тот легко отпихивал слабого, как ребенка, Чеха и разворачивал скомканную тряпицу. – Нельзя! – надрывно крикнул Чех.

– Тс-с-с! – шикнул Севелев. – Не шуми!

– А-а-а-а! – заорал Чех. – Помогите! Грабят!

Севелев задрал кулак и быстро опустил его Чеху на темя.

– Да сядь ты, кому говорят! Успокойся.

От удара у Чеха встряхнулись и заболели мозги.

– Что это происходит! – рассердился он и оголтело замолотил по врагу. – Отдайте! Отдайте мне! – пыхтел он, нанося удары. Севелев защищался локтем, и Чех целился через поднятый локоть ему в скулы, в глаза и в щеки. Лицо Севелева было таким же твердым, как и его намерения, а Чех удары в темноте наносил неверные, только руки об скулы ломал. На напор его был безудержным, потому что он бился за весь свой смысл.

– Да дай ты! – отбивался Севелев. – Дай посмотреть!

Чех увидел, что внимание грабителя ослабло, и рубашка держится в его руке уже не так крепко, и мгновенно выдернул ее, и прижал к груди, ощупывая конверт.

– Мужики, вы что? – тихо спросил он. – Одурели?

Севелев был спокоен, драка с Чехом его как будто совсем не взволновала. Он снова взялся за рубашку.

– Что, жалко денег своих? – шептал он, разнимая руки Чеха. – Жадюга ты. Единоличник.

– Вы одурели?! – повторил Чех. – Я сейчас позову!

С боков Севелева выступили дружки и в два счета высвободили рубашку, разведя по сторонам и заблокировав Чеху руки.

– Нет! – сопротивлялся Чех. – Ну нет! Ну нет же!

Со сна еще не привыкнув к темноте, к слабому свету дальнего уличного фонаря, полосами проникавшему сквозь шторы, Чех не различал всей картины и видел только расплывчатые,

меняющиеся фигуры, посреди которых вертелось белое пятно рубашки, трясущее над полом рукавами. Ужас и печаль объяли беспомощного, зажатого двумя сильными телами Чеха, весь страх, вся хищность и злоба жизни восстали перед ним, и он умер бы прямо в тот же миг в своей кровати, если бы подспудно не готовил себя к такому сценарию.

Вот оно, закрыв глаза, горько подумал он. Вот и пришли за моими денежками! Теперь у меня их больше не будет! А ведь я так и знал! Я так и знал, что так будет! Ведь знал же! Только про это и думал! И не уберег! Хоть бы из кармана вынул! Как я непредусмотрителен! И что мне теперь остается? Как я теперь буду жить?

Он открыл глаза и покосился в окно, на попадающий в комнату город. Виднелся угол дома, населенный людьми, – окна в нем бесстрастно светились жизнью. Качались деревья, ездили автомобили, а Чеха грабили прямо в его комнате.

– Какой у тебя карман есть интересный, – сказал Севелев.

– Мужики! – простонал Чех. – Ну мужики! – Он изменил тактику и попробовал выдать себя за их наперсника. – Ну неужели вы меня ограбите?! Ну неужели вы такие подлецы?

– Будто в первый раз! – рассмеялись грабители.

Конечно, – пронеслось в голове у Чеха, – они тоже не хотят всю жизнь работать, и всю жизнь, как чокнутые, копить и копить и копить, как я. Вот и нашли простой способ – ограбить меня. Но ведь до чего это безжалостно! До чего бездушно! Как это они так просто могут брать и грабить? Почему они не ставят себя на мое место? Не думают о моих чувствах? Ведь нельзя же причинять такие страдания человеку человеком! Это уже даже больше, чем страдания, для этого и слов не найдется, чтобы назвать! Это зверство какое-то, это каннибализм! Я же всю жизнь копил!

– А-а-а-а! – страшно завопил Чех и забился под грузом. – А-а-а-а! Гра-абя-я-ят!

– Да стой ты! – успокаивали они его. – Стой же ты! Ну полежи, ну чего ты такой!

– Ну нельзя это! Нельзя! – разрыдался Чех. – Это на квар-ти-ру!!!

Севелев кончил ковырять рубашку и вытащил конверт, при виде которого удивился, хоть удивление ему было, честно скажем, не свойственно.

– Посмотрите, парни, – показал он. – И правда – на квартиру.

– Ты что, совсем сдурел, Чех? – спросили дружки, по очереди заглядывая в открытый конверт.

– Нам на твою квартиру не надо, – сказал один. – Нам десять рублей только.

– Ну, может, двадцать, – добавил другой.

– На выпивку, – сказал Севелев, осторожно глядя на крупные деньги. – А ты что делаешь? С ума сошел?

– На выпивку?! – спросил Чех. – На выпивку?!

И такое нахлынуло на него облегчение! Такая радость! Столько благодарности было в его голосе! Все вдруг разом поменялось, и вспорхнуло, и закружилось в ликовании, как праздник Новый год, а ведь это всего лишь у Чеха было внутри!

– А ну-ка выпустите меня, ребята! – зашевелился он. – Сейчас я вам дам на выпивку! И даже больше дам! Что ж вы мне сразу не сказали!

Он весело перенял у Севелева конверт и достал одну купюру, а затем, помедлив, еще две.

– Берите, хлопцы. Берите. Мне не жалко, – раздал он каждому и просунул в ладонь по свернутой деньге.

– Да что ты, Чех, – колебался Севелев. – Да не надо. Много же.

Чеха это не волновало. Он поднялся на кровати выше, откинулся на изголовье и с улыбкой глядел на благородных молодых разбойников.

– Как вы меня напугали, хлопцы, – смеялся он, взявшись за щеки. – Как же вы меня напугали.

Он не знал, как им еще выразить свою благодарность, и потому тихо поаплодировал, сунув конверт подмышку.

– Браво, хлопцы. Браво, – сказал он.

Он покосился в окно, и увидел город, в котором ему снова выпало жить. Второй шанс побороться. Город по-прежнему был бесстрастен, но уже с большей теплотой, потому что в городе было одно особое общежитие, а в нем – одна особая комната, в которой сидел на кровати

и смотрел в окно Чех, которому в данный момент на душе было очень тепло, ведь у него не было ничего, а потом вдруг снова стало все.

– Как же я рад, – снова обратился он к своим непутевым грабителям.

– Да мы сами потрясены, Чех, е-мое, – сказал Севелев. – Ты думал, мы тебя ограбим, что ли? Совсем, что ли, все деньги заберем?

– Ну ты даешь, – согласились с Севелевым дружки.

– Я не знаю, – признался Чех, опустив на одеяло руки. – Совершенно ничего не могу сказать.

В голове у него было светло и пусто, и ни одна мысль не могла составиться на такой почве.

– Ну, в общем, мы тогда пошли, – поднялся Севелев. – Извини, если что.

– До свиданья, – нежно попрощался с ними Чех, не вставая с кровати. – Сами извините.

– Спокойной ночи, Чешичек, – сказали они и вышли.

Чех понял, что больше в кармане деньги носить не нужно, и вернул конверт под матрас, и лег спать.

После этого случая он, конечно, не перестал сходить с ума по квартире или постоянно считать свои деньги, но что-то все же изменилось в его жизни, что-то, чего он сам и не заметил.

Время от времени, редко, но иногда он стал себе понемножечку позволять.

Да, он мог ходить всю неделю как окунутый, будто раньше, но потом пойти и купить себе что-нибудь сладкое, а то и раз в месяц шляпу какую-нибудь прикупить, или перчатки, а то и вовсе – безделицу в подарок родителям. Он не стал снова курить, или, положим, выпивать, – нет, ничего такого, просто чуть-чуть себя баловал. Ведь квартира была так далеко, а жить ему хотелось сейчас.

По праздникам он ходил в город и кушал угощения, купленные в праздничных лотках, и подолгу смотрел на людей, а с особенной приязнью и долготой смотрел на то, как играют дети.

Оказывается, дети – чудесные создания! Такие прелестники – просто на зависть! Их ничто в жизни не смущает, не случается у них нашей апатии или настоящей, долгой вражды, или злобы, зато сколько разных вещей приводят детей в восторг! Сколько у них игр и как они ими увлекаются! Когда дети играют, то играют так интересно, что смотреть за игрой – одно сплошное удовольствие. Оторваться – невозможно. Никогда они не могут соблюсти все правила, вечно что-то выдумывают, перевирают, отвлекаются, не доводят игру до конца и начинают новую. Так любопытно наблюдать! Однажды Чех видел, как дети рисовали себе классики, и до того увлеклись, что забыли о самой игре и нарисовали сорок три классика.

– Сорок три! – считали с веселым смехом дети, нумеруя толстым осколком мела косо очерченные клеточки.

– Сорок три классика! – смеялся с ними на своей лавке Чех. – Ну дают!

На их игру никакого тротуара не хватит, если они разгуляются.

И вот в одно воскресенье Чех решил последовать примеру детей и сводить себя на какой-нибудь аттракцион. И так его эта мысль с самого утра пригрела, что настроение у него вышло бодрое и торжественное, под стать наступающему дню. Он надел свой единственный выходной костюм, купленный девять лет назад, все еще ноский и даже почти как новый, а голову накрыл старомодной и элегантной шляпой, и в этом наряде почувствовал себя варварски красивым. Он спустился из общежития и пошагал в парк по светлому сухому тротуару, и шагал энергично и свободно, помахивая овеваемыми прохладой ладонями и натопленными солнцем полями шляпы. Вскоре у него в руке появилось мороженое, а за ним – стреляная по случаю хорошего настроения сигарета.

Так он и добрался, весь овеянный дымком, с отличным горько-сладким вкусом во рту, к небольшой двухоконной кассе, к которой вели все парковые дорожки, и о которой издалека давала знать длинная очередь из детей, увешанных сладкой ватой и блестящими, словно фольга, шариками в виде коней и дирижаблей. На раскинутых ставнях кассы крепился вычурный, оформленный под сказку перечень цен на аттракционы, который Чех, прежде чем стать в очередь, решил изучить.

Названия ему понравились абсолютно все. Каждое из них хотелось Чеху посмотреть, за каждым, казалось, скрывается что-то необыкновенное.

Только представьте себе:

Часики!

Центрифуга!

Колесо обозрения!

Зиг-Заг!

Сафари!

Веселые Горки!

Все было очень заманчивым. Чех действительно не знал, с чего начать, ведь эти таинственные аттракционы казались ему совершенно равноценными, и потому решил отобрать самый недорогой из них, наверное, в силу своей закоснелой привычки. Для этого он пальцем, чтобы лучше видеть в уме, провел по всем ценам, и опустился в конец перечня, где нашел самый последний аттракцион, который и был самым дешевым, и назывался комната кривых зеркал.

– Комната кривых зеркал, – повторил шепотом Чех, пробуя название.

Комната. Чех с завистью подумал, что даже в парке есть своя комната. Он представил красивую и большую комнату, убранную зеркалами, отчего вся она блестела и сверкала и казалась наполненной бесконечным светом. В ней всегда уютно и тепло, и тихо, и в нее ходят те, кому не хватает уюта и тепла, и тишины.

– То, что надо, – решил он. – Специально для меня.

Он стал в очередь, играя монеткой, и монетка то и дело падала из рук, настолько он сгорал от нетерпения скорее увидеть свой аттракцион. Выстояв, он протянул горячую монетку в окошко и получил квитанцию с отрывным корешком.

– А куда мне теперь идти? – спросил он тусклого, едва видного за решеткой и пластиком кассира.

– А туда, видите, сарайчик такой стоит полосатый, прям в конце, – указал направо кассир.

– Вижу, – автоматически признался Чех и пошел в том направлении, хотя сарайчика еще не разглядел.

Столько было людей всюду, что невозможно ничего понять, – где какой аттракцион, где какой сарайчик? Люди гарцевали на конях, по небу носились гигантские гроздья шаров, неразбериха, суета, толкотня. Но нет, вот он, вот сарайчик, выплывает из деревьев и ларьков, сине-бело-полосатый, как веселая конфета. Чех зарделся от волнения, и по траве, наперерез, ускорился к нему.

Сарайчик приближался, и это был замечательный, первостатейный сарайчик. Большой и разукрашенный, с развернутыми по краям полотнищами. И вроде бы, на первый взгляд, возле никто не стоял.

Тем лучше, обрадовался усердно работавший ногами Чех. Буду один.

– Так и надо, – сказал он с небольшим придыханием.

На складном стульчике у входа сидел молодой оператор комнаты, одетый в бейсбольную кепку и шорты. Чех отдал ему квитанцию. Оператор взглянул на нее ленивым серым глазом, нехотя поднялся, расправив волосатые ноги, и отстегнул цепь от столбика. Чех поблагодарил его, снял шляпу и зашел внутрь.

Там он увидел себя в сотне смешных зеркал. И стало ему так смешно, как давно уже не было – буквально готов был лопнуть со смеху. Он не выдержал и громко, во все горло расхохотался.

Май 2017

Сергей БОРОВИКОВ

МОЙ ТЕАТР

1

За свою семидесятилетнюю жизнь я так редко бывал в театре, что помню, кажется, все спектакли. К тому же посещение театра для меня почти всегда сопряжено с разочарованиями. Нет, в свое время я бывал и в БДТ, и в Большом, и на Таганке, и даже в его шумном отростке – театре Спесивцева, но всё же сохранял настороженность к обновленному храму искусства. И не то чтобы мне так уж нравились салопы Малого, но ещё более раздражало, когда бессмертные слова Островского произносили в трусах. И, наблюдая восторженный прием публики, я мог поклясться, что он вызван не трусами (как и в Малом не салопами), а именно этими словами, которые зрители явно слышат впервые. То есть современные постановщики как бы присваивают себе успех великого драматурга. А уж если всё новаторство заключается в том, что зрителей сажают на сцену, а актеров в партер, делалось неловко за постановщика. И еще вынужден признаться: от долгого сидения у меня болит спина, и... словом, не люблю я ходить в театр.

Прошу у возможного читателя прощенья за то, что в этом тексте я часто отвлекаюсь от Мельпомены, такая уж меня за долгие годы выработалась манера письма.

2

Первое театральное впечатление – Баба-яга в саратовском ТЮЗе в исполнении Валентины Немцовой. Какие-то вспышки зеленого и красного, теряющиеся в черноте сцены. Очень-очень страшно.

Спустя много лет, когда я был молодым литератором, а Валентина Семёновна – пожилой заслуженной актрисой всё того же ТЮЗа, мы встречались с этой милой, очень русской женщиной на так называемых семинарах творческих работников при горкоме партии, о которых я, кажется, уже писал. И муж ее Александр Митясов тоже много лет отдал службе в ТЮЗе, не став при этом даже заслуженным. Почему? А почему обком не позволил театру занять Митясова в роли Ленина? Потому что Митясов не только был на фронте, он был еще и в плену. А исполнителю роли вождя полагалось быть без пятнышка в биографии.

Мне как-то рассказывал актер театра драмы Борис Белов, как был исполнителем роли Ильича, кажется, в Йошкар-Оле. Правда, в сетевых справках о Борисе Ефремовиче Йошкар-Олы нет, но как им верить, если там сообщается, что Белов играл вместе с начинающим Олегом Янковским в Иваново, хотя дело было в Саратове.

Ленина играл Белов, по его словам, недурно, и главный режиссер рассказывал ему, как секретарь обкома после спектакля сказал: «Хорошо Владимира Ильича ваш артист играет. Настоящий артист, думающий». Если бы он знал, сказал режиссер, что ты всегда думаешь только о том, у кого занять пятерку и какую бабу трахнуть.

С Борисом Беловым мы познакомились, а потом и подружились, несмотря на значительную разницу в возрасте, на курсах водителей маломерных судов. И лодки у нас стояли на одной базе под Дегтярным взвозом. Много я услышал от него театральных баек. И в лучшем, и в худшем это был настоящий актёр актёрыч, словно персонаж Островского или Чехова. Порой общаться с ним было легко, порой не очень.

Однажды моя первая жена, которая имела (кажется, и сейчас имеет) слабость сватать своих родственников, подруг и знакомых, подыскивая подходящие с ее точки зрения пары, решила его познакомить со своей подругой Таней Г. Ни тогда не мог понять, ни тем более сейчас, через сорок лет, соображения и мотивы моей бывшей жены в игре «давай поженимся».

Так, прежде Белова кандидата в Танины мужья жена почему-то увидела в моем старшем друге, известном московском критике и историческом романисте, холостом Олеге Михайлове, так страшно закончившем свои дни, сгорев вместе с переделкинской дачей в 2013 году.

У Олега была игра (у него много было разных игр) жаловаться на холостую жизнь, вслух мечтать о женитьбе, называть всех близких девиц непременно невестами. В конце концов он заигрался и впрямь женился на девушке, приведенной ему легендарным поэтом и сутенером Сергеем Чудаковым. И на какое-то время у него возникла видимость семьи в выторгованной какими-то чудесами четырехкомнатной квартире в котельнической высотке окнами на Ивана Великого. Родилась и подрастала на радость пожилому отцу дочь. Олег неустанно писал, еще более неустанно издавался, угождая молодой жене, все более входившей во вкус богатой жизни. Кончилось все тем, что постаревший и все менее способный добывать требуемую уйму денег Олег оказался помехой на пути к еще большему благополучию. Тина (так ее звали – сокращенно от Валентина) сумела выставить мужа с Котельников, сдав хоромы японцам за какие-то безумные деньги, и, кажется, уехать в Америку. Я был у него на даче в той части Переделкино, где оно именуется Мичуринцем. Рядом дача Окуджавы. Несмотря на возраст (было ему тогда крепко за шестьдесят) и принужденное одиночество, так же звенел его голос, выпив, он так же кричал здравицы в честь русских императоров и товарища Сталина, а когда пошли за добавкой и магазин был заперт, стал колотить клюкой по окнам, пока нам не открыли.

Но в истории с Таней Г. Олег был еще совсем не стар – около пятидесяти, имел хорошую двухкомнатную квартиру на Аэропорте, куда к нему и явилась саратовская соискательница.

Но здесь для понимания ситуации надобно пояснить, что Таня была в высшей степени нетерпеливой, избалованной с младенчества тридцатилетней дамочкой. И здесь же сообщить про распорядок дня Олега. Как бы ни сложился у него вечер, когда и в каком виде он ни лег спать, просыпался ни свет ни заря и долго бродил по в квартире босой в короткой ночной рубашке. Находившись, опять ложился спать, просыпался часов в одиннадцать, вставал, завтракал и принимался за работу.

И я наказал Тане, чтобы она ни в коем случае не являлась раньше полудня, да и то предварительно позвонив по телефону.

Фирменный саратовский поезд номер 9 много лет прибывает в столицу в семь часов и двадцать минут утра. Поезд для деловых людей – чтобы все с утра успеть. Вот Таня и успела.

Сколько понадобится времени, чтобы со станции «Павелецкая-радиальная» доехать до станции метро «Аэропорт»? В десятом часу утра Таня позвонила в писательскую дверь.

О случившемся сама невеста потом рассказывала, что хозяин открыл ей дверь угрюмый, заспанный, в короткой ночной рубашке, из-под которой виднелись мужские части, и услышав от меня привет, выхватил у нее из рук тяжелый пакет и дверь захлопнул.

Спустя время я получил от Олега письмо: «Дорогой Серёга! Спасибо за бесценный дар: я только вчера развернул пакет и ахнул – ну и сила! Я сейчас закрутился с некоей невестой – девицей 19 годков, которая что-то уж слишком расчетливо хочет меня прибрать к рукам. Ну, да я мальчик уже тертый и этого не страшусь». Все «невесты» в его вкусе были худые и молоденькие, по выражению одного нашего ленинградского приятеля – «карандашики».

То есть в самый худший для хозяина час суток является очень толстая (Таня страдала ожирением с подростковых лет) тридцатилетняя тетка с пакетом и передает от меня привет. Пакет был воспринят Олегом как этот самый привет. Но и подобья такого привета я бы никогда не смог соорудить. Его собирал отец Тани, безмерно поглощенный мыслью устроить счастье дочери старый еврей, хирург, служащий между прочим в больнице КГБ на улице Пушкина. И были в свертке кусок черной паюсной икры, копченые саратовские стерляди и мерная астраханская вобла.

Однако возвращаемся к Белову, которым наша сваха тоже заинтересовалась. Я предупредил её, что Борис Ефремович женат, она посоветовалась с Таней, и они решили попробовать, может быть что-нибудь хоть так выйдет, настолько лестно было знакомство с актером, снимавшимся в кино.

Почему был выбран ресторан «Европа»? Может быть потому, что через дорогу, в пятиэтажной «сталинке» обитал жених? Но для чего ему сватовство, или «хоть так», рядом с домом? Или я все позабыл, а столик был снят без расчета на Белова, который возник в процессе застолья и перебежал улицу по моему телефонному звонку угоститься на халяву?

Память, конечно, уже подводит. Но про рестораны все хорошо помню. «Европа» размещалась в дореволюционном двухэтажном доме, примыкавшем к трехэтажному зданию, до сих пор уцелевшей и сохранившей имя со времен царизма гостинице «Европа». Ресторан был знаменит слепым аккордеонистом, которого после закрытия уводила под руку одна и та же женщина. Спустя много лет, когда «Европу» уже снесли и на ее месте воздвигли гигантский торговый центр, слепой музыкант возник в лучшей тогда пивной «Ледок», у Волги, публика там была уже не та, и я был свидетелем, как два выпивших явно не саратовца, заказав слепцу чардаш Монти, грозно предупредили его, чтоб сыграл весь танец без сокращений. Кстати, припомнил сейчас, что во втором этаже «Европы», где подавали разливное пиво, что для ресторанов было редкостью, я не раз наблюдал актера ТЮЗа Александра Митясова, о котором речь шла в начале, мрачно сидевшего за большим графином водки.

Тогда в «Европе» сложилось все неудачно. Борис Ефремович пришел уже на сильном взводе и в каком-то дурашливом, если не сказать идиотском настроении, шутовился, кривлялся и в конце концов стал закусывать выпитые рюмки цветами из вазы.

3

Саратовский ТЮЗ единственный театр, где в детстве, юности и молодости я бывал часто.

Помню оглушительное впечатление от постановки «Недоросля» в 1969 году. Ставил спектакль москвич Леонид Эйдлин, сверкающие юмором зонги написал полузапрещенный тогда Юлий Ким (для публики Ю. Михайлов), на музыку Анатолия Катца. Простакову играла гениальная Зоя Спирина. И ей под стать были все – и юный пухлощекий Клюкин в роли Митрофанушки, и Ошеров-Вральман, и так рано и нелепо ушедший из жизни Олег Балакин-Стародум. И исчезнувшая куда-то ослепительно красивая синеглазая Ирина Афанасьева в роли Еремеевны.

Не так давно было сообщение, что в ТЮЗе возобновили «Недоросля». Дай Бог, и все же я о той, 69-го года постановке. Удивительно, что спектакль в Саратове дозволили те, кому в провинции положено было держать и не пущать жестче, чем в столицах, тем более с диссидентом Кимом. Так, А. Ширвиндт вспоминает, как спектакль с теми же зонгами Юлия Кима запретили в Театре сатиры. Или где-то наверху сделали свой расчет – пускай на периферии идет, или авторитет Ю.П. Киселева преодолел преграды?

Все знали, что Зоя Георгиевна Спирина великая актриса. В Саратове отлично знают цену талантам, что вовсе не означает, что их здесь ценят. В 70–90-е годы все знали, что актер номер один у нас Сергей Сосновский, который за гроши блистал в ТЮЗе и уж собрался покинуть Саратов, да был оставлен талантливейшим Александром Дзекуном в Драме. Но ни о каком кино, достойных заработках, всероссийской известности и речи не могло быть. Нынешнее прочное положение Сосновского в МХАТ имени Чехова и участившееся его участие не только в сериалах, но и кинофильмах, еще раз подтверждает то, что судьба таланта в провинции куда более, чем в столицах, зависит прежде всего от интеллектуального и нравственного уровня местного начальства, или, как они сами себя стали именовать с 90-х годов, местной «элиты» и, соответственно, уровня социального и культурного самосознания местного общества.

Здесь отвечу на вопрос, который мне не раз задавали: был ли я знаком с Олегом Янковским? Вспоминаю, и получается, что был, хотя на самом деле и не был.

Первое воспоминание о встрече с ним относится к 1965 году, когда мы, первокурсники, собрались на ноябрьские праздники у Наташи, с детства бывшей для меня Чебаненко (учились в одном классе), но к тому времени ставшей Вагиной – ее мать вышла замуж за актера драмы Вагина. Жили они в актерском доме около театра.

Но прежде об одном из жильцов этого актёрского дома. Я имею в виду Николая Борисовича Глинского, некогда главного художника театра.

В поздние юные и ранние молодые годы многие из нас собирали марки. Филателисты встречались тогда по воскресеньям в большом зале Саратовского главпочтамта. Был среди нас и некто Боря, по кличке Болгарин, заметно постарше, яркий брюнет, уже начинающий полнеть, с бородкой. Спустя годы я познакомился с ним поближе. Он жил уже в городе Шевченко на берегу Каспийского моря. Тогда я и узнал, откуда прозвище.

Борис родился в 1940 году в Софии, где папа был ни больше ни меньше как художником Национального театра оперы и балета, или по обычному названию Софийской оперы. Там он работал даже с Ф.И. Шаляпиным, от общения с которым остались карандашные портреты и фотография великого певца с надписью: «Брависсимо, милейший господин Глинский! Смотрел ваши эскизы – превосходная работа. Браво! Ф. Шаляпин. 1934». В своих воспоминаниях, опубликованных в журнале «Волга» (1997, №№ 5-6, 7-8) художник не только с хорошими подробностями рассказывает о своем детстве и юности (он был сыном богатого купца, почетного гражданина Москвы), но часто столь неожидан в деталях, что рот разинешь. Чего стоит история о его знакомстве в белом Крыму с мобилизованным в армию Леонидом Витальевичем Собиновым!

Насколько я знаю, воспоминания Н.Б. Глинского так и не были изданы отдельной книгой, а зачем? В Саратове надо издавать социально близких власти лауреатов т.н. «алексеевской» премии, или какие-то их же графоманские альманахи. Так было при губернаторе Аяцкове, а следующий за ним Ипатов вообще культурой, как, впрочем, и ничем в Саратове, не интересовался; за него меценатствовала супруга, одно время подкармливавшая за казенный счет нескольких литераторов, назвавших себя Ассоциацией саратовских писателей; о ее помощи с раболепным умилением сообщал в газете «Земское обозрение» человек по фамилии не то Каришнев, не то Лубоцкий. А что сейчас издаётся в Саратове за госсчет, я не ведаю. Главное, что выходит журнал «Волга» и наши книги, безо всяких губернаторов, губернаторш, председателей палат и прочих персонажей современности.

Но возвращаюсь к ноябрю 1965 года.

Естественно, быстро напились, а поскольку водили компанию впервые, еще не знали, кто на что в пьяном виде способен. Оказалось, что самый способный Владик Былев из Ужгорода. Началось с того, что чуть не побили двух пришедших к хозяйке ребят, один из которых, знакомый мне Андрей, был сыном режиссера театра драмы Дмитрия Лядова. Помню, как я с целью замирения беседовал с гостями во дворе под осенними деревами почему-то о запрещённом Евгении Замятине, которого я к тому времени прочитал один рассказ и потому мнил себя великим его знатоком.

Тем временем, однако, назревали более неприятные события. Дело в том, что двое из нашей компании, уже упомянутый ужгородец Владик и Жека Журавлев из Йошкар-Олы, сочли, что пришло время отдыха, и открыв дверь соседней комнаты, улеглись там спать. А вскоре вернулись хозяева комнаты – артисты драмы Олег Янковский и его жена Людмила Зорина.

Поначалу, как поведала потом Чебаненко-Вагина, артисты мирно пытались разбудить гостей и попросить их удалиться, но оказалось, что мариец ничуть не смирнее Владика, который попытался душить хозяина. Наши девочки, уже тогда обожавшие Янковского, кинулись на защиту его и вытолкали хулиганов из комнаты.

Еще я наблюдал Янковского на похоронах заместителя главного редактора журнала «Волга» М.П. Котова (1972 год).

Вот как было заведено: умирает всего лишь заместитель главного редактора, и все творческие союзы, все музеи и театры являются отдать последний долг. В немалом количестве приехала и Драма на своем автобусе. Янковский к тому времени прославился в театре в роли князя Мышкина в «Идиоте» и уже снялся в фильмах «Щит и меч» и «Служили два товарища». С кладбища я ехал в их автобусе и наблюдал, как дочь звезды саратовской сцены лауреата Сталинской премии Степана Муратова, несравненная исполнительница ролей комических старух Людмила Муратова задиралась к Янковскому, а он беззлобно отшучивался. Наскоки ее сводились к полученной им квартире. Муратова приговаривала почти беззубым ртом: «Конечно, тут тридцать лет на сцене и ни хрена не получишь, а некоторым все сразу».

Вскоре Янковский переехал в Москву, и как-то встретив режиссера драмы Якова Рубина, я посетовал на утрату. Рубин, как всегда улыбаясь, сказал: «Ничего, у нас есть Саша». Он имел в виду Александра Михайлова.

На тему «саратовские актеры в столице» я вспомнил ещё, что как-то летом на улице Воровского я встретил бывшего актера саратовского ТЮЗа и Драмы Юрия Сагьянца. И будучи выпивши, остановил земляка, представился и спросил: стоит ли переезжать в Москву? Он закричал: «Непременно! Обязательно и непременно!», и я увидел, что он тоже выпивши. Про любимого публикой комика Сагьянца саратовцы знали лишь то, что появляется он в любимом всеми телевизионном «Кабачке

“13 стульев”» и, как говорили, вроде бы женился на директорше крупного гастронома, что сделало его вполне счастливым.

Вообще я не так уж много общался с актерами. С двумя молодыми актрисами ТЮЗа, жившими в общежитии на задах горкома партии, в зале заседаний которого я однажды слышал, как бесстрашная Зоя Спирина сказала с трибуны: «Мы здесь о проблемах культуры говорим, а рядом в театральной общаге по коридорам течет говно!», с Тамарой Цихан и Верой Беляевой (очень жаль, что давным-давно исчезла из Саратова эта красавица, у нее были все основания, чтобы занять первые роли) я познакомился потому, что за Тамарой в 70-е годы ухаживал мой приятель Володя Тартер. Приятельство с Тамарой продолжилось и когда она вышла за Тартера, и когда он развелся с нею и уехал в Израиль, и когда вернулся, и после его смерти. Так что Тома Цихан-Тартер, можно сказать, единственный мой приятель в актерской среде.

Еще как-то я познакомился с тюзовцем Германом Журавлевым. Мы стояли с Борей Фаликовым на нашем классическом углу Кирова и Горького у магазина «Рыба» и соображали насчет выпить. К Борьке подошел высокий красивый блондин заметно старше нас. Познакомились. В разговоре актер оказался (или показался?) крайне неприятным, чванливым и грубым. Зачем-то Фаликов сказал мне, что любимый писатель нового знакомого... и тут Боря запнулся, забыв фамилию. Журавлев сказал важно: «Андрей Платонов». В отцовой библиотеке была скромная книжица рассказов Платонова, в которую я как-то заглянул и не заинтересовался. Но Журавлеву отчего-то надо было знать мое мнение, и я сказал, что не читал Платонова. Потом мы пили рядом, на проспекте Кирова, в комнате Борьки, описанной им в романе «Виданов» («Волга», 1998, №9), популярный тогда румынский вермут с крепким привкусом и запахом полыни. Беседа была непродолжительной, кажется, актер ушёл, а мы отправились в поисках продолжения. Потом я видел его лишь однажды на сцене в выигрышной роли Сергея Усова в спектакле по пьесе неизбежного в ТЮЗе Виктора Розова «Традиционный сбор».

С главным режиссёром ТЮЗа народным артистом СССР, лауреатом Сталинской премии Юрием Петровичем Киселёвым был я знаком немного, слишком в разных весовых и возрастных категориях мы были. Но однажды расстояние ненадолго сократилось. Мы с женой возвращались из Москвы с букеровского обеда. Конечно, по тогдашним моим возможностям, в СВ. В том же вагоне ехал и Юрий Петрович.

Я был нагружен последствиями вчерашнего банкета, а также лекарственными средствами для их преодоления: литровой едва початой бутылкой виски, которую для меня утащила с ресторанного стола Катька Немзер, и десятком банок с пивом.

Точно, это Юрий Петрович, а не я (я бы и не посмел), заговорил о выпивке. Я сказал ему про виски. Он сказал: «Давай твою виску!» Мы пошли в наше купе. В основном говорил он, а я спрашивал. Более о бывших и настоящих актерах его театра. На вопрос об Ирине Афанасьевой сказал, что после Саратова она работала в театре на Таганке.

Когда «виска» иссякла, Юрий Петрович спросил, нет ли у меня еще чего. Я сообщил про пиво, на которое он охотно согласился. И к концу встречи не изменился нисколько. Было тогда ему уже за семьдесят.

В разговорах о Киселеве с разными людьми непременно возникает тема последующей судьбы театра, прежде всего преемника первого главного режиссера. Все знали, что Юрий Ошеров прекрасный артист, но для роли худрука у него было основанием лишь преданность театру и Киселёву, что для лидера маловато. Назывались как реальные продолжатели дела Ю.П. саратовцы Владимир Федосеев, и рано ушедший из жизни и уже начавший реализоваться в роли главрежа Григорий Цинман, и москвич Леонид Эйдлин.

Но разве Георгий Товстоногов оставил-воспитал преемника? А Рубен Симонов, Николай Акимов, Николай Охлопков, Игорь Владимиров, Юрий Любимов... А Марк Захаров, дай Бог ему еще долгих лет жизни, подготовил преемника?

Если в какой-то театр с уходом из жизни лидера, то и это бывает не сразу, как то случилось в театре Моссовета, который лишь через семь лет после смерти Юрия Завадского возглавил Павел Хомский, приходит новый лидер, театр обретает и совершенно новое лицо.

Так, стагнирующий в течение того же срока театр Советской армии, когда в роли наследника главрежа Алексея Попова был его сын прекрасный актер Андрей Попов, ожил лишь с приходом Леонида Хейфеца.

Когда самые авторитетные актеры были вынуждены возглавлять театры после смерти главного режиссера, как Юрий Лавров в БДТ и Михаил Ульянов в Вахтанговском, все, и они прежде всего, знали, что это до тех пор, пока не появится *настоящий главный режиссер*. На этот счет Михаил Александрович на саратовской телеигре «Маркиза» рассказал, как он спросил Товстоногова, что будет с театром после его ухода. На что Георгий Александрович спокойно заявил, что тогда театр умрет. *Его* театр, а если возникнет новый лидер, будет другой театр.

Конечно, то, что ни Саратовская драма, ни ТЮЗ таковых не обрели, довольствуясь чередой приглашенных иногородних постановщиков при старейшинах актерского цеха в роли худруков, не могло пойти театрам на пользу. Но главная заслуга Киселева в создании театра, в труппе которого почти не было странствующих по России Счастливцевых и Несчастливцевых, а в основном она состояла из воспитанников театральной студии при ТЮЗе и Саратовского театрального училища.

А если что и можно поставить в укор Юрию Петровичу, так это то, что из тюзовского «пиара» постепенно и почти совсем исчезло имя Вадима Ивановича Давыдова, с которым – а не в одиночку – Киселёв зачинал и строил театр.

Многие заметные спектакли 40–50-х годов поставлены Вадимом Давыдовым, и прежде всего несравненный «Аленький цветочек» (1948), знак и камертон ТЮЗа, на котором нравственно и эстетически воспитано несколько поколений саратовцев. А вот другие знаковые его постановки: «Похождения храброго Кикилы» (1944), «Сын полка» (1946), «Хижина дяди Тома» (1940), «Два веронца» (1948), «Сказка о царе Салтане» (1949), «Нищий и принц» (1950), «Королевство кривых зеркал» (1952), «Ученик дьявола» (1957), «Звездный мальчик» (1957), «Судьба барабанщика» (1958), «Доходное место» (1958).

В 1968 году Вадим Иванович году покинул Саратов, переехал в Волгоград, где руководил восстановлением Театра юного зрителя, сделал там ряд постановок, в т.ч. и «Аленького цветочка», но в 1970 году ушел с должности главрежа, предпочтя педагогическую деятельность.

О том, почему Саратовский ТЮЗ оставил один из его основателей, городская молва утверждала, что Киселёв и Давыдов поссорились из-за жён. Оба женились на молодых актрисах – Киселев на Елене Росс, а Давыдов на Людмиле Рауткиной. И якобы обе хотели быть премьершами, из-за чего мужья и столкнулись. Сколько тут правды, Бог весть, Юрий Петрович, по-моему, не был человеком, которым можно управлять. Старый тюзовский актер Василий Петрович Ермолаев, который бывал у моего отца, как-то рассказывал, как актриса Галина Хлебникова, едва став близкой Ю.П., на очередной репетиции отсела от товарищей, поставив свой стул рядом с режиссерским, что тот немедленно и гневно пресек. Впрочем, Росс была моложе мужа на 24 года. Сама же она рассказывала, как в период ухаживания за ней, студенткой ГИТИСа, он настолько хотел понравиться ее молодежной компании, что стал им в угоду курить.

Но преемником Киселева Давыдов, который был на четыре года его старше (и умер на четыре года раньше) быть никак не мог.

Между тем ТЮЗ привык работать без лидера.

В 70-е годы, когда лишь было принято решение о строительстве нового здания ТЮЗа, понимающие саратовцы рассуждали о том, что ни этому, никакому другому театру города не нужно столь объемистое помещение. Когда Драма, даже при Дзекуне, играла при незаполненном зале, а тюзовцы гордились всегдашними аншлагами, им говорили: если бы вам столько мест, сколько в новом здании Драмы, и вы бы не заполнили зал.

Что проект вызывающе неказист, архитектурно ничтожен, опять-таки знали и тогда, но, как водится, все возражения опровергли областные амбиции, что у нас, дескать, будет самый-самый большой ТЮЗ. И если тогда в проекте хоть была эдакая модная в 70-е годы техническая продвинутость, то теперь, когда мода на подобную «архитектуру» давно прошла, здание смотрится особенно нелепо.

Нагнетаемый ажиотаж с многолетней достройкой здания театра, в который были втянуты многие саратовцы, явно подпитывался и теми, кто уже нагрел руки на долгострое и не собирался охлаждать загребущие ладошки в дальнейшем. На вооружение была принята демагогия типа «гибнет

культура». Договорились до того, что в письме губернатору Ипатову, подписанном и уважаемыми, а за компанию с ними и вовсе неуважаемыми гражданами Саратова, говорилось, что «каждый ребёнок губернии» сможет посещать именно такой огромный ТЮЗ. Ехать, скажем, за 400 километров из Перелюба. Все почему-то совершенно забыли, что Саратов едва ли не единственный крупный город России, не имеющий ни одного концертного зала. И уж коли гигантский дом, занявший квартал Киселева – Чапаева – Б. Казачьей – Вольской, все-таки достроили, не лучше ли было обратить его в концертный зал многоцелевого использования? Ведь иные саратовские сцены превращаются в концертно-прокатные площадки.

Сужу по афишам о возросшем проценте «гостей». Я пишу эти строки в конце ноября 2017 года. И вот афиша театра Драмы на ближайшие месяцы.

11 ноября. Владимир Кузьмин. Концерт.

28 ноября. Сколько стоит любовь, антреприза.

11 декабря. Не торопитесь прощать, антреприза.

14 декабря. «Звездный пасьянс». Фестиваль шансона.

19 декабря. «Любовь не картошка». На афише написано «комедия», на сайте «концерт».

9 января. «Здравствуй, доктор, Новый год», концерт-маскарад...

А далее Газманов, Пенкин, Галкин...

Грустно все это.

В ТЮЗе не так давно в дополнение к худруку Ошерову появился и главный режиссер. Его послужной список загадочен.

8 октября 2014 года барнаульская пресса сообщала:

«Руководство алтайского театра драмы имени Василия Шукшина во вторник представило нового постоянного режиссера, возглавившего труппу, им стал Алексей Логачёв, рассказала на пресс-конференции директор Любовь Березина. “Я очень рад здесь работать. Прибыл только вчера и уже живу в ожидании премьеры этого сезона, спектакля “Я пришел дать вам волю”, – говорит сам Логачёв».

А 14 сентября 2015 года уже саратовская пресса брала интервью у нового главрежа ТЮЗа: «Алексей Логачёв: Да, теперь я живу в Саратове, постоянно будут тут находиться. Я рассматриваю сотрудничество с другими театрами, но частично. Мое постоянное место работы здесь – в саратовском ТЮЗе. Я сотрудник этого театра и здесь лежит моя трудовая книжка.

Что вас заставило остаться здесь?

Алексей Логачёв: Я давно сотрудничаю с этим театром. Я приехал сюда впервые два года назад. Так что мое назначение и знакомство с ТЮЗом длится уже продолжительное время».

На той пресс-конференции, где представляли Логачёва, директор ТЮЗа Анатолий Барсуков сообщил, что тот «уже успел до мая этого года побывать главным режиссером в Барнаульском театре, полтора года являлся сотрудником Алтайского театра драмы им. В.М. Шукшина, успел сделать постановку в Екатеринбурге». И то, что директор театра пытается придать вес назначенному главрежу сообщением, что тот «успел побывать» (лучше не скажешь) полгода главрежем в Барнауле, и при этом делит тамошний театр на два: Алтайский и Барнаульский, а сам «побыватель» не поправляет ошибку – все это выглядит не очень опрятно.

А агентство Саринформ вообще известило, что молодой режиссер «во время театрального сезона 2014 / 2015 года работал в качестве очередного режиссера в Алтайском краевом театре драмы имени Шукшина». Так главным или очередным? Или я по своей темноте не знаю, что эти определения синонимы?

Смена поколений – обязательный жизненный закон. Действует он и в искусстве. На смену старшим приходят младшие, на смену старым приходят молодые. Все правильно: сыновья заступают на место отцов. В 1995 году по инициативе Ю.П. Киселева народный артист РФ Ю.П. Ошеров был назначен главным режиссером ТЮЗа, а с 2007 года Ю.П. Ошеров становится художественным руководителем театра, при этом главным режиссером, увы, всего лишь два года был Григорий Цинман.

То есть незадолго до смерти восьмидесятиоднолетний Киселев рекомендует себе в преемники своего ученика и соратника пятидесятитрёхлетнего Юрия Ошерова. Разница в возрасте двадцать восемь лет. Сыновья приходят на смену отцам. А сейчас? В 2015 году при семидесятитрёхлетнем

художественном руководителе Ошерове назначают тридцатилетнего главного режиссера Логачева. Разница в сорок три года. Сыновья... нет, внуки приходят на смену дедам. А где же отцы, которым сорок-пятьдесят-шестьдесят лет? Какой-то поколенческий провал. И поэтому, видимо, внуку не оказали полного доверия, оставив при должности и дедушку.

В последние годы на роль лидеров все чаще стали претендовать директоры театров. И всё чаще их ловят на злоупотреблениях. Последний пример: задержан бывший директор Саратовского театра оперы и балета Ренат Мухамедьяров, против него возбуждено уголовное дело. Но он хоть по образованию музыкант, а вот у нового директора оперного за плечами – политехнический институт, работа в сельскохозяйственном НИИ, затем вдруг управление культуры, откуда уже естественным образом он попал в проректоры консерватории.

Кто был при Киселеве директором (скажем, милейший Александр Степанович Мазаев), уже мало кто помнит. Но все помнят, как стал командовать парадом директор ТЮЗа Валерий Райков при худруке Ошерове. Этот рабочий сцены ухитрился сделаться руководителем областного отделения Всероссийского театрального общества и даже преподавать актёрское (так!) мастерство на театральном факультете консерватории. Я слышал от тюзовских актеров про хамское отношение Райкова к ним. Когда начались официальные вверху разборки после пожара, который, конечно, можно было при гигантском штате пожарников если не предотвратить, то минимизировать, стало известно про финансовые шалости директора, но Райкова с миром отпустили из театра и из Саратова. То, что возникавший затем то в одном, то в другом столичном театре саратовский озорник вскоре оттуда исчезал, говорит о многом. Хорошо разбирающийся в теме Леонид Эйдлин сказал про Райкова: «Он не может быть директором, потому что не любит артистов».

А появившееся еще при недолгом тандеме Ошеров – Цинман наличие в театре одновременно и художественного руководителя, и главного режиссера я бы назвал кадровой тавтологией. Во всяком случае, другого прецедента не знаю и, любопытствуя на этот счёт, нашел лишь в одном театре – имени Моссовета – не одного худрука, а режиссерскую коллегию из Юрия Еремина, Сергея Юрского и Андрея Кончаловского, и еще в столичном ТЮЗе сразу двух худруков, мужа и жену Каму Гинкаса и Генриэтту Яновскую.

Остается лишь надеяться, что возникшее в нашем ТЮЗе странноватое соединение в полном смысле слова стара и млада способно претвориться в новую творческую силу.

4

В Саратовский академический театр оперы и балета я ходил лишь в детстве с мамой и только на балет. Отец вообще никаким театром не интересовался. А почему на балет? Скорее всего потому, что ведущей балериной была тогда и долгие годы спустя Вера Дубровина, которую мать знала еще по их общему сталинградскому детству в одном дворе. С балетной труппой у меня, как и многих детей с нашей улочки Яблочкова, были особые отношения. Дело в том, что в доме №5, за последние годы доведенном до уничтожения, был балетный репетиционный зал, окна в котором часто были открыты настежь, что позволяло нам виснуть на них и наблюдать за упражнениями танцовщиков.

И о театре кукол мне вспомнить особо нечего. Маленьким мальчиком с мамой ходил, когда театр был еще на верхнем этаже старого ТЮЗа, где потом устроили репетиционный зал. В здании кирхи на Радищевской улице, где затем он обосновался, я не бывал, так как из кукольного возраста уже вышел, а детей еще не имел.

Упомянув о саратовской кирхе, не могу не вспомнить о том, как был изуродован угол улиц Радищева и проспекта Кирова.

Сейчас саратовцы справедливо возмущаются тем, как власти калечат город бесконечной «точечной» застройкой или осуществлением дебильных идей вроде самой длинной в мире пешеходной зоны. И у тех, кто помоложе, может возникнуть мысль, что при советской власти безобразий в градостроительстве было меньше.

Как бы не так! Не буду обличать то далекое прошлое, когда взрывали храмы и калечили исторические центры городов, вспомню то, близкое для меня время, которое во многом справедливо почитается старшим поколением как наиболее легкое – брежневское.

Тогда четверть века главным архитектором Саратова был Юрий Менякин. Фронтовик, обаятельный человек, но многие плоды его деятельности у меня, урожденного саратовца, одобрения вызвать не могут.

Вот основные его работы: новые здания драмтеатра и облисполкома, Дворец пионеров в Ленинском районе, памятники Ленину и Федину (скульптор Кибальников) и, наконец, мемориал на Соколовой горе.

Драмтеатр, облисполком и Дворец пионеров просто безлики, усреднённо типичны для тех лет, театр безобразен снаружи, и к тому же страшно нефункционален, неудобен, не знаю, как сейчас, а с открытия и потом в зале было страшно холодно.

Памятник Ленину бездарен и фигурой вождя, вызвавшей саратовские анекдоты, в чем вина скульптора, и крайне неудачным местом установки, что было делом архитектора.

Памятник Федину абсолютно бездарен. Косоплечий старик в кресле если и немного смахивает лицом на писателя, так это на Константина Паустовского, но с Фединым ни малейшего сходства не имеет. Против такого памятника должна бы восстать семья, но Нине Константиновне важнее самый факт установки памятника (об этом она мне писала), чем его качество, и она настолько боится его ликвидации, что не допускает ни малейшей в его адрес критики.

Мой отец, близко знавший и Федина, и Кибальникова, рассказывал мне о том, как Александр Павлович просил свести его покороче с Константином Александровичем. Когда отец передал Федину просьбу скульптора, тот среагировал так: «Знаете, Григорий Федорович, в старину где-нибудь за городом или зимой на волжском льду, проводили кулачные бои. И там были особые мастера, этакие бородатые драчуны с горящими глазами. Это ваш Кибальников».

Ну, наконец, самое сложное – мемориал погибшим на Соколовой горе.

Благородна идея, прекрасно выбрано место, но меня не устраивают прежде всего сами журавли – выпрямленные, застылые, неживые. Это не души солдат, а металлические стержни.

И еще мне, как старому урожденному саратовцу, не по душе, что для сооружения мемориала уничтожили единственное в городе покрытие брусчаткой (как на Красной площади) – улицы Астраханской. Почему для возведения одного нужно непременно уничтожать другое?

А когда на месте старинного дома, построенного в 1860–1870 годах саратовским купцом Иваном Герасимовичем Кузнецовым на углу улиц Немецкой и Александровской, кирхи и других окружающих зданий, возник фабричный корпус сельхозинститута, в городе говорили, что нашего Шибаева уломали в Москве в Минсельхозе, и он в Саратове распорядился очистить место для нового корпуса института. Главным архитектором тогда тоже был Ю. Менякин.

К свершениям его периода надо отнести и возведение на том же углу музыкального фонтана. Я был на собрании творческой интеллигенции в горкоме партии, где нам предложили обсудить идею о музыкальном фонтане. Эта бредовая, уж не знаю чья, придумка была встречена всеобщим возмущением, доходящим до крика, а кричать в стенах горкома тогда было не принято. Раз уж решили возвести (где-то, наверное, увидели) музыкальный фонтан и ладно, но не в нескольких же метрах от консерватории! Интеллигенция пошумела, а фонтан построили. Затем он то работал, то не работал, то его уродовали, то восстанавливали, то загаживали, впрочем, загаживали всегда, настолько удобно для сброса мусора он расположен.

Теперь вот устроили возле Набережной плавучий цветной фонтан. Эффектная штука и место подходящее – кругом вода. Те, кто его поставил, утверждают, что он самый высокий на Волге. Это у нас стиль такой. Все должно быть самое-самое. Был у нас одно время губернатор по прозвищу Павлин, которого мало кто знал в лицо, настолько редко он бывал в дарованной ему Кремлём области, предпочитая Париж или на худой конец Москву. Так он любил хвастать, что возведенная при нем высотка на Предмостовой площади, в которой никто никогда не жил, не живет и, думаю, не будет жить, самая высокая в Поволжье.

В новом же здании кукольного театра на Бабушкином взвозе я бывал много раз на совещаниях, но помню лишь один факт посещения, да и то по испугу Гриши Назарова. Мы с Ленькой Назаровым пошли в кукольный с сыновьями в начале 70-х. Вскоре после того, как в зале погас свет, Гриша громко сказал: «Я боюсь!» Спустя мгновение повторил еще громче: «Я боюсь!» Зрители, и первый из них папа мальчика, покатились со смеху. А ведь это он при наступлении темноты зловеще за-

шептал сыну в ухо: «Сейчас будет стхашно (Ленька картавил), очень стхашно!» Такое у моего друга было чувство юмора.

И еще один детский испуг в театре я видел. На спектакле «Приключения Калле Блюмквиста» в ТЮЗе бывший с нами ровесник моего сына Костя Лапшин, когда на сцене стали палить из пистолетов, озабоченно заявил: «Э! Так они и в меня могут попасть» и залез под стул. Сейчас Костя немолодой многоопытный яхтсмен.

5

В Саратовском театре драмы имени Карла Маркса я впервые побывал на спектакле «Чайки над морем» саратовского драматурга Елизаветы Бондаревой, в старом еще здании.

Е.М. Бондарева с супругом режиссером Н.А. Бондаревым являла собою не совсем типичную для советского театра пару. Обыкновенно главные режиссеры женятся на актрисах и занимают их в своих постановках. Впрочем, Бондаревы прошли и эту стадию, когда он был главным режиссером Курского драматического театра, а она была актрисой того же театра Елизаветой Циммерман. Но сделавшись женой главрежа, она открыла в себе талант драматурга. Они переезжали из города в город, из театра в театр – Курск, Владивосток, Оренбург, Бузулук, Саратов, Волгоград, Куйбышев, и сроки перемены места жительства определялись, думаю, тем, насколько успешно и долго шли пьесы Елизаветы Максимовны.

В сети ошибочно сообщается, что самая известная пьеса Бондаревой «Чайки над морем» шла в Саратове в 1980–86 годах. Но в эти годы я был уже весьма взрослым, а «Чаек» видел еще подростком. И старейший актер Малого театра Юрий Каюров, который служил в саратовском драмтеатре в 1952–1967 годах, вспоминает: «Елизавета Максимовна Бондарева – драматург; жена главного режиссера. “Соперницы”, “Хрустальный ключ”, “Чайки над морем”, “Друзья мои” – вот пьесы, ею написанные, Бондаревым поставленные, нами сыгранные по 100 и больше раз каждая. А что? Публика ходила и ходила в наш театр, никто силой не загонял».

(С Каюровым у меня связано дурацкое воспоминание. Мы возвращались из школы. И на углу Горького и Дзержинского, т.е., надеюсь, опять будет Александровской и Грошовой, навстречу шел Каюров. Черт меня дернул сказать Витьке З.: «Смотри, артист Каюров, в кино Ленина играет». Витька оглянулся и спросил: «А как его зовут?» Хоть я почувствовал подвох, но сообщил: «Юрий». И этот негодяй, обернувшись, стал орать: «Юрка! Юрка! Юрка!»)

До прихода в театр Александра Дзекуна главные режиссеры менялись там, как очередные. Из саратовских режиссеров помню, что современные пьесы ставил Дмитрий Лядов, а классику – Яков Рубин. Кажется, долгое время был такой Лев Аронов, прозванный среди актеров Чебурашкой. Главная страница же во всей новейшей истории театра открылась в 1974 году, когда туда пришел Александр Дзекун.

В 40–60-е годы бывали спектакли лучше и хуже, однако театру хронически не хватало лидера. И у постановок Александра Дзекуна были сторонники и противники, не было лишь оставшихся равнодушными. Никто не мог отрицать яркой самобытности лучших его спектаклей. Тогда-то театральная Россия и узнала, что есть в Саратове драмтеатр имени автора «Капитала». Укреплялась и росла слава театра полтора десятка лет. Примечательно, что при постоянной критике спектаклей режиссера, обладавшего к тому же не слишком уживчивым характером, тогдашней партийной власти не пришло в голову отлучить Александра Ивановича от театра, выжить его из города.

Мне же очень сложно писать о спектаклях Александра Дзекуна. Думаю, живи я в то время, не сумел бы написать и о постановках великого Мейерхольда.

Почему я люблю, скажем, Державина, Гоголя или Лескова, но не могу признаться в такой же любви к Лермонтову, Салтыкову-Щедрину или Тургеневу? Видимо, потому что первый ряд – мои писатели, второй – не мои.

Почему мне близки Венецианов, Серов или Кустодиев, а не Крамской, Суриков или Врубель? Опять-таки, «мои» и «не мои» художники.

Подозреваю, что Станиславский был мой режиссер, а Мейерхольд не мой.

Так и Дзекун – талантливый мастер, самобытный, а постановки его оставляли меня равнодушным. Я видел в его режиссуре спектакли «Дядюшкин сон», «Любовь – книга золотая», «Картина», «Зойкина квартира», «Мастер и Маргарита», «Багровый остров», «14 красных избушек».

«Дядюшкин сон» – единственная повесть Достоевского, которая мне (как и её автору) кажется откровенной неудачей гения, в которой он мало похож сам на себя. Чему были, как известно, объективные причины. Плоха была и экранизация повести постановщиком замечательной «Женитьбы Бальзаминова» Владимиром Воиновым, несмотря на сонм актёрских звезд. Нечего мне сказать и о «Дядюшкином сне» в Драме.

Унылым спектаклем была «Картина» (1982), зачем-то поставленная по одноимённому унылому роману Даниила Гранина. Могу лишь предположить, что увлекшись слащавым и, конечно, как всегда у этого писателя, злободневно-«передовым» сюжетом романа, Дзекун, как подлинный художник глубже воспринимающий не сюжет, а дух литературного произведения, его ритм, его стилистику, не мог не перенести на сцену и эстетическую серость сочинения Гранина.

Хороший спектакль была «Любовь – книга золотая» (1981), очень веселый, тогда как, на мой взгляд, Дзекун был всегда слишком серьёзен, его постановки словно бы насуплены. Даже в трех булгаковских спектаклях мне не хватало юмора. Дело в том, что комизм у Булгакова более вызван предлагаемыми историческими обстоятельствами и характерами персонажей, чем авторскими волей и словом, как у А. Толстого, когда ситуации словно бы рождаются сами собой, из воздуха. Тем более в едва ли не самом беспечном у этого самого беспечного писателя произведении. Тем более, что время действия пьесы А. Толстого «столетье безумно и мудро», в котором, кажется, впору жить бы и красному графу.

Первый из булгаковских спектаклей – «Зойкина квартира» (1984) был лучшим. Причину толком объяснить не берусь. Но так как пьеса эта самая совершенная у Михаила Афанасьевича по мастерству (разве что «Батум» столь же безукоризненно сделан), то здесь меньше воли постановщику, настолько выверены характеры всех персонажей, линии их соприкосновения, так оправдано поведение, конфликты, так сводятся концы и начала – словом, пользуясь старым штампом, скажу, что ружье в «Зойкиной квартире» всегда стреляет, когда положено.

Постановку А. Дзекуна «Мастер и Маргарита» (1986) я смотрел за два года до постановки Ю. Любимова и невольно обязан их сравнить. Не могу назвать всех саратовских исполнителей, но помню, как холодно ровен был Воланд в исполнении Александра Галко. Ни о каком хулиганстве и речи нет, а ведь Воланд, находясь среди людей, любит хулиганить, как и его присные. От красивого лысого черепа до узких губ, от поставленного театрального голоса до отработанных привычкой к публичным выступлениям жестов, этот Воланд напоминал одного из самых неприятных директоров школы, где я учился. А если брать повыше, то Победоносцева с репинского полотна «Заседание Государственного Совета» (на портрете Валентина Серова Константин Александрович попроще, почеловечнее, поутомлённее). Но Победоносцев не был дьяволом, а Воланд не был высокопоставленным бюрократом. Что же до блоковских «совиных крыл» Победоносцева, это вопрос интересный, но спорный: в мифологии у одних народов сова олицетворяла зло, у других мудрость.

А свита у однокрасочно-мрачного Воланда была хороша, особенно Сосновский-Коровьев и Виноградов-Бегемот. Кажется, весьма подходила Григорию Аредакову роль Берлиоза. Роль Маргариты утепляла своим талантом Валентина Федотова. Во всяком случае ее исполнение было удачнее, чем у Нины Шацкой на Таганке, хотя, быть может, и дальше от романного характера.

А кто такой Мастер, я не понял и при многократном чтении романа, мне кажется, что не понял того же ни один театральный и кинорежиссер, ни один исполнитель. Скажу больше: не понял своего героя и его создатель, и это главная неудача романа. Я много читал и слышал на этот счет и остаюсь при том мнении, что роман «Мастер и Маргарита» во всех отношениях уступает не только гениальной «Белой гвардии», но даже и «Запискам покойника», и главная в том причина – неразлучная парочка. Нет, вы меня не так поняли: не Коровьев с Бегемотом, а Мастер с Маргаритой, и прежде всего невразумительный Мастер.

В инсценировке романа, сделанной Дзекуном в соавторстве с художником-постановщиком Сергеем Болдыревым, саратовцы были изобретательнее Таганки. В московском спектакле действие раздроблено даже не на отрывки, а на кусочки, на отдельные реплики, словно бы зритель сейчас имеет перед глазами эти места текста, а сцена лишь услужливо их для него иллюстрирует. И оформление вышло столь же отрывочным, суетливым. (В сохранившейся у меня таганковской программке 1988 года почему-то не указаны художники, а там кроме Давида Боровского было еще несколько

известных имён, зато в саратовской программке есть все, кто работал над спектаклем, даже главный машинист сцены В.Н. Райков.) Оно в основном свелось к появлению на сцене окошек, в которых поочередно появляются персонажи, начиная с Понтия Пилата. У Дзекуна фантастическую прелесть действию придавала вода, разнообразные источники которой фонтанировали в разных местах сцены, по-своему вмешиваясь в сюжет.

К сожалению, нельзя освежить впечатление от спектакля саратовской Драмы. Не так давно Татьяна Зорина рассказала по ТВ, что видеозапись спектакля уничтожена. Взамен записали из-за тогдашнего дефицита пленки на той же магнитной ленте что-то другое.

Про «Багровый остров» (1988) мне сказать нечего, настолько спектакль выветрился из памяти. (Зато из программки к спектаклю можно узнать, как вырос будущий директор ТЮЗа: из главного машиниста сцены он стал заведующим художественно-постановочной частью.)

Куда больше дала мне постановка Дзекуном пьесы Андрея Платонова. В «14 красных избушках» (1987), может быть, с наибольшей силой проявилась способность режиссера творить на сцене свой мир.

6

После Дзекуна главным режиссером нашей Драмы стал Антон Кузнецов. Я видел его постановку «На дне» (1998). Вся режиссерская соль спектакля заключалась в том, что мы, зрители, сидели на сцене, а действие разворачивалось в зале, меж зрительских кресел, что было страшно неудобно для актеров, для зрителей смешно.

А вот на его спектакль «Мечтатели» (2002) я даже откликнулся рецензией в газете «Новые времена». Впрочем, мой дополнительный интерес к «Мечтателям» был вызван ревностью не ревностью, но – сейчас объясню.

Как-то заведующая литературной частью драмы Ольга Харитонова свела меня с Антоном Кузнецовым на предмет обсуждения интереснейшей темы выпивки в русской литературе, в частности – у Александра Островского, в частности – в актерской среде. Русский актёр у Островского – благодатнейшая возможность для режиссера и исполнителей. Счастливцев и Несчастливцев («Лес»), Робинзон («Бесприданница»), Негина, Смельская, Нароков, Ераст Громилов («Таланты и поклонники»), Незнамов, Шмага, Коринкина, Миловзоров («Без вины виноватые») обретаются в одном и том же мире, и порой раз найденный тип варьируется, как Счастливцев-Робинзон-Шмага или Смельская-Коринкина, порой стоит особняком, как трагический образ Кручининой из пьесы «Без вины виноватые». В этом я и убеждал Кузнецова и, прошу прощенья у Ольги Игоревны, у меня осталось впечатление, что все это в основном для главрежа было внове, и это мало меня удивило. Я уже привык к тому, что и в литературном мире, особенно молодые писатели, почти не знают пьес великого драматурга. Мы договорились до того, что было бы интересно составить из разных текстов русских классиков некое действо, объединенное театральными и алкогольными сюжетами.

Мы мило побеседовали, и вот спустя какой-то небольшой срок я узнаю о премьере «Мечтателей». Значит, обошлись без меня.

А тем временем разгорелась большая склока между Кузнецовым и старейшим работником театра зав. музыкальной частью Феликсом Аронсом. О. Харитонова даже пригласила меня на заседание суда в роли какого-то непонятного мне свидетеля защиты. Я даже не знал, Аронс на Кузнецова, Кузнецов ли на Аронса подал в суд, и поэтому пришел в суд на ул. Некрасова уже хорошо выпивши, прихватив ещё плоскую фляжку коньяка. К счастью, заседание почему-то было отложено и мне не пришлось выступать на суде в нетрезвом виде.

О причинах ухода А. Кузнецова на сайте театра туманно сообщается: «Позднее, в 2004-2005 гг. возник острый творческий конфликт, в результате которого Антон Кузнецов покинул театр и Саратов». Кого с кем был конфликт, всё тот же: Кузнецова с Аронсом или с кем-то еще, не знаю.

Изредка я бывал в этом театре и в более поздний период, когда сцена уже полностью зависела от того, какого постановщика из другого города пригласили. Лучшим, по-моему, приглашённым режиссером был Игорь Коняев из Питера.

7

В начале 90-х старший сын стал соблазнять меня («Папа, из-за одного Витальки Скородумова стоит!») сходить на спектакли театра под названием АТХ. Что означала эта неблагозвучная аббревиатура, знал каждый гражданин СССР, и никак не связывал АвтоТранспортноеХозяйство с духовными ценностями. Стало быть, прикол. Молодёжный. А я, хоть и печатал тогда в журнале «Волга» разные прогрессивные тексты, но всё же по натуре был и остаюсь консерватором.

В те годы АТХ играл в доме на углу Вольской и Б. Казачьей (тогда имени 20 лет ВЛКСМ). Дом мне был хорошо знаком. В нем жил мой одноклассник Борька Эздрин, пожилые соседи которого рассказывали нам с гордостью, что там до революции был бордель. Думаю, сочиняли, так как веселые дома располагались в Саратове на т. н. Петиной улице (ну, к чему это я?). Но ко времени АТХ Эздрин проживал уже не в Саратове, а на исторической родине, зато на другой стороне улицы, напротив, обитал другой наш одноклассник Илюшка Петрусенко. И он рассказывал уже не старые, а новые нехорошие вещи про здание с огромными окнами, в котором в те бурные годы начала перестройки помещался Дом молодёжи. И в прежние-то, «застойные», времена профессиональные работники комсомольских органов строгостью нравов не отличались, а уж с приходом свободы...

Словом, жильцам дома № 37 пришлось на уцелевшие в подворотне с досоветских пор кованые ворота ставить надежный замок по причине происходивших там еженощно драк, половых актов, блевания и прочих радостей молодости и свободного досуга. И – простите меня, славные атэховцы! – эти подворотные действа, как бы это сказать, не то что прямо экстраполировались на ваши еще не виданные мною постановки, но все же поселили чувство некоторого предубеждения.

В 1989 году журнал «Волга» напечатал произведение Евгения Попова «Душа патриота, или Различные послания к Ферфичкину», что принесло приятную славу как создателю, так и публикаторам, и их взаимную дружбу.

И вот новость: главный режиссер АТХ Иван Верховых намеревается поставить спектакль по произведениям Евгения Попова. Я по просьбе режиссера связываю его с Евгением Анатольевичем. Правда, не очень представляя, как постмодернистское, всё из подтекстов и аллюзий на множество советских и несоветских источников, а главное, в иронично-ернической интонации повествование можно превратить в театральное действо, которое, по моему старомодному понятию, должно быть непременно действом, а не повествованием.

Но не знал я, что бывают на свете такие иваны ивановичи! Ведь уже видел я лишь одну из первых его постановок «Почему я лучше всех». Впечатление было, извините за выражение, неоднозначное. Пребывая весь спектакль в непреходящем состоянии удивления, впечатления и недоумения, ярче всего я запомнил ногу актера Скородумова, пальцами которой он вставлял в рот папиросу, а потом ею же чиркал спичкой по коробку и закуривал.

А еще тот же Скородумов остригал на чьей-то, кажется, уже не своей, ноге ногти, которые с огнестрельным звуком отскакивали от ступни и летели куда-то вдаль сцены. Я понимал, что ногти эти пластмассовые, и все-таки содрогался.

Не театральный я человек, к тому же не поклонник Даниила Хармса. Я не отрицаю его гениальность, просто не нравится мне его читать. Не все же должны любить всех без исключения гениев. Я, например, еще Пруста не люблю. И даже, страшно сказать, Андрея Платонова.

От приезда в Саратов Жени Попова у меня осталась фотосессия: вокзал-встреча-бутылки-бутылки-бутылки-вокзал-проводы.

К этому времени АТХ играл, вероятно, на лучшей из всех площадок, по которым театр гоняла городская власть, – в Доме архитектора. Мало того, что Верховых с труппою освоил это нетеатральное помещение, он еще сценографически заставил работать огромные низкие окна, выходящие на Первомайскую улицу.

Спектакль «Прекрасность жизни» поверг меня (вероятно, лучше всех в зале, да и на сцене, знавшего прозу Попова) в неистовое наслаждение. Изредка я поглядывал на автора, который, судя по бороде и лысине, был крайне доволен. Из всего ярчайшего карнавала актеров назову (а надо бы всех) восхитительную Лену Блохину в облике помещика Андрея Андреевича Мышкина из ремейка чеховского рассказа «Налим» – в халате и феске с трубкою, рассейского барина. Ах, Блохина! (Между прочим, у Попова была дворянская фуражка, но феска – это, конечно, лучше.)

Однажды Иван Иванович задумал вывести и меня на сцену. Кастинг в голове режиссера я проходил одновременно с уже упоминавшимся моим другом Илюшкой – никаким, конечно, уже не Илюшкой, а доктором Петрусенко с большой бородой и большим животом. Мы оба об этом «соперничестве», конечно, не знали. Режиссерской фантазии Верховых при постановке спектакля «В ожидании Коровкина» по повести Ф. Достоевского «Село Степанчиково и его обитатели» понадобилось действующее лицо, настолько важное, что имя его вынесено в название спектакля, тогда как оно лишь молча пересекает сцену.

До репетиций дело не дошло, но на премьере я с особым интересом ожидал появления того, на чьем месте мог бы оказаться. Увидев, понял цель мастера: соперник был поосанистей и меня, и доктора. И – пьяный. Спектакль был изумительный: Ганин-Опискин одним блудливым взором уже сообщал залу всю жестокую смесь русского шутовства и мошенничества, Кудинов в роли Полковника был воплощенная глупость и бла-ародство, а уж Блохина – безумная маменька – предел восторга!

Еще был «Моцарт и Сальери» с Пушкиным-Верховых, сумрачно возникавшим с улицы в окне Дома архитектора. Эх, было, было!

Вспоминается и театр «Теремок» – осень, надо полагать, ноябрь, 1998 года. 10-летие АТХ. Кроме поздравительной части, давали сцены из нового, не вполне еще готового спектакля «Суер-Выер» по Юрию Ковалю. Как живой возникает передо мной всё тот же Илюшка, точнее, его спина (я сидел выше), трясущаяся от смеха, когда Инге Монаенковой, в роли ресторанной певицы, исполнявшей советский шлягер, сообщники-шпионы подкладывали в сумочку пистолет.

А еще запомнилось (уж извините – что запомнилось, то запомнилось), как подбежал ко мне хлопотливый и, увы, покойный Володя Тартер и велел показать мой пригласительный билет. Глянул, воскликнул: «Я так и знал – ВИП! Ладно, я сейчас у Гришки Цинмана возьму – он уходит», – и скрылся в толпе. Загадочный смысл его поведения вскоре разъяснился, когда пригласили на банкет только тех гостей, у которых стояли в билете вожделенные три буковки. И тут же, как ледокол на льдины, ринулся на толпу своей уникальной (высота, ширина и толщина равны) фигурою Лев Горелик прямиком к фаршированной щуке, вызвав неподдельный восторг у бывшего со мной моего младшего шестнадцатилетнего сына.

Можно вспомнить еще что-то мимолетное, как однажды пили пиво в кафе «Уик-энд» на проспекте с Иваном Ивановичем, как однажды преградила мне выход из троллейбуса поставленная шлагбаумом поперёк двери длиннющая нога, как оказалось, принадлежавшая Диме Черныху, и что-то еще однажды, да что уж там, если... театр АТХ пережил журнал «Волга» лишь на год.

8

Впервые я побывал в театре вне Саратова в городе Петрозаводске году в шестидесятом.

Мы приехали с мамой на зимние каникулы к ее сестре Ядвиге, тете Яде, которая вскоре настоятельно рекомендовала нам посетить их драматический театр, по ее словам, замечательный. И мы посетили. Я не помню ни здания театра, ни его внутреннего убранства, ни спектакля, потому что видел и сознавал лишь одно – свой внешний вид.

Надо пояснить, что зимою я одевался в байковый лыжный костюм и суконные ботинки на молнии. Так и в Петрозаводск приехал. Тетя Ядя сказала, что в таком виде в театр идти нельзя, и выдала мне костюм моего двоюродного брата Алеши (он был двумя годами старше) и его же черные туфли. Так как ни того, ни другого я еще никогда не надевал, то очень волновался, всей кожей ощущая на себе роскошный прикид. В театре, особенно когда поднимались по лестнице с зеркалами, мне казалось, что все смотрят на меня. Про сам спектакль я помню лишь то, что он был из современной жизни, и что публика непонятно живо для меня реагировала на действие.

Второй, и скорее всего в последний раз в жизни мне довелось побывать в провинциальном театре уже через много лет, когда я работал в журнале «Волга». В городе – тогда еще Горьком, а не снова Нижнем Новгороде, собрали писателей Поволжья, по какому поводу – не помню. И спектакля не помню. Может быть потому, что подобно коллегам, всё время угощался. Помню лишь то, что была поздняя осень и хозяева-нижегородцы Валера Шамшурин и Юра Адрианов настойчиво предложили подойти к служебному ходу, чтобы благодарить выходивших актеров.

А еще Шамшурин рассказывал о недавнем театральном происшествии. Тогда активно начинала работать очень рано ушедшая из жизни критик Галина Егоренкова, печатаясь и у себя в городе, и у нас в «Волге», и в Москве. Кто-то из нас спросил: почему нет Егоренковой? Шамшурин очень весело объяснил, что вход Гале в театр, по крайней мере пока, воспрещен обкомом партии. Галя активно писала о театре и чувствовала себя там, как дома. И вот недавно, на премьере, где на ее беду присутствовал первый секретарь обкома, Галя, будучи в состоянии среднего алкогольного опьянения, вошла в зал во время действия с горящей сигаретой во рту, и усевшись в первом ряду, продолжала дымить.

9

Саратовский театрал имел неплохое знание о столичных сценах, даже и не посещая Москвы и Ленинграда. Существовала добрая традиция обширных летних гастролей. На моей памяти не приезжали в Саратов разве что Большой театр, БДТ и Таганка, все другие, кажется, были. В те времена, для вящего привлечения публики, была практика публиковать на афишах фото актёров соответственного иного театра, снимавшихся в кино, со списком фильмов и ролей. Эта приманка оскорбляла мою провинциальную гордость.

На гастролях МХАТ в Саратове я видел и «Лес» в постановке Кирилла Серебренникова. Если я напишу, что постановка спорная, это на современном языке означает что просто я не хочу сейчас, в разгар «театрального дела», ругать Серебренникова. Нет, спектакль мне во многом понравился, несмотря на режиссерские выходки: перенос времени действия в советскую действительность (что уже становится штампом), замена богатых соседей-помещиков Гурмыжской на её подруг и т.д. Хороши были исполнители, Улита-Добровольская, Тенякова-Гурмыжская, Счастливцев-Леонтьев и запредельного возраста, но всё еще красивая Кира Головко. Назаров в роли Несчастливцева отчаянно переигрывал, хотя и роль такая, переигрышная, и уловить различие между Счастливцевым и Назаровым было сложно.

В Большом театре я был однажды. Туда пригласил нас, меня и В. Бирюлина, который тоже работал в «Волге», С.Н. Семанов, жена которого Люба была дочерью солистки театра народной артистки Валентины Левко.

Позволю себе разделить отношение Семанова, свое и Бирюлина к факту посещения Большого театра. Сергей Николаевич справедливо полагал, что делает нам большой подарок. Я, понимая, что подарок не дешевый, все же не знал истинной его цены, бедный Витя вообще ничего не понимал и вскоре заснул в кресле.

А попали мы не просто на очередной спектакль, а на премьеру «Сказания о невидимом граде Китеже и деве Февронии» Н.А. Римского-Корсакова, которое не ставилось более 30 лет. И еще не будет поставлено 18 лет. Было это в 1983 году. Впрочем, скорее всего это была не официальная премьера, а так называемая приемка, то есть прогон спектакля на отобранной публике пред его разрешением или запрещением. Среди публики бродило немало знаменитостей, но все обращали внимание на Илью Глазунова с женой, которая через три года выпрыгнет из окна его мастерской. Еще до того, как нам указал Семанов, я увидел их и узнал её по портрету работы его кисти. Супруги Глазуновы были художниками спектакля, постановщиком Роман Тихомиров, дирижировал Евгений Светланов.

На меня неизгладимое впечатление произвела «Сеча при Керженце». Оформление и постановка, по-моему, были достойны великой музыки.

В антракте пошли в буфет, и Семанов предложил выпить шампанского. Почему-то, не из скупости, а скорее из ложного этикета мы взяли по бокалу, а не по бутылке. После антракта Витя опять заснул. Места были в партере.

Вот и все про Большой.

А еще однажды я был в Малом. То есть не совсем так: я был в зале Малого театра на спектакле БДТ «Амадеус», где Сальери играл Владислав Стржельчик, а Моцарта – восходящая звезда театра рано умерший Юрий Демич. Несмотря на великого Стржельчика и темпераментный талант Демича, спектакль мне не понравился. Потому что не понравилась пьеса Шеффера. Может быть, из-за навсегда неизгладимой из сознания трагедии Пушкина.

Тот вечер в Малом запомнился еще и потому, что в антракте вдруг совсем близко увидел ожив-ший портрет из числа тех, что вывешивали на фасадах и носили на демонстрациях. То был еще полгода назад член Политбюро и ближайший сподвижник Брежнева свергнутый А.П. Кириленко. Шел все тот же 1983-й год.

Что еще личного у меня есть сообщить про МХАТ? Разве что рассказ мамы про то, как в 1942 году, когда театр был эвакуирован в Саратов, жители нашей Малой Казачьей улицы наблюдали, как по дороге из гостиницы «Европа» в здание ТЮЗа проходили мхатовцы. Мама говорила, что более всего любопытства вызывала пара Москвин – Тарасова.

10

В театре «Современник» впервые я побывал зимой 1968 года, когда театр помещался на Триумфальной площади рядом с памятником Маяковскому.

Тогда была счастливая для студентов традиция у нас в университете – в зимние каникулы отправлять студентов третьего курса за символическую плату в столицу с проживанием в общежитии МГУ – в высотке. Аналогичный подарок ожидал нас и на четвертом курсе, только вместе Москвы был уже Питер.

На поход нас, т.е. меня и Серёжу Ветрова, увлекла Галя Килина, девушка восторженная, убедив, что билеты сумеем купить. Билетов в кассе естественно не было, и она предложила невероятный вариант: «Давайте дождемся у служебного хода Олега Табакова и скажем, что мы из Саратова». И уломала-таки. И вот идет Табаков. Килина ринулась к нему и затарахтела: «Олег Палыч, мы из Саратова, Олег Палыч, мы мечтали, Олег Палыч, мы земляки, Олег Палыч...» И т.д.

Случилось удивительное. Знаменитый артист сказал, что для нас – уж не помню в кассе или у администратора – будет три места на сегодняшний дневной спектакль.

И мы посмотрели спектакль. Болгарская пьеса, легенда не легенда, старая жизнь, село в горах, романтика, любовь... Очень скучный спектакль. В главных ролях были заняты Михаил Козаков и Анастасия Вертинская. Они мне тоже не понравились.

В другой раз я попал в «Современник» уже в здании на Чистых прудах в 1974 году. Опять билет с рук, причем два вечера подряд. Один из спектаклей был премьерой, на входе все оборачивались на необычайно высокого Сергея Михалкова в необычайно длинной дубленке в обнимку с необычайно красивой молодой женщиной.

А спектакль был по пьесе Виктор Розова «Четыре капли». Это четыре одноактных пьесы. Помню лишь одну, где девочка заступается за несправедливо унижаемого отца. Вроде молоденькая Неёлова её играла... Справился в Сети – точно, Неёлова. Но среди исполнителей указаны и любимые мной П. Щербаков и Ю. Богатырев, а их я не помню. Плохо. Может, потому и от театра отвращался, что ни черта оттуда не выносил? А может быть, от нелюбви к пьесам Розова? Что я видел? «Вечно живые» в телезаписи «Современника» и кинофильм «Летят журавли», «Традиционный сбор» в нашем ТЮЗе, по ТВ заснятые как фильмы «С вечера до полудня», «В добрый час» и «В поисках радости» (фильм назвали «Шумный день»). И еще на гастролях в Саратове пензенской Драмы «Гнездо глухаря», тогда в саду в антракте возле театра драмы Ю.П. Киселев познакомил меня с главным режиссером пензенского театра, и я что-то высказал насчет того, что конфликт в пьесе взят из былых времен, сейчас семейные распри иные, на что тот ответил: «На наш век “глухарей” хватит». На мой вкус, лучшая пьеса Розова это «Традиционный сбор», и по мастерству, и по передаче духа своего времени. Слабое место во всех его пьесах – это непременное сентиментальное назидательство. В заслугу же Виктору Сергеевичу надо отнести две великолепных его инсценировки русской классики – «Обыкновенную историю» по роману И.А. Гончарова и «Мальчики» по «Братьям Карамазовым».

В нашем ТЮЗе я видел оба спектакля, и оба были куда как хороши. «Обыкновенную историю» я видел один раз с Михаилом Козаковым в роли Адуева-старшего, другой – с Олегом Табаковым в роли Адуева-младшего. И оба раза с Лилией Толмачевой (Елизавета Александровна). Тут, к слову, – другого повода не будет – вспомню, что в 10-м классе у нас астрономию преподавала мать этой замечательной актрисы, женщина с дочерью обликом схожая и очень вредная. Я не видел от нее ничего, кроме двоек, не только потому, что не знал предмета, но и после того, как на ее вопрос, что могу сказать о Марсе, сообщил, что и на Марсе, как пелось в тогдашней песне, тоже будут яблони цвести.

В «Мальчиках» (история дружбы Алеши Карамазова с Колей Красоткиным и компанией) по моему тогдашнему (1972) разумению, было хорошо всё. Достоинства спектакля проистекали из сугубой верности, скажу даже большой любви, к первоисточнику как инсценировки Розова, так и игры тюзовских исполнителей и очень стильного строгого оформления.

Зато другой спектакль «Современника», на который я тогда попал, был «Провинциальные анекдоты», пьеса стала моим открытием Вампилова, с которым я уже не расставался, а уже на следующий год написал большую статью, которая переиздавалась, если не путаю, помимо журнала «Наш современник», еще четыре раза, в том числе и в переводе на французский. Статья не прошла незамеченной. Покойный Саша Панков рассказывал мне, что на каком-то собрании наблюдал, как Олег Ефремов, потрясая журналом с моей статьей, возмущался её главным тезисом про «Утиную охоту»: Зилов не столько жертва обстоятельств, сколько сам их создает, губя близких ему людей.

Необычные гастроли «Современника» в Саратове состоялись летом 1965 года. Не знаю, самому ли Ефремову это пришло в голову или кому-то еще, но решили быстро в течение гастрольного месяца снять художественный фильм, в котором был бы занята вся труппа, а действие вертелось вокруг строящегося в то время в Саратове моста через Волгу. Так фильм и назвали «Строится мост». В нем действительно снимались все актеры театра, а рядом с ними мелькали их саратовские коллеги. И с возможной полнотой воспроизводилась тогдашняя стадия возведения крупнейшего в Европе моста: изготовление на берегах, доставка и утверждение на дне, то есть на глубине несколько десятков метров, опор в виде т.н. «птичек» – дугообразных бетонных пролетов. В фильме с большой по тем временам смелостью осуждались «сталинские преступления» и бывшие сидельцы в исполнении Галины Волчек и Евгения Евстигнеева пели «Я помню тот Ванинский порт». И все же фильм «Строится мост» никак удачей назвать нельзя. Уж очень условно заданным был сюжет, ходульны персонажи – передовой инженер в исп. Евстигнеева, карьерист-райкомовец (П. Щербаков), пылкий кавказец (М. Козаков), у ленты отсутствовал художественный центр, она расползалась на фрагменты, а мост при всех его достоинствах все же объединить действие не мог. И все же, кажется, другого такого не было: за месяц фильм, в ролях вся труппа, все съемки только натурные.

II

В ленинградских театрах я был, увы, не скажу точно сколько раз. Под сомнением моей ослабевшей памяти посещение ленинградского ТЮЗа. Но я хорошо помню малопривлекательное здание худшего стиля 60-х годов неподалёку от Витебского вокзала, помню на сцене Тараторкина и Хочинского, помню какую-то сцену, где – сенсация! – показывалась до пояса обнаженная актриса. Почему-то мне кажется, что это был Хемингуэй, но в интернете не нашел сведений о постановках его произведений в ленинградском ТЮЗе.

Зато вполне четкие воспоминания сохранились у меня о посещении Александринки, тогда театра имени Пушкина. Помню спектакль по насквозь соцреалистической пьесе Самуила Алешина «Всё остается людям», где были заняты и Николай Черкасов в главной роли академика Дронова, и Бруно Фрейндлих в роли попа, друга-антагониста героя и, кажется, Игорь Горбачев в роли нехорошего приспособленца. Помню отчетливо тяжкое ощущение неловкости от общей фальши спектакля, несмотря на прекрасных актеров, безысходной бездарности творимого, бездарности пьесы, вымученности постановки в соединении с имперским великолепием зала и интерьеров. Была зима, на памятник Екатерины Великой у театра ложился не мокрый, как положено петербургскому снегу у Достоевского, а вполне сухой свежий снежок, а год – не помню.

Еще было посещение Большого драматического театра зимой же, уже в январе 1969 года. Бездарно проведенная мною и Валерой Виноградским т.н. музейная практика четверокурсников филфака в Ленинграде, когда мы ухитрились проворонить встречу нашей группы с Виктором Мануйловым в Пушкинском Доме, предпочтя «Цинандали» ленинградского завода «Самтрест». Билеты купили в кассе, а не с рук, на самую верхотуру. Кроме спектакля, не менее отчетливо помню, как были голодны и, не имея денег на дорогой буфет, озираясь, ели булку в сортире, запивая водой из-под крана.

Товстоноговские «Мещане» – лучший спектакль, что я видел (кроме «живого» неоднократно смотрел телевизионную запись). И столько понаписано об этом шедевре, столько верных и точных слов сказано, что мне остается промолчать.

В Театре имени Ленсовета был я со старшим сыном в 1979-м или 1980-м году на спектакле «Человек, животное и добродетель» по пьесе Луиджи Пиранделло.

Билетов в кассе, естественно, не было. Театр Игоря Владимирова находился тогда в большом зрительском фаворе. Но я уже испытал недавно в Москве, и на днях в Питере, волшебную силу алой кожаной книжечки с золотым орденом Ленина, и сунулся в окошечко администратора и предъявил красно-золотой членский билет Союза писателей. Меня попросили немного подождать и вскоре дали два билета с какой-то необычной нумерацией – наши места были в ложе!

На входе ожидало неожиданное препятствие. Контролёр сказала, что детям этот спектакль посещать нельзя. Я пьесы не знал, но уверенно заявил, что мой сын (Денису было тогда 11 или 12 лет) всё поймет. Строгая женщина неожиданно заявила: «Тем хуже». Я довольно долго препирался с нею, и в конце концов она впустила нас со словами: «Вам же самому будет стыдно, что он про это смотрит».

Я бы все-таки не сказал, что сюжет спектакля был уж так откровенно «про это», но конечно, весь сюжет держится на беременности неверной жены, со страхом ожидающей возвращения мужа из долгого плавания, и ее с любовником ухищрений, чтобы супруг счел будущего младенца своим. Не могу знать, насколько все понял сын, но смотрел он на сцену со спокойным интересом. Я же плохо помню спектакль, за исключением блестящей как всегда игры Анатолия Равиковича в роли рогоносца Паолино.

Наше внимание было отвлечено от действия появлением в ложе, чуть позже начала, соседа в образе и облике не иначе как африканского принца в диковинных национальных одеждах. Длинное, яркое, расшитое золотом, но с короткими рукавами, которые были украшены золотыми браслетами. Я было хотел назвать это одеяние бурнусом, но узнал, что бурнусы носят лишь арабы, а наш сосед был настоящий негр.

И с ним сопровождающий, тихо ему переводящий. Да, мы попали в VIP-ложу в первом ярусе вблизи сцены.

Понимаю, что такие подробности и детали в ущерб рассказу о самом спектакле выдают во мне не настоящего театрала: Кириленко в Малом, негритянский принц в театре Ленсовета и т.п., но я предупреждал...

12

На филфаке нас учили, что драма есть наравне с эпосом и лирикой законный род литературы. И ещё я любил читать пьесы. А когда стал главным редактором «Волги» (1985), к этому времени пьесы совершенно исчезли со страниц «толстяков». Не могу сказать точнее, но где-то с середины 60-х годов они перестали там печататься. Когда я с кем-то поделился своими планами, меня предостерегли: будешь завален пьесами, как кабинет театрального завлита. И всё же рискнул. Начали мы с пьесы начинающего Алексея Слаповского «Бойтесь мемуаров». Мы (я) закрыли глаза, видя очевидные ее слабости, напечатали, чтобы поддержать перспективного автора, а главное создать прецедент, начав, точнее восстановив, старую традицию русских журналов публикацией пьес.

Но никакого драматургического вала на редакцию не нахлынуло, и доля графоманских пьес была несопоставима с таковыми же в потоке романов, повестей и поэм. (Да, потоке, сейчас трудно представить, но наш литературный журнал получал в советское время столько бандеролей, писем и даже посылок, что секретарь ходила на почту с тележкой – унести вручную ежедневные поступления было не под силу.) И те две или три пьесы, что мы все же напечатали, были очень плохи. Исключение могут составить «Место Бога» Дмитрия Александровича Пригова (1995) и «Хреново темперированный клавир» Евгения Попова (1996).

А в том, что «Волга» напечатала гениальную пьесу Андрея Платонова «14 красных избушек», наших заслуг было немного. Из архива ее вытащил и поставил Александр Дзекун, а мы лишь присоединились.

.....

Ну, а самое главное, что осталось на всю жизнь в памяти от театра, это алый бархат барьера, отделявшего зал от оркестровой ямы и доносившиеся оттуда звуки настраиваемых инструментов.

Георгий КВАНТРИШВИЛИ

«В ЛАДОНЯХ ЗАВТРА»:
биография писателя Александра Кремлёва

В 1920-м году бакинские прохожие могли быть свидетелями такой сцены. По улице, не разбирая дороги, шёл высокий сутулящийся человек. Обмотки его ботинок распустились, волоклись за ним шлейфом, поднимая пыль. Вывернувший из переулка матрос кинулся к нему, перегородил дорогу.

– Виктор Владимирович, вы покушали? Я говорил жене, чтобы она вас покормила. Давайте, я вам обмотки завяжу.

Матрос, присев, отряхивает обмотки, оборачивая их вокруг голеней собеседника.

Долговязый, глядя поверх присевшего собеседника, адресуясь как бы и не к нему, сообщает:

– Я нашёл ключ к часам человечества и отныне буду его часовщиком. Основы предвидения будущего намечены.

– Сегодня вечером идём в баньку, Виктор Владимирович. Я мыльце для вас приготовил. Полотенце тоже. Не забыли?

– Мой основной закон времени: во времени происходит отрицательный сдвиг через 3n дней и положительный через 2n дней; события, дух времени становится обратным через 3n дней и усиливает свои числа через 2n...

– Бельишко Марфуша выстирает... А вы б и галифе дали ей зашить – негоже с дырой-то на заду...

– Когда будущее становится благодаря этим выкладкам прозрачным, теряется чувство времени, кажется, что стоишь неподвижно на палубе предвидения бу дущего...

– Паёк надо забрать после обеда. Можно как обычно. Я заберу ваш вместе со своим, занесу к вам на этаж, хорошо?

– Чувство времени исчезает, и оно походит на поле впереди и поле сзади, становится своего рода пространством...

– Извините, Виктор Владимирович, мне бежать пора. Значит, паёк ваш я занесу, и не забудьте – банька сегодня!

Матрос вскакивает и быстрым шагом идёт к переулку. Перед тем как завернуть за угол, поворачивается и повторяет по слогам: бань-ка! се-го-дня!

Долговязый некоторое время стоит в раздумьях, затем, бормоча «отрицательный сдвиг через 3n дней, положительный через 2n», продолжает путь.

Велимир Хлебников (вы догадались?!), шевеля губами, уходит дальше и дальше. Что касается его доброго ангела в матросской форме – о нём сейчас и будет рассказ.

Он начальствует в Политпросвете Волжско-Каспийской флотилии. Том самом, где Хлебников оформлен лектором школьно-библиотечной части. Собственно, это оформление – дело его рук. Лектор из Хлебникова, особенно в нынешнем его состоянии, никакой. Но вот паёк, вот место в общежитии, а там что-нибудь придумается.

Они с Хлебниковым земляки, оба уроженцы Астрахани. Что важнее, что оба поэты. Хлебников поменял имя Виктор, данное родителями, на Велимира. Его земляк и коллега, наоборот, оставив имя, поменял остальное. Кроме фамилии ещё и отчество и даже год рождения.

Не всё, что сейчас известно о хлебниковском друге, подтверждено документами. Часть биографии восстановлена по семейным легендам. И по официальным автобиографиям, доверять

которым, как выяснилось, ещё опаснее, чем легендам. Есть ещё один источник информации, о котором позже.

Саша Лоскутов родился в семье рыбака и прачки. Его отец однажды ушёл в море и не вернулся. В начальном обучении Саша показал успехи настолько блестящие, что принят в гимназию без платы за посещение. Тут появляется ранее упомянутый источник информации. Одноклассник Сашки Лоскутова – Владимир Козин. Вряд ли имя что-либо скажет с ходу. Но «Козин, Владимир Романович», вбитый в поле авторов библиотечного каталога, обрастает двумя десятками книг. Друг по гимназии послужил прототипом героев минимум пары рассказов и одной повести. О степени близости к реальности можно судить по отзывам вдовы Лоскутова по прочтении, уже в семидесятые годы: «Всё так и было!». Сделаем скидку на то, что знакомство будущих супругов состоялось лишь осенью 1919 года.

«Она меня от кулацких баб спасла: я им вечером лекцию с паперти читал о происхождении человека, – не в то село заехал, думал, бедные рыбачки, они лекцию выслушали, накинули на меня сеть и хотели в Волге утопить.

– Ну?

– Я и пошел ко дну, а Марфуша говорит: “Дуры, не дали матросу досказать, – может быть, и правда, мужики от обезьян произошли, а бабы богом созданы!” Бабы меня баграми вытащили и спрашивают: “Мы от кого произошли?” – “От ангелов, чтобы вам всем подавиться!” Они засмеялись и опять меня в воду уронили, а Марфуша тем временем успела мне нож в руки сунуть, я сеть разрезал и выплыл на другой берег.

– Ведь ты плохо плавал!

– С тех пор научился» (рассказ «В серой гимнастёрке», прототип нашего героя беседует с alter ego автора. Следует привести вторую часть отзыва лоскутовской вдовы: «Но там, где я, всё было не так»).

Возвратимся к гимназическим временам. Сведения Козина, пусть и облеченные в беллетристическую форму, стоит принять во внимание, исходя хотя бы из следующего резона: «С Александром Лоскутовым мы просидели на одной парте пять лет». «Мы сидели на предпоследней парте» – добивает точностью воспоминаний одноклассник-однопартник.

«Одарена, сочна была натура Саньки! За редкие способности он учился бесплатно. Поэт-самородок, он обладал мгновенной, прочной памятью, много знал и читал везде: в классе, в лодке, в гостях, в церкви, куда водили нас ради общественного приобщения к единому богу.

Санька жил на широкой окраине, что делала бочки для сельди, играла в буйтягу[1], с похмелья молилась богу, неумеренно рожала детей, глумилась над чинами, чиновниками, чинопочитанием» (рассказ «Ранние познания»).

Лоскутов вспоминал о рукописном гимназическом журнале, у друга-писателя упоминаний о нём не нашлось.

Зато досуг астраханских гимназистов и круг их чтения описан:

«На Калмыцком базаре мы купили бударочку[2], закрепив паклю дранками, осмолили, внутри выкрасили зеленью.

<...>

Спали мы у воды, у ночных огромных костров, пугливых и замирающих. Санька рассказывал, как жили в разные времена разные люди, читал Игоря Северянина, Велимира Хлебникова, Гоголя, а иногда подпольные брошюры» («Ранние познания»).

К Северянину, Хлебникову и Гоголю вкупе с подпольными брошюрами приплюсуем многократно поминаемую тем же Козиным слабость к латыни и поздней античности.

---

[1] Буйтяга, вар. буй-тяга, буй и тяга, буй-мяч, буй – популярная в описываемые времена в Астрахани игра, сходная с лаптой.

[2] Бударка – (будара) небольшое ловецкое судно, встречающееся в северной части Каспийского моря. Имеет сильно заостренную носовую часть с большим уклоном вперед.

«Книги и книги, лодки-бударки, ставные сети, толстые рыбы, загар, разъяренные споры <...>. Астрахань – удобнейший город для мальчишек!» (там же).

Дальше опять слово гимназическому товарищу. Автор скрывает своего друга под псевдонимом «Стрельцов», происхождение которого станет ясно дальше.

«В шестнадцатом году Стрельцов пристал к уланам. Мальчик был крупного роста, сообразителен, смел.

Во время атаки был ранен в плечо, слетел с седла. Пока он стонал на поле брани, чья-то пуля попала ему в зад» (повесть «Военморы»).

Позволим себе усомниться в дате и отодвинуть ее минимум на год назад. Находясь в госпитале после ранения, Лоскутов даёт свое стихотворение для альманаха в пользу раненых. Альманах выходит в 1915-м году в Полтаве. Автобиография упоминает скандал после выхода альманаха именно из-за лоскутовского стихотворения, якобы из-за недостатка патриотического духа. Составитель альманаха, местный газетчик Ольгин, лишается рабочего места. По семейной легенде, «пристав» к уланскому полку, расквартированному в Астрахани и направлявшемуся на фронт, гимназист прибавил себе шесть лет. И именно с этого времени годом рождения указывал 1892-й.

«Вернувшись в Астрахань, Стрельцов послал к черту всех патриотов тыла и воинственный пыл прапорщиков в хорошо сшитых френчах. Он стал большевиком.

Большевизм Стрельцова отличался неразборчивым характером: он собирал на “Заем Свободы”[3], имел подозрительные знакомства. В дни офицерского восстания его повели к стенке. Матросня спасла Астрахань от белой неожиданности и не дала Стрельцову пасть неизвестным героем».

По семейной легенде, «пасть неизвестным героем» Лоскутову захотела помочь и «матросня». «Неразборчивость», «подозрительные знакомства» и гимназическое прошлое – всего этого, по мнению матросов, вполне хватало для расстрельного вердикта. Лоскутова спас дядя. Точнее, дядина профессия – грузчик, а ещё более – свойственная этой профессии экспрессивная убедительность высказываний. Которая, восхитив матросов классово близкой чёткостью формулировок, спасла племяннику жизнь. И именно с этого времени урождённый Александр Николаевич начал указывать отчество по дядиному имени – Александр Яковлевич.

«В восемнадцатом году Стрельцов носил старую солдатскую фуражку, разноцветные обмотки – одну бледно-желтую, другую зеленую, штаны с мотней, в карманах ариетки Вертинского, собственные “поэзы”, пузырек с цианистым калием – и кличку “женский батальон” за припухлый зад» (там же). Видок вполне декадентский. Возможно, как раз в это время Лоскутов знакомится с коллегами по поэтическому цеху.

Впрочем, одно из первых знакомств такого рода, вероятно, произошло ещё до расстрельных злоключений. Упоминание его, кажется, не слишком-то дружелюбное, вкладывает в уста своего двойника Козин: «Был такой в семнадцатом году в Астрахани – “сын солнца, апостол радости и веселья”, курносый педераст, ходил в студенческой тужурке и белых трусиках, рыжие волосы до плеч, простоту проповедовал» («В серой гимнастерке»).

На сайте дома-музея Хлебникова «апостола радости и веселья» идентифицировали достаточно легко, это поэт и художник Дмитрий Петровский. Правда, на фотографиях курносым он не кажется. Известно, что в Астрахани Петровский летом 1917-го активно общался с Хлебниковым, вложив в позднее опубликованных воспоминаниях в уста Велимира чуть ли не самую его знаменитую, – хотя и апокрифичную, – мрачно-лаконичную сентенцию: «Степь отпоёт». Хлебников, в свою очередь, обессмертил Петровского, выведя его в рассказе «Малиновая шашка». Описывающем, впрочем, более позднее время и другие места, дачу харьковских знакомых Синяковых. Если Лоскутов действительно познакомился с «сыном солнца», то трудно предположить, что он

[3] В агитации за кредитование Временного правительства («Заём Свободы») приняли участие, в числе прочих, упомянутые Игорь Северянин и Велимир Хлебников.

не захотел познакомиться с его другом. Входившим, к тому же, в число его любимых авторов. Оставим здесь знак вопроса.

События этих лет темны. Гимназический друг теряет Лоскутова из виду и встречаются они совершенно случайным образом на пароходе, идущем из Астрахани в Баку. Вероятно, уже в 1921 году. «Он рассказывал о бродячем восемнадцатом годе, когда смерть торопливо шла за ним изо дня в день, не отставая ни в калмыцких степях, ни у вятских лесов <...>» («В серой гимнастерке»).

Один из эпизодов этого времени, географически локализуемый как раз посередке между «калмыцкими степями» и «вятскими лесами», пересказывает сам Лоскутов, точнее, литературный герой:

«На Волге, против Самары, я жил летом в восемнадцатом году <...>. Ловил рыбу и писал в шалаше стихи о вечной любви. В Самаре тем летом расстреливали больных проституток, чтоб не заражали революцию. На заре вижу: плывет женщина, а за ней длинные волосы. Я и вытащил ее за волосы к моему шалашу. Она очнулась. Таких женщин я никогда не видел: глаза как серые камни, тело строгое, грудь легкая, круглая. Лежала она навзничь, как распятая, смотрела в небо над Волгой и молчала. Я тут же, у ее открытых ног, написал о ней стихи и склонился поцеловать ее колено. А она подняла мою голову и устало спросила: “А деньги есть у вас, молодой человек?”» («Военморы»). Через несколько лет поэт переедет в Самару и почти вся оставшаяся жизнь будет связана с этим городом. Но о его более раннем пребывании здесь умалчивают и семейные легенды, и автобиография. Установить время описанного в эпизоде события можно с точностью практически до недели. 8 июня Самара была взята совместными усилиями чехословацкого корпуса и повстанцев, руководимых эсерами. Расстреливать проституток для «защиты революции» могли, очевидно, удерживавшие ранее город большевики.

С 1919 года именно у большевиков оказывается Лоскутов. Он получает партбилет и становится военмором Волжско-Каспийской военной флотилии.

Что ж, для нечуждого литературы молодого человека компания оказалась впору. Командующий флотилией Федор Раскольников, будущий дипломат-невозвращенец, щеголял псевдонимом, взятым напрокат у героя Достоевского. Его супруге, по совместительству комиссарше разведотряда, бывшей пассии вождя акмеистов Ларисе Рейснер, предстоит стать – ранняя смерть в 30 лет лишь укрепит легенду – одной из основательниц соцреализма. На каком этапе в эту компанию вливается наш герой, пока ещё не совсем ясно. Но к тому моменту, когда штаб флотилии перемещается в Баку, а старшие товарищи планируют переход рубежей бывшей Российской Империи (дебют в череде интервенций адептов Мировой Революции), Лоскутов уже тут как тут. Недолгий бакинский этап биографии отмечен дружбой с Велимиром Хлебниковым. Ни до, ни после с коллегами такого масштаба судьба его уже не сведёт. Здесь уместно будет проанонсировать готовящееся исследование Александра Ефимовича Парниса, в котором, насколько можно судить, биография Хлебникова затянет в свою орбиту и нашего героя.

Наметим здесь лишь несколько сюжетов. Лоскутов, с 11 марта 1920 года вполне официальный глава семейства, живёт в общежитии Политпросвета уже упомянутой флотилии. Это бывший дом Спевако на Баиловской улице. Велимир вселяется в то же общежитие. Сначала в проходную комнату, но затем подселяется к художнику Доброковскому – в аккурат над квартирой нашего героя. В дополнение к синекуре Хлебников получает право пользоваться личной библиотекой младшего друга. Почти каждый день он спускается этажом ниже. Осторожно, спиной к стене, дабы скрыть от взоров протёртый до белья зад галифе, крадётся к книгам. Юная красавица Марфуша спустя какое-то время начинает ловить полные восхищения взгляды, женским чутьём понимая, что не только книги влекут сюда будетлянина. Увы, проявить солидарность в делах книжных ей мешает неграмотность, а солидарность в делах сердечных – замужество. Надо сказать, платоническая страсть влюбчивого «Председателя Земного Шара» никоим образом не охлаждает отношений между учителем и учеником. Марфуша же, при том, что смысл большинства из тирад Хлебникова остаётся для неё тёмен, а литература не представляет интереса – всю жизнь оставалась в

уверенности, что Хлебников был чем-то вроде мага и прорицателя. Видимо, некоторые качества, которые вскоре наделят Хлебникова прозвищем и статусом дервиша в глазах местных жителей, вначале успешно тестируются тут, в общежитии Политпросвета. Уверенность Марфуши в магических способностях будетлянина укрепляет следующий случай. Начальство обещает Лоскутову отпуск. Лоскутов намеревается сплавать в родную Астрахань и предлагает Велимиру передать весточку его родным. – Нет, сейчас Вы в Астрахань сплавать не сможете, – после некоторого раздумья произносит тот, – я передам письмо через три месяца. Надо ли добавлять, что именно на три месяца переносится по объективным причинам лоскутовский отпуск?!

Кстати, Лоскутов уже начинает подписывать изредка публикуемые в местной прессе стихи псевдонимом Кремлёв. Злые языки утверждают, что псевдоним собезъянничан у другого поэта-военмора, Ильи Шехтмана. Как бы то ни было, два человека, нимало друг на друга не похожих – за исключением того, что оба в это время считают себя футуристами, – публикуются чуть ли не на одних и тех же страницах под одной фамилией. Что впоследствии запутает библиографов и литературоведов. Илья дожил до 1971 года, перебрался в столицу, обильно публиковался – скромное публикационное наследие Александра зачастую будет приписываться более известному коллеге.

Но пока ещё будущие судьбы неясны. На какое-то время пути ученика и учителя расходятся. Хлебников отправляется с частями интервентов, вторгшихся в Иран. На радость современнику, коллекционирующему милитаристские потёки на портретах литературных знаменитостей. По какой-то причине Кремлёв не получает приказа участвовать в этой авантюре. Его путь лежит на Северный Кавказ, в Кабарду. Здесь флотилия намеревается создать сельскохозяйственную факторию – матросов надо кормить. Недавняя житница страны, Поволжье, уже опустошенное реквизициями, при первом же неурожае переживает самую чудовищную трагедию за всю свою историю. Эта трагедия отражена в названии opus magnum'а поэта Кремлёва – его поэме (см. «Волга», 2017, №11-12), первое слово в нём – Голод. Поэма начата ещё в Баку. До отъезда в Кабарду Хлебников, тоже собирающийся на Северный Кавказ, но в район Минеральных Вод, предлагает ученику на хранение свой архив. Ученик, чувствуя себя укоренённым в быт лишь ненамного основательнее учителя, вынужден мягко отказать. Этот отказ он будет переживать всю оставшуюся жизнь. Судьба хлебниковского архива, сохранность найденных им формул, которые – он разделял уверенность учителя в этом – позволят вычислять будущее, будут его беспокоить вплоть до момента, когда все беспокойства оборвёт расстрельный залп.

Судьбу и быт кабардинской фактории подробно опишет бывший одноклассник Владимир Козин в уже упомянутой повести «Военморы». Здесь друзья распрощаются навсегда. Увидеться им суждено уже не будет. Много лет спустя во время командировки Кремлёв, зайдя в книжный магазин, увидит имя друга на обложке книги. Испытав сильное удивление, он купит книгу и под стук железнодорожных колёс узнает о жизни друга после расставания. Козин выучится на ветврача, поедет усмирять болезни скота в Туркмению. В тридцатых, перед смертью, Кремлёв тоже кинется в Туркмению. Родные вспоминают, что Козин когда-то предлагал гимназическому однокласснику махнуть через границу. У его отца был какой-то вклад в банке, а Козин знал английский. Тогда Лоскутов отказался. В тридцатых передумал? Чекисты, взяв его в Туркмении, этапировали оттуда к месту суда – если это можно назвать судом – и казни. Впрочем, мы-то ещё не добрались до этого места.

На вопрос «Почему вы не в партии?» Маяковский традиционно отвечал: Партия послала бы меня ловить рыбу в Астрахань, а я нужнее здесь. Кремлёву, вступившему-таки, решать, где он нужнее, не приходилось. Послали его не ловить рыбу в родном городе, а... налаживать производство чернил, в Саратов. О Саратове в жизни Лоскутова известно лишь три факта. Первый: производство чернил он с честью наладил. Никаких официальных подтверждений этому, равно как и вообще фактов о каком-либо чернильном производстве в Саратове, пока не обнаружено. Приходится довольствоваться автобиографическими набросками самого Кремлёва, где он ставит себе в заслугу то, что именно благодаря ему цена флакона упала до пяти копеек. Правда, какова была более ранняя цена, Кремлёв не сообщает. Но будем надеяться, что падение было серьёзным

настолько, что гордость по этому поводу вполне заслуженна. Факт второй: после кабардинской пробуксовки в писательстве, тут снова начинает писаться. В частности, упомянутая поэма продолжена в Саратове. Факт третий: попытки познакомить со своим творчеством путём публичных авторских чтений терпят фиаско. Футуризм не пройдёт! Что странно, Саратов среди волжан славился продвинутостью и способностью к усвоению нового. То ли некие события в локальной истории привели к гонениям на авангард, то ли дело в личной несовместимости Кремлёва с какой-то из влиятельных в местной среде персон. С некоторым облегчением Кремлёв принимает новое партийное назначение: чернильных дел мастер посылается в распоряжение... самарского губиздата.

Начало самарского периода в биографии неплохо задокументировано. В городе к этому времени существует Самарское Литературное Общество «Слово», отчёты о мероприятиях которого оперативно публикуются в местной прессе. Первое упоминание о литераторе-новичке относится к началу января 1924-го года. На этом заседании «Слова» самарские коллеги прощались со своим коллегой, на недолгое время ставшим, если верить отчётам библиотек и изб-читален, самым популярным писателем страны. Увы, после переезда в столицу Александр Неверов быстро сгорел, свидетельствам его славы предстоит почти напрочь изгладиться из памяти потомков. После почтения памяти коллеги вставанием начались чтения.

«Последним выступил приезжий т. Кремлев с стихотворением “Кремль”, <...> очень сильным и революционным».

Как видим, в городе, в котором наш герой будет жить ближайшую дюжину лет и которому суждено стать его Голгофой, его пока считают приезжим. Но самарские писатели приняли приезжего радушно.

Практически сразу, 12 января, Кремлёва привлекли для чтений в более широкой аудитории. Первый блин, по пословице, выходит комом. Для чтения в Линдовом городке, – месте дислокации красноармейских частей, – поэт выбирает фрагмент той самой поэмы, которую можно прочитать целиком в прошлом номере «Волги». Начиная со строки «Распорота ветром рубаха», правда, конец фрагмента с такой же точностью установить невозможно.

Отзыв посетителя, вероятнее всего, армейского комиссара, В. Тенина, прислан в газету, он неутешителен:

«...это хорошие стихи, но увы! хороши только не для красноармейской аудитории, в среде которой преобладают крестьяне. Я наверняка скажу, что мало кто из красноармейцев понял содержание стихотворений, особенно стихотворения Кремлева, философского содержания, с такой непривычной рифмовкой, к которой крестьянин не привык (вообще нужно сказать, крестьянин не привык отвлеченно мыслить). Ему нужна непосредственность, ясность, больше реального, а тут ему преподносят философское стихотворение.

Недаром, пока читали стихотворения и рассказы, из зала большинство ушло. Почему? Потому, что непонятно. А чего слушать, когда непонятно?».

Представитель «Слова» держит оборону: «...по способу тов. Тенина пролетарская литература спустится до народнического сюсюкания и подыгрывания к крестьянской отсталости и темноте». Но Кремлёва, хотя и нехотя, отдает на растерзание: «Стих. Кремлева – единственное из прочитанных, может быть, могло быть непонятым некоторыми из присутствующих».

Впрочем, Кремлёв к этому времени уже полноправный участник местной литературной жизни. Конфуз с чтением перед крестьянами, загнанными в казармы принудительной мобилизацией, переживает стоически. И уже через несколько дней устраивает устный дебют много раз упомянутой поэмы: «Большую поэму – “Революция, Голод и Любовь” прочел А. Кремлев, являющийся поклонником поэта Велемира Хлебникова и усвоивший его фразеологию».

В этот же год Кремлёв начинает осваивать новый для себя род литературы – о чём незамедлительно появляются свидетельства.

«...выступил А. Кремлев с прозаическими произведениями... <...> Первым был отмечен рассказ посвященный пробуждению сознания своего единства с пролетариатом у парижской прости-

тутки, отказавшейся “работать” 1-го мая и присоединившаяся к зову “долой буржуазию”. Рассказ сжат, динамичен, выразителен и при экономии средств достигает большого впечатления. Т. Кремлев удачно пользуется приемом “среднего рассказчика”, характерным для современной западной литературы...» – после столь аппетитного описания остаётся только кусать локти, в сохранившейся части архива Кремлёва «рассказ посвященный пробуждению сознания своего единства с пролетариатом у парижской проститутки», увы, не обнаружен.

К счастью, далеко не все описания творческих удач писателя заставляют жалеть об утратах:

«...заслушан рассказ т. Кремлева (“Гибель князей”). <...>

Рассказ рисует быт бандитов, попавших в руки советской власти. Выступавшими критиками (т.т. Ильин, Боев, Салаев, Рутэс) было отмечено, что рассказ с художественной стороны написан сильно, сочно, производит большое впечатление».

Проверить впечатление, оценить силу и сочность упомянутого рассказа читатель может и самостоятельно – несмотря на частично совпадающее заглавие, кажется, как раз он извлечён из архива писателя и публикуется вслед за статьёй.

Дамоклов меч «непонимания», впрочем, продолжает нависать не только над поэтическими созданиями Кремлёва, прозаические не избежали той же участи: «К общему недостатку рассказов можно отнести то, что их трудно понять. Автор, рассуждая и мысля художественными образами, не знает меры в них» – суждение о «непонятности» подобно клейму, унаследованному учеником от учителя. Оно сопровождало всю жизнь Хлебникова, пережив его, оно же становится лейтмотивом высказываний о Кремлёве.

Тем не менее, в декабре 1924-го, к двухлетнему юбилею «Слова» Кремлёв избирается кандидатом в ревизионную комиссию общества. В следующем году, когда общество принимает решение готовить альманах, Кремлёв входит в инициативную группу, собирающую материалы.

Альманах под заглавием «Сарынь» тиражом в 800 экземпляров выходит через год, в 1926-м году. Проза Кремлёва, с обозначением жанровой принадлежности «сказ» и заглавием «Темирхан – последний князь», входит в его состав. И, забегая вперёд, это единственный известный мне случай публикации прозы этого незаурядного писателя.

Хотя первоначально в том же «Слове» идёт речь об издании персональных книг членов общества. В том числе и книги Кремлёва. Название, общую концепцию и эпиграф Кремлёв заимствует у своего учителя, Велимира:

И князь и князь и конь и книга.
Речей жестокое пророчество.
Нам незаметно словно иго
И неизбежно словно отчество.

Запомнив в слегка искажённом виде стихи учителя, Кремлёв старался сохранять ему верность в главном – в напряженном поиске истины. Он искренне пытается «соответствовать моменту», но из сатиры выходит чуть ли не пасквиль, в этюде о борьбе с бандитизмом (советский эвфемизм повстанчества) отрицательный герой невольно вызывает сочувствие читателя, а производственный рассказ обнажает технологию манипуляции общественным мнением и ужасает небрежением к судьбе отдельного человека.

Трудно судить о степени готовности книги кремлёвской прозы. Но выйти ей было не суждено в любом случае. Не только Кремлёв, почти никто из его литературных коллег по провинциальному литературному обществу так и не шагнул из круга единичных публикаций и устных чтений. Ко всем бедам, в очередную партийную чистку Кремлёв становится не просто беспартийным. Он становится вычищенным. А это гораздо, на порядок хуже отсутствия партийного билета. У вычищенного трое детей, единственное, чем он может их кормить – работой в газетах. Когда газетная поденщина одолевает нашего героя – творчество покидает его. В тридцатые годы он уже не пишет ни прозы, ни стихов. Впрочем, нет, для газетных нужд порою сочиняется нечто вот такое:

Мастерам высоких скоростей,
водителям сверхтяжелых составов.
НАПУТСТВЕННОЕ СЛОВО УЧАСТНИКАМ СОВЕЩАНИЯ СТАХАНОВЦЕВ-КРИВОНОСОВЦЕВ САМАРА-ЗЛАТОУСТОВСКОЙ.

И радость нам эта без края:
Нарком доложил ЦК,
Что транспорт теперь шагает
Походкою большевика.
<...>
И сердце поет не устами,
А делом – таким, что держись:
Спасибо, товарищ СТАЛИН,
За эту счастливую жизнь!..

Это написал человек, арестованный 31 октября 1937 года и 29 октября 1938 года приговорённый к расстрелу.

Александр КРЕМЛЁВ

РАССКАЗЫ[*]

Публикация Георгия Квантришвили

<Без названия>

На другой же день после избрания с шумной головой после вчерашних выборов и чествования новоизбранный председатель Сельсовета товарищ Семидуров стоял наверху пожарной вышки и, оборачиваясь во все стороны, размышлял.

«Вот она власть-то председательская. Вся она сейчас во мне включена, на каланче стоит. Захочу, брякну сейчас в пожарный колокол, весь народ, невыспанный, неумытый, с руками, засученными для уборки скотины, станет тут вот и спросит: “Чего тебе, товарищ Семидуров, надобно”. А я им: “А ничего не надобно, просто власть свою и заботу о вас показываю. Говорите, что, мол, у кого произошло”».

Жизнь только что пробуждалась в селе Козолупове мычанием коров, кряканием уток у колодца и поскрипыванием невидимых калиток.

Вдруг резкий стук топора рассек тишину полусонья – на школьном дворе сторожиха Проскудина рубила дрова.

– Вот с нее-то и надо начать, – перешагнул председатель через спящего пожарного десятника, спускаясь вниз с пожарки. – За всяким дерьмом глаз надо иметь и наблюдение.

Прямо и строго шествовал к школе села Козолупова товарищ Семидуров.

– Позвать ко мне учительшу. – И пошел вслед за сторожихой.

– Аглая Сидоровна, – постучала сторожиха. – Спит еще, – обернулась она к Семидурову.

– Скажи, чтобы встала, раз к ней председатель пришел.

– Кто там? – спросил из-за двери растерянный голос.

– Мы это – товарищ Семидуров, – осанился председатель.

---

* Публикуется, за небольшими исключениями, в соответствии с современными правилами орфографии и пунктуации.

– Новый председатель, – перевела сторожиха.

Учительница месила тесто, когда вошел председатель.

– Здравствуйте, садитесь, – сбрасывая с единственного стула разный хлам, сказала учительница. – Вы меня простите, тесто месила...

– Ничего, ничего, грех со всеми бывает, – покровительственно ответил председатель.

– Вы у нас долго служите?

– Разве вы не знаете. Четырнадцатый год у вас.

– Так. И при царе у нас были? – допрашивал строгий председатель.

– Конечно. И при царе служила, – виновато созналась учительница.

– И не сменили тебя. – Председатель достал из-за сапога футляр, вынул синие очки, какие носят от пыли, протер подолом рубахи, старательно и долго оседлывал нос и уши.

– Так, – сказал, взглянув сквозь синие стекла, отчего глаза стали угрожающи, таинственны и строги. – Ты мне вот что скажи, – вдруг он круто перешел к делу: – я с экзаменом к тебе пришел. Потому что всякому свое место, всяк к своему месту отвечать должен. Я, например, председатель, власть проявлять должен, фельдшер – похоронные выписывать, ну а ты, к примеру, детишек счету учить, к грамоте приставлять.

Учительница поглядела на пухнувшее тесто – в комнате было тепло и душно, и тесто всходило быстро.

– На кой ляд ты, например, детишек мести школу и двор заставляешь. Сторожиху жиреть учишь. А стенки вот этим вот увешала?

– Это у нас трудовым навыкам детей обучаем.

– Трудовым. Что же они у нас, не трудовые, что ли. Ты может детишек нянчить заставишь? – начинал наводить строго Семидуров. Очки у него уже сползли с носа. Он свободно выглядывал поверх стекол.

– У меня чтобы парни с девками отдельно были, как в старинных барских школах было, чтобы разврату никакого не было. А по селу нечего из двора в двор шататься.

– Да у нас на том вся школа строится, на обследовании и проработке материала.

– Обследовать и без вас найдутся, судья на то есть, для следствования. А насчет этой проработки, я знаю, шнырят по дворам, а потом в стенную газету пишут. У меня это обследование прекратить.

Тесто из кадушки вздыхало и шло вверх.

– Я не могу изменить этого, это не мной заведено. Сколько уж лет бьемся.

– Нечего биться. Если тебе рабоче-крестьянская власть приказывает.

У учительницы навернулись слезы.

– А теперь я тебе насчет умственного экзамент сделаю, – смягчился председатель, – я не люблю бабьих слез.

– Два конца, два кольца, а посередке гвоздик. Что это, например, будет такое?

– Да это же детская загадка про ножницы.

– Угадала. Варит котелок. Ну, а вот насчет гусей. Я забыл, летят, словом, гуси. Две стаи, в одной столько, в другой столько; в одной постольку, а в другой поскольку. А всех-то сколько?

– Я тоже не помню эту загадку, только она иначе.

– Чего там иначе. У нас докладчик приезжал, так у него и поговорка такая, постольку-поскольку. Стало быть не знаешь, ладно. А вот еще, вот ты ребят муштруешь, что земля наша шар есть. А как Английская земля или Германская тоже, по-твоему, шар?

– Вся земля шар.

– Разная земля бывает. Вот у нас земля на покосе, например, блином, а вот где кочкарник, там клин, а на клину пупырышки, кочки стало быть.

– Ну, а вот я тебе загадку загадаю, – осмелела вдруг учительница: – Если доверили человеку заботу о целом селе, а он о ремонте школы и о пожарном сарае не заботится, а только хорохорится, да в чужое дело лезет – что это такое будет? – И расцвела в улыбку.

– Ты это насчет чего? – хотел насупиться председатель, как вдруг рот его закрылся совсем спустившимися с носу синими очками.

– Ничего, это просто старый председатель Совета, вот что это будет – Пахомов, – спешила поправить свою ошибку учительница.

– Ох-ха-ха, вот это загадка так загадка, я уж думал, что ты насчет меня. Спасибо тебе, Аглая, как тебя – Сидоровна. А фершала проверять буду, посажу его этой загадкой. Или например, попу загнуть, пропал. Ну, до свидания, тесто у тебя уходит.

И тяжелым шагом довольного властителя он вышел на крыльцо.

Смерть князя Игоря

Когда вестовой перед самой атакой подал шашку, князь отшвырнул ее и, качнувшись в седле в сторону эскадрона, бросил:

– Да дворянское ли это дело рубиться. А эти шестьдесят дураков к чему.

И также полусонно роняя слова протянул:

– Эскадрон! Слушай команду. – И небрежно перекрестил блеснувшую лысину.

Подтянутый эскадрон выбежал на опушку и сразу взял резвым галопом.

Кучка партизан впереди обоза посыпалась с коней – за сруб, взметнулись берданки, лошади, люди с подвод, захрустели затворы. Торопясь на залп, конь у князя занес. Догнал вестовой на взмыленной кобыле, вдруг подскочил под самую морду коня, обскочил, сбил с аллюра.

Не успел князь оправить, щемящий тупой удар пришелся по затылку, когда князь с арканом рванул и сунулся на колени.

– Ну и водили же вы, хлопцы. Скоро уж сеять. Неделя как я был. Думал, надули.

Люди из эскадрона и люди в зипунах смеялись, жали руки и жались к мажаре, где приходил в себя князь.

И впервые за всю жизнь ощутил князь каждый сустав в своем отяжелевшем теле и смертную усталость: и слышал, и глаз не поднять. В левом боку ныло и щемило, как память об юнкерской любви.

Очнулся – валко встряхивала подвода и глухо стукали рядом копыта.

И ни князь, ни в конвое не знали, как вдруг исчезнул князь. Только вдруг встрепенулся весь лес, вздрогнув листьями.

А было и сыро, и страшно: от голосов, перекличек огней, от того, что ищут его, князя. И еще от того, что лес жил какой-то особенной жизнью, не известной и жуткой для князя, как вот эти шестьдесят человек, трепетавших от взгляда, от голоса.

Теперь бы окрикнуть ему эскадрон – и он радостно, по-детски улыбнулся.

От сырости вспомнил, что где-то осталась шинель, обругал вестового и вспомнил:

– Жалко парня – любил. Доверяй им. Чей это он. Его ж палаш, каналья.

Улыбнулся, отстраняя улыбкой жестокую мысль о расправе. Захлопал в ладоши и закричал по-детски филин.

Испуганный князь отрезвел, покурить захотелось, а потом спать.

Только надо убраться с дороги. И сердце щемило, как там, на телеге.

– Вот так умереть можно, – И тут же подумал, куда ему спать бы, и остро ощутил, что никто ему не ответит.

Раньше он спал и ел, и смеялся и думал, как принято было для круга таких же лиц, как он. Даже больше, уйдя из этого круга в солдатскую гущу, он, словно брошенный камень летит по воле бросившей руки, поступал, как он поступал бы с солдатом, будучи в том же обычном для него кругу.

И только усталость, гудевшая гудом в ногах, отчего подгибались колена, и, перелезая через хворост, хотелось остаться на нем, эта усталость сказала, где и как выспаться князю эту ночь.

Раньше он знал, что значит быть на уровне идей своего времени, и когда началась революция, он первый из дворцовых помогал при аресте министров, но когда эта же воля народа, как повалившаяся стена грозила прижать и князя, когда люди, бежавшие с фронта, громили и грабили холеное князем поместье, где хотелось ему устроить и клуб для крестьян, и читальню, и школу с больницей, тогда князь решил, что только вставая щитом на пути снежного заноса, он остановит обвал этой лавины.

Силы в себе он видел не мало.

А когда те же люди со станций и фронта стали отбирать крестьянский хлеб, тогда хуторяне, те, что тащили добро из поместья у князя, просились в его дружину.

И князь видел, что правда он: отовсюду неслись слухи о бандах, налетах, восстаниях не против князей, а против пришельцев со станций и фронта.

И тут он увидел, что стоит на уровне времени.

И сила была в нем еще от того, что за ним стоял и вот этот лес, и как лес темной чащей – народ.

И князя не было, была только серая насыпь на дороге метелей и заносов, где погибала Россия, не прошлая – в рабстве, а светлая – в будущем РДР.

Был смел, боевит, и тоном беспечного барина он спаял беспастушных крестьян в тесное звено «Князя Игоря».

Когда у других рассыпались отряды, у князя он креп.

И вот теперь по временам князю казалось, что он никогда не был Игорем Константиновичем, а предки его не были ни при дворе, ни в Литве, что вечно он жил этой жизнью лесного зверя.

Оборванный сучьями, раздирая голыми руками пойманную птицу, он ощутил, что никогда он еще не был так спокоен, как теперь, потеряв и заботу о поместье – все равно не вернуть.

Временами вспоминал вестового, удивлялся неблагодарности и видел, не один вестовой, а и те же мужики, за кого шел князь, кричали, ругались, требуя за подводы, за харч денег.

– Что это за коммуна – нам Советы – и те платят.

И не могли понять в своей простоте пропасти, стоявшей меж ним и Советами.

Когда, изнемогая от бестолкового лазанья через хворост, бездорожья, садился на сваленное дерево, отчаянье охватывало и расслабляло все тело.

Уж не было мысли о врагах и близких, был только лесной человек с мечтой о тепле и сытости.

И не помнил, как и когда пришло это, может выросло вместе с этим лесом: сперва был страх встретить людей, а потом ужас от мысли никогда не встретиться с ними.

И темным страхом встал над ним лес и, как больной мечется в смирительной рубахе и готов умереть, чтобы вырваться из этого жалкого бреда и плена, так метался, ломая сучья, обнимавшие путь, князь.

И лучше бы смерть за один короткий миг жизни, человеческий голос, сказавший – расстрелять – показался бы голосом с неба.

Но когда повстречался с коровой, отбившейся, видно, в лесу, князь погнался за ней, чтобы прийти к жилью, снова гордыня очнулась в глазах на заросшем во мху лице.

Он, потерявший все в прошлом, даже человеческий облик, хотел бы только хорошей, красивой смерти: показать последнюю россыпь, недоступную захватчикам – умирать как умереть может только князь.

И ни люди, встречавшиеся по дороге, ни вечерняя мгла деревни, словно пыль домовитой хозяйки в работе, даже смех и визг ребятишек, бежавших впереди и дразнивших – все отступило. У князя осталось только одна сила – взбежать по ступенькам под вывеску Сельисполкома, войти в прокуренную комнату. И безвольно стоять, не сгибая усталых колен, когда молодой красноармеец читал, вертя, документы князя.

Теперь было все равно: и хохот того же парня, и оскал зубов, и слова между прочим:

– Вот так князь, ну и князь. Да за такого, братец, махры на раскур не дадут. Документы не пригодятся, а пожрешь, дам записку.

И рухнул на стол, как подкошенный, князь-проходимец, и слезы, как жидкий чугун, прожигали заваленный книгами стол.

Два завода

На Выгде-реке два завода: так и называются – Старо-Выгодский и Ново-Выгодский.

Оба они на излучине: меж ними леса, оба рекой расколоты на завод и жилые казармы.

В Старо-Выгодском корпуса, как лишаем, обросли избушками-курушками. Поживет да угнездится какой-нибудь мужик – и на заводе работает, и мужикует со скотом, с посевом на «выжиге» от лесного пожара.

Ново-Выгодские все в казармах живут как на постоялом дворе, хозяйства не имеют, и хоть беднее, зато форсистее, разухабистее.

В работе у князя Оболенского – заводы оба были княжьи – и те и другие выгодцы были напоказ другим: на старом заводе – ровной и чистой работой, на новом – сноровкой и ловкостью.

Из-за этого, должно быть, и драки каждый праздник были смертные: до кистеней, до складней – на медведя нож такой – доходило.

Переженились с годами, пересватались, перекумились оба завода, а вражды своей так до сих пор не могут изжить.

Только чудно уж очень после революции у них эта зависть пошла. Когда, например, в третьем годе старовцы свет к себе кое-кто провели, а новозаводцы взяли реку заплотинили, да у себя общую машину поставили. Завод в это дело вмешался, так завод от плотины стал освещаться.

А старовцы трактор себе выписали...

К зиме, должно быть, прошлого 26 года приказ в правление заводов пришел о производстве, чтобы его выше поднять.

Заказы-то у обоих заводов были. Так чего тут только ни делалось: и в три смены-то работать стали, литье-то продували каким-то газом особым, и формы изобрели чем-то пропитывать так, что можно из формовочной земли прямо чуть ли не штамповать по модели.

А старовцы, глядишь, такую отливку дали – прямо пакуй и отправляй. Литнички – и те к месту. Или проковка, прокатка – ни трещинки, ни заусенки. Приказ о качестве и производительности так исполняли, что в газете об этом «Известия» напечатали.

И уж когда приказ о снижении цен пришел, делать было нечего. Оба директора – оба молодые, до того доотличались, что сошли еще до этого приказа на тот минимум, с которым едва можно было работать, не теряя возможности восстанавливаться.

Сошлись оба директора в рудничной конторе – на шахтерном дворе.

– Я, – говорит, с этими машинами ничего не поделаю, – директор со старого завода.

– А мне конверторы в воздуходувку новые надо – все изремонтировано, дальше уж некуда, – отвечает ему с нового.

А сами оба знают.

А сами оба знают, что уж пять лет добивались хоть остановки на ремонт, и то не добились. И знают, что о новых машинах и думать нечего. Посчитали-посчитали оба: и одну телеграмму в Уралмет и бухнули:

«Снижение невозможно – все использовано. Требуется переоборудование».

В Уралмете прочли, прикинули – поверить можно: ниже некуда, и послали телеграмму:

«Приказ снижение цен подтверждаем. Неисполнение карается».

– Что делать, товарищи, – собрались обе ячейки и с того, и с другого завода.

Фабзавком накрутил производственное совещание: прели-премя, из-за пустяшного болтика

ругались, одну только резолюцию и выперли: новое, дескать, оборудование только и сознательность каждого рабочего – могут спасти дело.

Настоящая паника пошла:

– Знаем мы эти резолюции. Вместо машин да конвертеров затыкать. Что мы, у князя Оболенского, что ли.

День галдят, ладно, праздничный, другой пошел – у станка галдят. От станка к станку как шмели перед дождем мотаются

При спуске в формы из ковша подручный сожегся:

– Не будем больше, понадсаживались.

Завком посмотрел:

– Действительно, за что боролись.

А вечером на митинг оба завода явились; из обкома приехали.

Дружно, все как один: гони монету на переоборудование или приказ отмените.

Нечего нас агитировать.

А обкомовец взволнованный ходил в загороди и кусал бороду – шуму не слышал:

– Товарищи, против нас начинается белый террор. Убит полномочный представитель в Варшаве, – начал обкомовец, и он не дошел еще до слов об угрозе войны, как все почувствовали дрожь ее постоев, тоску канонад и нервный стук крови в висках – от пулеметного гула.

И вдруг каждому так дорог стал пахнущий маслом картуз, и рабочая радость, и истома усталости от недаром прожитого трудового дня.

– Империалистов Англии – долой, долой, да здравствуют профсоюзы, да Китай... Не надо войны.

Махая руками, кричали обкомовцу выгодовцы, будто от обкомовца все это: и война, и американские империалисты – зависели.

Охваченный пламенем протеста обкомовец забыл, что доклад нужно увязать с производством.

Его посадили на трактор: он опаздывал на поезд, и он уехал.

У Ромаши Масюрина была ночная смена. Нужно было успеть и домой сказаться, и с номерком не опоздать. Он решил идти прямо в цех – что-то оторвалось в дому, словно крыша провалилась, – после доклада обкомовца.

Молодая, а потому и ревнивая жена его, Масюрина ждала у заводских ворот.

– А я уж к Наталье бегала, – виновато созналась она. – Неужто митинг такой длинный.

– Воевать, Маня, доводится. Над головкой война виснет, – как будто про себя шептал вслух Ромаш, медленно свертывая махорчатую козью ножку.

– А может уедем куда. Или в тылу устроишься, – как надолго расставаясь взяла его за руку жена.

– Сам, добровольно пойду – раскисла, – вдруг стряхнул с руки Ромаш, и так с незажженной рассыпающейся козьей ножкой вошел в ворота,

– Ром, Ромка, – позвала жена.

–Ну, – полуобернувшись, полуспросил-полупристращал муж.

– И я с тобой поеду...

– Куда?

– В партизаны, на фронт, на белых...

– Вот так бы и давно. Обабилась, дура. – Вернулся и похлопал по спине жену Ромаш.

– Так чего же, собирать, что ли? Ух, даже легче стало.

– Куда собирать? Не пойду, не пойду: до войны еще не видно. Разве наши допустят в центре. А отдельную смену белья и подсумок сыщи – начеку держать надо. Тебе еще в военный кружок ходить надо – стрелять в цель, – уже на ходу бросил он, полуоборотясь.

Корпус лежал тяжелый и черный, в этом году его достеклили – новые звенья блестели чешуйками.

Обычного движения в воротах цеха не было.

– Опоздал...

И вдруг увидел цех таким, как пять лет тому назад, когда впервые вошел после фронтов и партизанщины. Паутины переплетов теперь были строги. Развороченные – козла вынимали – устья вагранок теперь клокотали пылающим как солнце чугуном.

– И в нашей литье.

Никто не окрикивал проходившего. Здоровались, с кем не виделся на митинге, молча, рука к козырьку,

Масюрин работал на Ново-Выгодском, у вновь построенной электрической печи.

Калошу – так называют весь плавочный материал в выплавке – нагружали марганцевым и вольфрамистым чугуном.

...Инструментальная. Жара. И как был в кожаных опорках, на босу ногу, только скинул рубаху и надел кожаный фартук и рукавицы, пошел к печи.

– Без тебя, думали, придется. А видишь – вольфрамовая...

И вдруг детская радость охватила Ромаша... Инструментальную плавить без него боятся.

Он дернул рубильник, и сознание, что этот не требующий усилий жест двигает тысячу лошадиных сил – напружинило его челюсти.

– Ну, закусил удила, – подумал цеховой, глядя на желваки лицевых мускул.

– Опоздал? – спросил он Ромаша. Масюрин в глазок видел, как меж сближенных углей проскочил язык синеватого пламени и печь ожила, загудела. Он раздвинул угли, и на высокой ноте запела громадная вольтова дуга, и тут же под ней сначала желтым, потом белым засветился, заиграл зайчиком чугун.

– Тяжелая плавка без угля и без продувки, – как будто советуя что-то, показывал губами мастер. И показал на амперметр:

– Еще не плавится, а ты уж загнул вон куда.

Вздрагивала стрелка амперметра.

– Слышал? Война будет. Как чертям надо работать. Все успеть надо, – в ответ амперметру сказал мастеру Ромаш.

– Слушай, разбрызжет, – взялся мастер за рукоятку реостата.

– Не тронь, – оттолкнул его Ромаш.

Печь начинала реветь в голос с вольтовой дугой – сама известь пела.

Пошел тяжелый газ усталости и тревоги, который всегда, при тяжелой плавке, охватывает литейщиков перед спуском в формы.

Вольфрамистый чугун для своей плавки требует такой температуры, что его трудно разливать ковшом: льют прямо в формы на вагонетках. Вот тут и помогала новая формовочная масса, которая не осыпалась и не деформировалась при спуске сразу из печи.

– Ромаш, литье-то мелкое. К револьверным станкам, – шевелил губами мастер, властвовал один только голос, голос электрической печи,

Хотелось пить до безумия, как раненому. Но близко воды не было, и Ромаш ругался, говорить не давал о воде при плавке.

Ребята у форм поснимали с себя все, даже нижнее. Ягошин, комсомолец, кожаный фартук сбросил – в одних трусах.

– Раздевайтесь, ребяты, – скинул с себя фартук Масюрин, – мелкое литье.

Обгорелые узластые тела поблескивали от вспышек газов над печью.

Маленькая печь – известковая глыба – вдруг начала будто бы просвечивать, тон вольтовой дуги стал изумительно высок – самое жаркое пламя выжигало остатки примесей.

– Эй, я лью, – и Ромаш ударил ломиком тонкое плавочное отверстие – пробку.

Свет и огонь охватили литейщиков. Волосы закурчавились.

Ромаш в тумане видел, что, как бездушные рычаги, ничего не видя, не слыша и ничему не удивляясь, четыре плавящихся от жары тела подвигали вагонетки с формами. Он успевал только по тону литья угадывать, когда надо ткнуть ломиком и задержать струю.

У Игошина синие очки-консервы развязались, он их стряхнул на рельсы.

– В сторону, ослепнешь, – заорал Масюрин. А тот, зажмурив глаза, подставлял новую форму.

Ромаш оттолкнул бы его – нельзя выпустить ломика.

Кричать, не до крику и не слышно.

Вдруг и остальные трое сбросили консервы. Ромаш пустил. Струя хлестнулась о край какой-то крупной формы и золотистой змейкой нырнула меж форм.

Молодой парнишка ударил грудью о поручь вагонетки и упал на рельс лицом. Струя металла, направленная в форму, скользнула мимо вагонетки.

Крик рванул переплеты рам. У Ромаша зазвенело в ушах.

– Выключить, выключить, – он тронул рубильник, – козла посадишь – не выплавишь.

И один, не обращая внимания на суетившихся людей, он осторожно повернул вращающийся под печи и, бросив ломик, выпустил остатки в запасную прутковую – для резцов – форму.

И даже шлак, чтобы не испортить последней формы, выпустил в случайную ямку в земле. И выключил. Стало темно и бесшумно.

– Руку, два пальца и колено, в уголь. Дешево отделался, – уже расходясь говорили рабочие, – Штырмана уже унесли.

– Что. Много с нашей стороны, – спросил у мастера Масюрин.

– Две формы не долиты, самые крупные.

– Нет, убитых и раненых.

– Что ты, Масюрин. Штырман сожегся – а какая сталь сегодня. Помнишь, инженер этот – правду сказал, что вольфрам температуру любит.

– А ребята как кутята ослепли.

– Глаза под очками слезиться стали – они и скинь их.

– Молодежь,

– А какая. Кто бросил, Штырман упал, а Игонин, ты видел, как форму подставил, задавить товарища мог.

– В три раза сократил. Молодчага, – подошел инженер к Масюрину, – и короче, и току меньше. Процентов семь металла на гарь сэкономил.

– Семь процентов. Ох и устал – кваску бы.

Вечером все знали, что Роман Масюрин поставил рекорд выработки, новый завод кичился: новозаводские телеграмму в Уралмет послали, что снижение у них проходит.

А старозаводские в ночь давильный станок в прокатном направили – вышли сразу три смены и вроде субботника – все дело поставили.

И тоже телеграмму в Уралмет послали,

«Уралмет в среднем снизил стоимость производства на 7 процентов» – послали оттуда в центр.

А Марья Масюрина к старой шинели Ромашу пришивала медные пуговицы.

– Не здесь, так там – все равно война...

25.06.1927 г.

Игорь КАРАУЛОВ

СУРОВЫЙ СТИЛЬ ПО-РЖЕВСКИ

Любовь Колесник. Мир Труд Май: Книга стихов. – М.: ЛитГОСТ, 2018. – 84 с.

Обязательно купите эту книжку. Бумажную, живую. Стихи можно найти в сети, в журналах, но книга – это еще и произведение полиграфического искусства. Ее интересно держать в руках, вертеть туда-сюда, рассматривать. Почти на каждой странице есть рисунки цветные и черно-белые. Текст тоже набран затейливо: то выровнен по левому краю, то по правому, то идет наискосок, то змеится, то свивается в спираль.

И все же в литературном журнале имеет смысл говорить прежде всего о текстах. Любовь Колесник – поэт из города Ржева Тверской области. На генеральной карте нашей поэзии Тверская область едва видна; и областной-то центр известен главным образом сомнительными (и стоящими друг друга) именами Михаила Круга и Андрея Дементьева, а уж райцентр Ржев – и вовсе белое пятно. Вот, почитайте стихи из Ржева, теперь у вас есть такая возможность.

Я знавал одесских поэтов, писавших главным образом о мостах Петербурга, но здесь все без обмана. Перед нами стихи о родном крае, а не о вымышленной и удобной для автора «Поэтляндии». В них мы видим не только Ржев, но и другие места, в которых бывал автор.

«ад имеет вид щёлковского шоссе
с интенсивным движением по реверсной
полосе»

«Готичный дух Морозовских казарм,
оккультное и тёмное Затьмачье!»

«Кто ездил по Твери, тот в Ржеве
не смеется»

«В Конаковском районе, засиженном москвичами»

«В Коломне красиво осенью, но тоска»

«В старинном светлом городе Торжке
цветёт осока в маленькой реке»

«Тёплый Стан не такой уж и тёплый»

Необычность Любови Колесник еще и в том, что это поэт за рулем. Ее взгляд – это цепкий, практичный, но несколько приземленный взгляд водителя. Низкие облака, снежная каша под колесами, магазины, пивняки, малоэтажки, классическое «ночь-фонарь-аптека». Пристально вглядываться в небо, пытаться посмотреть сквозь окружающие предметы – не нужно и даже опасно; «несет сатана Михалкова в багровеющие небеса» – это как раз чуждый, посторонний голос из автомагнитолы, соревнующийся с бесстрастным голосом навигатора.

Название «Мир Труд Май» на первый взгляд представляется попыткой оседлать современную моду на советское ретро, но это не тот случай. И это не случай многих молодых эпигонов-традиционалистов, которые вместе с поэтикой заимствуют у своих кумиров и учителей еще и реалии, которых по своему возрасту застать не могли. «Советское» в этих стихах на поверку оказывается духом провинции, в которой ничего по сути не меняется, несмотря на чехарду вывесок в столицах.

Три слова в названии соответствуют трем разделам сборника, из которых автору, кажется, концептуально важнее всего «Труд». В рамках книги он выделяется как обособленный проект, в котором Любовь Колесник выступает под маской, так сказать, простого рабочего человека, крановщицы со ржевского завода.

Отчасти это выглядит как пародия на былые литературные нравы, когда принадлежность

к рабочему сословию способствовала начинающему автору в литературной карьере, а положение одиннадцатого ребенка в крестьянской семье помогло, например, Ивану Жданову провести через советскую цензуру книгу сложных авангардных стихов.

Отчасти это попытка возврата к прерванной традиции, к практике литературной группы «Кузница» (Кириллов, Герасимов, Казин), участники которой пытались соединить достижения футуризма, прославлявшего механическую цивилизацию, с государственным заказом на стихи, написанные как бы для народа и от имени народа. И если Михаил Герасимов, к примеру, пишет, сводя образы отшумевшего авангарда к пасторальному наиву:

Какими светлыми глазами
Глядят завода корпуса!
В машинах, рычагах над нами
Не вой, а – птичьи голоса,

то Любовь Колесник заново презентует индустриальные образы для современного читателя, в массе своей уже очень далекого от верстака и сохи, через них передавая частные переживания, не имеющие ничего общего с прошлым или нынешним госзаказом: любовь, отчаяние, одиночество.

«Завод – не в смысле предприятие,
а натяжение пружин.
Одно недолгое объятие –
и разойдёмся, побежим...»

«Мы хотели труда – и растоптаны миром и маем,
и от счастья утеряны все разводные ключи»

«Мы испытаны
на растяжение и изгиб
самым строгим технологом ОТК»

«от козлового к мостовому
и к башенному и опять
осанна миру неживому
распорет жестяную гладь
и глядь – а восьмичасовая
жизнь регулярная прошла
где люди тихо прогорают
до тыла сварочного тла
а я за мутным плексигласом
в кабинке утлой наверху
тяну наверх чужую массу
неподчиненную стиху
стихи не область подчиненья
а злое средство быть живой
где с башней скрещивают тени
и козловой и мостовой»

Конечно, в постакмеистской поэтике, к которой тяготеют эти тексты, обыгрывание советских лозунгов было общим местом (у Дениса Новикова – «и май не любили за то, что он труд, и мир уж не помню за что»), да и маска «человека труда» то и дело ходила по рукам; тут прежде всего вспоминается стихотворение Сергея Гандлевского: «Устроиться на автобазу и петь про черный пистолет» – классический образец того, что Александр Жолковский называет «инфинитивным письмом».

Но то, что мы видим в книге Колесник – это не «инфинитивное письмо», не фантазии о несбыточном, зачастую имеющие ощутимый оттенок лицемерия («бросить всё и уехать в Урюпинск»). И «заводские», и «незаводские» стихи образуют здесь единство внутреннего мира автора.

Люба, давайте без мата, смертей, стаканов
водки, поменьше Сталина и войны.
Больше пейзажей, не надо быть слишком транной,
ходит молва, что вы пьёте или больны.
Женщине в сорок не стоит носить лосины,
штанги с гантелями тоже вам ни к чему.
Верно подайте лирику и Россию,
нужно красивое, не про суму/тюрьму,
не про вот это ваше – завод, работу,
трубы промзоны, мрак, безысходность, тлен.
Чтобы читатель, преодолев зевоту,
понял – поэзия нас подняла с колен.

Такая вот программа. Почти в конце книги. Но там дальше есть и еще:

Люблю, любима. Дочь и мать.
Хожу под Богом. Верю в чудо.
И веточку хочу сломать,
И не ломаю почему-то.

Позитив, выраженный в чистом виде, пока менее убедителен. Но среди «безысходности и тлена» многих других стихотворений книги читатель найдет достаточно вкраплений любви, света и веры в чудо. Простим угрюмство Любови Колесник, ведь прощали же одному поэту сто лет назад.

Прочитанное надо как-то обобщенно назвать, и мне приходит в голову только «суровый стиль». Так принято обозначать направление реалистической живописи, которое относительно недавно было извлечено из-под глыб времени и наконец-то осознано как оригинальная часть национального достояния: Гелий Коржев, Виктор Попков, Георгий Нисский. По духу Любовь Колесник близка этому направлению, и можно сказать, что книгой «Мир Труд Май» она заявила о себе как о его продолжателе средствами поэтического слова.

Марина КУЗИЧЕВА

«ТИШИНА АКИ ЛЕВ РЫКАЮЩИЙ...»

Андрей Тавров. Речи в огне // Дети Ра. 2017. № 5; Из Византии // Волга. 2017. № 9-10

Среди журнальных стихотворных публикаций 2017 года две вышеназванные подборки Андрея Таврова удерживают внимание и память тем, что редко сейчас встречается в сочетании: сложностью и цельностью обнимающего мир взгляда. Говоря о сложности, можно припомнить свойственные «метареалистической» поэзии многослойные или зияющие, с эллипсисом внутри, метафоры. В поэзии Таврова каждое такое метафорическое «гнездо» и звуком, и образом, и жестом (здесь глаголы вычерчивают цветные, по-дантовски пылающие траектории мгновенного знака) вложено в гудящий, как орган или улей, контрапункт с другими «гнездами». Трудно назвать стихотворение Таврова процессом – описанием, действием, уточнением. Распластанное по странице, оно в то же время – веретено, водоворот, где прикосновение разделенных букв и слов друг к другу нечаянно и неизбежно. Так на сильном ветру ветка проходит сквозь ветку.

Здесь трепет и ветер – ритм. В поэзии Таврова это не пробующий дорогу интонационно разборчивый верлибр-горожанин, нет: это – скорее дышащий полем и морем ритм классического русского регулярного стиха, переживающий каждый раз заново событие освобожденья. Порою в этом потрясеньи он радикальнее и свободнее («верлибричнее») одетого в серо-модное собрата, но мы узнаём его скрытое неостановимое биенье – сердцем и памятью доставшихся нам двухсотлетних сокровищ. Два и более века назад этот ритм нес открытой волной: державинские краски и твердь, сияющие облака Жуковского, вечное «Эвоэ!» батюшковских убегающих жизней. Он был территорией глубокого дыханья.

Памятуя об этих двух вещах – о сложной метафоре, рожденной «метареальностью» нынешних и будущих прозрений об устройстве мира, и о ритмической цельности русской лирики конца XVIII – начала XIX века, которая, как нам кажется, заложена в глубину тавровской поэзии, – мы обратимся к циклам Андрея Таврова «Речи в огне» и «Из Византии».

Даже если назвать «Речи в огне» подборкой, нельзя не увидеть, что это пестрое на первый взгляд собрание охвачено единым – не ритмом, не образным строем, не мифом – скорее импульсом, движением, которое можно было бы просто определить как задачу. Именно так: долг или задача. Перед ушедшими? – Ведь во втором стихотворении «Речей» угадывается погребальная хвалебная песнь, с перечислением имен павших:

В тени кипарисов под музыкой,
вы сами музыкой были, что движет
мирами.
Птичье пенье, трели, нежные голоса...
Вокруг самолета, как заметил пан
Костровицкий, –
армада: Енох, Илия и птицы –
туда летят, где любовь и солнце,

Леонид, Наталья, Вероника, Пётр.
Тишина аки лев рыкающий,
растворенный в себе самом,
занебесном, разве не все мы –
опознаны так?
(«Скажи пеликан»)

А последнее стихотворение – прощанье, заплачка, проводы до созвездий «третьего неба»:

Широкогрудые облака, тонкие кипарисы,
хрупкие девушки
ушли к Ахерону.
Есть щель земли и неба, куда, обняв
дельфина,
спускаются те, кто возжелал смысла,
усомнившись во всем,
кроме немногих звуков,
людских и звериных.

Они уходят отсюда, забирая с собой
частицу нас, –

...в узкий огонь эвменид,
в ангельскую песнь для героев,
ценой в голову дохлой кошки,
в ветер твердой сирени.
(«Зачем ты сдвигал ангары...»)

Есть здесь и другие стихотворения, являющие как бы разбросанные части реквиема: «Там где умер один – там все пали», «Голубой шелк». Но они лишь части сюиты; перемежаемые ими пьесы другого свойства. Открывает подборку «Красный велосипед» – короткий, как детская считалка, коан о зримом мире. Стоящий третьим внутренний цикл стихотворений «Европа/Дрозд» мерцает частицами «Стихов о неизвестном солдате» Осипа Мандельштама – не скрытыми и не подчеркнутыми, но объятыми и преображенными. В «Европе» важно чередование образов света и материи разной степени затемненности – вся эта пунктирная метафизика света, играющая так, что даже смысловые темноты, словно лес, и пугают, – и дарят, и скрывают, – и сквозят на просвет.

Темен прозаически-поэтический «Левиафан» в середине цикла, темно и медленно, и будто изъедено страданьем стихотворение «Антигона», сгущающее образы до безымянности, до немоты. И вдруг, сразу за ним (как из теми на солнце) – сияющий, легкий «Дельфин»:

Как пифия гладок,
треног и горюч,
он кремневых складок
ныряющий луч.

Тема речи как усилия (рождения) и памяти (посмертия) во всех этих стихотворениях так же важна, как тема света. Корреляция и взаимодействие речи и света – смысловой центр подборки. Название «Речи в огне» говорит об этом, не объясняя: ответ в самом бытовании-голосе стихов. В нем и пустота, и наполненность: подобие купины неопалимой. Гераклитов огонь, сжигающий и обновляющий мир, здесь не примирен с гераклитовым же Логосом, но без конца преобразовывается в него всей силой, на которую способен поэт. Поэт оберегает область молчания – центр жизни – на самых подступах к ней, пребывая в облекающей ее, как шелк, со всех сторон области «горящей» речи.

***

Если в «Речах» сквозь голос поэта проступают множественные голоса, то в цикле «Из Византии» речь отдана одному – Кентавру Асболу. Этот образ – сведенная к тонкому и резкому абрису тварная ипостась человека, сознающего всю тяжесть и спутанность материи, в которую он облечен. Но здесь и кость, и жилы, и кровоток, и все собственное-телесное оказывается не только учтено, но и расчерчено, как карта, световым карандашом, хотя снова усилие – почти пограничное. Этот жест невозможен без любви: так появляется адресат «писем Асбола» – Ксения.

Смертельные качели самопознания, испытание мужского и женского как полюсов живого, порыв за их края – в единое: «одно и вместе, как бритва где острие и воздух – два берега шуршащей и общей крови».

Сердце, превращенное в воронку слуха и зренья, без надежды на собственное спасенье, на спасенье кого бы то ни было.

Я вышел из стада, белый кентавр, драчливая
лошадь, похотливый солдат.
Я сказал новые слова, похожие больше на
хрип, на мычанье, чем на слова, увидел
ребра Земли,
сложенные, как изба, из влажного огня
сострадания...

Состраданье не видит будущего, оно вбирает мир-сейчас и перебирает его, как четки, то надеясь, то не надеясь на имена. Эти стихи отвечают на множество свидетельств боли и гибели, рассыпанных по книгам нынешних ярмарок нон-фикшн или скрытых в немоте, в догадках, в знаках, которых мы не видим. Что сказать глядящим на нас с фотографий убитым? Быть с ними. А убийцам? Вглядеться в них. И вот:

Они шли мимо и лаяли на разные голоса, опора
империи, владельцы чужих песен,
падаль,
и в сердце каждого стояла Ксения, влажный
огонек безначальной Премудрости.

Мир расколот. Море бессмертное, «винноцветное» – и прибой «крови картофельной». Божественный «тяжкий» пульс волн –
и косная «глина».

Глине в ответ, проросшей людьми, лимфой, ловами – лучше ль шуметь винноцветному,
отдающему мертвецов по ночам нужному пульсу, тяжкому слову? Или обоим сойтись
в обойме лазурной: в груди – телом единым, человеческой речью,
неубитой мышцей словесной?

В речи-мышце ритм раскачивает косные вещи, обтачивает, как соленая волна, до формы. Из «тяжкого», трудного, медленного хода «писем Асбола к Ксении» рождается смертный мир, где речь сама создает волны. К волевым, требующим почти физического усилия жестам упорядочивания относятся у Таврова повторы, выстроенные как перечисления. На деле это тонкие подвижки смысла, расчисленные внутри целого объемы «поэтического вещества», сродни повторам в поздних вещах Бетховена, – необъяснимым, замкнутым в себе, в чем-то нас без устали убеждающим:

Два предмета *могут* занимать в одно
и то же время место одно и то же!
Это – море и море, и снова море, и море
опять, и все это море, и золотой соловей
и золотой соловей...

Но есть и пестрые перечисленья – например, вариации особей птичьего мира, уходящие почти за горизонт. Птицы – единственные союзники Кентавра, легкие вестники и певцы, расклевывающие материю до световой частицы.

Новые стихотворения Андрея Таврова нужно читать внимательно и не раз, входя в них, в их меру, в их усилие убежденья. Они дышат абсолютно свободно. Это свобода Мастера, оплаченная дорогой ценой. Эти стихи, не смешиваясь со множественными голосами лирики наших дней, говорят – глядя по-античному прямо, но с болью нового времени и с глубоким целомудрием – об «узлах жизни», ключах бытия.

Лариса СОНИНА

ГЕРОЙ В ИНТЕРЬЕРЕ

Ольга Славникова. Прыжок в длину: Роман // Знамя. 2017. № 7, 8.

У меня не слишком сложные отношения с текстами Ольги Славниковой. Когда-то «Стрекоза, увеличенная до размеров собаки» стала самым любимым романом – еще во время ее первой, журнальной, публикации. Следующие прочитанные тексты казались легкими, приятными и узнаваемыми: своеобразная метафоричность воспринималась этакой фишкой писательницы; беспощадная ирония, от которой любой, даже самый ладный

персонаж, становился если не аутичным, то корявым и несобранным, прочитывалась как высшее писательское мастерство. Думаю, что почти вся художественная проза Славниковой, когда-либо издававшаяся, мною прочитана – за исключением ранней повести «Первокурсница», которую невозможно найти ни в Интернете, ни, тем более, в бумажном виде. Чтение и многократное перечитывание (в пору особенно сильной любви к ее текстам) позволяло примерно предугадать, что Ольга Александровна напишет в ближайшие годы. Вариации «Прыжка в длину» витали вокруг букеровского лауреата с начала десятых годов. Славникова должна была написать роман о жизни инвалида. Роман с узнаваемыми героями, но про другое, нежели предыдущие книги.

Здесь, думаю, уместно заметить, что феномен резко возникшей в конце девяностых-начале нулевых популярности Славниковой в том, что она стала первым российским писателем-психологом, не лириком – описателем рассветов и закатов, не инженером человеческих душ (ибо тут подразумевается голимый реализм, и души, судя по описаниям, стандартно-правильные), а диагностом болезненных вывертов и шизоидной озабоченности с виду заурядных граждан. Человек – как море, и про самого обычного труженика (домохозяйку, свободного художника и т.д.) можно написать, причем не только многотомное жизнеописание, но и готический роман или триллер. Произведения Славниковой, по большей части, конечно – психологические триллеры.

Главный герой «Прыжка в длину» между тем человек совсем не заурядный.

«В те давние времена, когда Олег Ведерников был восходящей звездой оссийской легкой атлетики (и когда у него, берущего разбег на дорожке прыжкового сектора, действительно будто бы горела во лбу белая влажная звезда), рост его равнялся одному метру восьмидесяти двум сантиметрам. Вот уже четырнадцать лет у него вообще нет роста – в обычном, человеческом понимании этого слова. Сверху Ведерников целый и даже как будто живой; внизу он словно растворяется в пространстве, исчезает, как исчезает, превращается в облачко, не достигнув тверди, слабая струйка песка. Словно кто спускает Ведерникова из горсти, развеивает по ветру. Правая нога (толчковая) у него ампутирована выше колена, левая (маховая) – по щиколотку.

Теперь Ведерников существует словно бы в воздухе, без прямоходящего контакта с земной поверхностью».

В общем, юный спортсмен, будущий чемпион, чье чемпионство перечеркнуто совершенным геройским поступком – спасением дошкольника из-под колес. Герой стал инвалидом, а спасенный – отморозком. Герой медленно влачит инвалидскую жизнь, по прихоти своей домработницы опекая спасеныша (слово «гаденыш» было бы уместней, однако), оживает от любви и озарившей его идеи убийства спасенного юнца, а потом безвозвратно гибнет – вновь спасая некогда уже спасенного отморозка. Такова, конспективно, фабула «Прыжка в длину». Парадоксальность развития сюжета – еще одна из давних авторских примет. Кроме сюжета-парадокса, роман отличается еще и весьма непривычно расставленными второстепенными персонажами: пристроенные к сюжету совсем не так, как это было бы у любого другого российского прозаика, они перемигиваются в тексте, как новогодние огни, и отражаются в других романных гирляндах. Неожиданностью для сочинения о рядовом российском инвалиде является то, что мать Олега Ведерникова, главного героя – бизнес-вумен, владелица вначале одного, а затем и нескольких магазинов элитного женского белья. Благодаря матери жизнь Олега становится, наверное, на несколько порядков комфортнее, чем могла бы быть. Мать оплачивает все, что можно; приносит Олегу конверты с деньгами – как бы на карманные расходы, которые он даже не открывает; мать нанимает домработницу. (Домработница, кстати, играет большую роль в повествовании, и такая крепкая, много работающая по хозяйству женщина, заставляет вспомнить и незабвенную Софью Андреевну из «Стрекозы», и тещу Свету из «Одного в зеркале», и Нину Александровну из «Бессмертного», да даже всех взрослых геро-

инь одного из первых славниковских рассказов «Бабка Анна, бабка Серафима»).

Неожиданность и, в целом, радоксальность, о которой уже было упомянуто выше, – в том, что спасенный ребенок – мальчик Женечка – оказался из тех детей, которые с детства – эдакие цветы зла – сначала мучают кошек и калечат птиц, а потом переходят на людей. По сути, «Прыжок в длину» – роман о мороке, наведенном дошкольником на талантливого спортсмена, надежду легкой атлетики, поэтому, заметим в скобках, текст бы только выиграл, если бы в нем было больше мистических совпадений. Он же часто переходит в простое жизнеописание, от чего становится несколько скучно. В реальной жизни, вне своей духовной борьбы с мыслями о спасении демона-малолетки, Олег Ведерников принадлежит двум мирам – миру инвалидов, где оказался в силу случайного стечения обстоятельств, и миру чад и домочадцев бизнесменов средней руки, где пребывает благодаря матери. И тот, и другой мир описан так, как его представляет интеллигентный делегат от среднего класса – в основном интерьерно.

Сам герой – Олег Ведерников – тоже большую часть времени проводит в интерьере своей квартиры, не имея особых сил и намерений включаться в активную, как это называют, жизнь. Ездит к массажисту, некоторое время пытается играть в баскетбол в команде инвалидов-колясочников, сожительствует с приходящей домработницей, влюбляется в телеведущую Киру Осокину (тоже – инвалида), отвечающую ему взаимностью, и даже участвует в съемках фильма про самого себя. Все это время он проживает свой внутренний ад, о котором не догадываются окружающие его персонажи – все либо очень деловые, либо усталые, погруженные в безвременье и разруху.

Вообще, роман – такое зеркало девяностых, хотя по всем – и интерьерным, и экстерьерным приметам, принадлежит второму десятилетию двухтысячных. (Возможно, это авторский прием, а возможно, в людях ничего и не поменялось.) Сам текст его, конечно, хорош, как и всегда у Славниковой; мизантропичен, как в «2017»-м, и душен, как в «Стрекозе». Стилистических неточностей здесь немного побольше, но, в целом, они традиционны: не всегда герои говорят так, как это свойственно сходным с ним персонажам из жизни.

Финал производит впечатление очень не соответствующего всему предыдущему тексту, но в то же время он сконцентрировал всю обидную неудачливость 90-х: в силу нелепых случайностей получилось, что главный герой проплатил свое убийство. Думается, самое главное, что можно сказать о таком финале: нельзя дважды наказывать героя за один и тот же хороший поступок. В первый раз, спасая Женечку, Ведерников стал калекой, во второй раз, снова его спасая (хотя спасая и невольно, думая при этом о спасении любимой женщины) он гибнет. Гибнет причем под колесами того самого джипа, который когда-то его переехал. Да, роман – не сказка с хорошим концом, но убивать в финале инвалида, только почувствовавшего вкус жизни и вышедшего из интерьера, нельзя. Причем убивать, именно когда он не побоялся снова по-чемпионски прыгнуть.

Но Славниковой, конечно, даже это простительно...

Сергей ШИНДИН

«ШИШИГА ЕГО СМУТИЛ...»

Мандельштам О.Э. Собрание стихотворений 1906–1937 / Сост. О.А. Лекманова, М.А. Амелина, предисл. О.А. Лекманова, коммент. и библиогр. О.А. Лекманова, Е.А. Глуховской, А.А. Чабан. – М.: Рутения, 2017. – 560 с., ил.

Обращаясь к творчеству непростого для восприятия и понимания прозаика или поэта, заинтересованный читатель всегда надеется на помощь сопровождающего его тексты комментария. При этом не только для специалистов-гуманитариев, но и для каждого любителя классической литературы далеко не секрет, что многие авторы в таковом не нуждаются. К числу художественных миров, чье самосто-

ятельное читательское освоение вряд ли возможно, относится поэтическое наследие Осипа Мандельштама, стихи которого требуют не только традиционных текстологических, биографических и историко-литературных справочных примечаний, но и собственно содержательного, семантического «сопровождения», то расширяющегося до обращения к художественному пространству автора в целом, то сужающегося до интерпретирования отдельных образов[1].

Для мандельштамовской поэзии обстоятельства сложились самым лучшим образом: на родине поэта комментатором первого посмертного издания, вышедшего в свет в 1973 году, стал знавший его лично блестящий специалист в области современной литературы и живописи Николай Харджиев[2]. И хотя предложенный им вариант не мог избежать идеологических и цензурных ограничений, он не только стал образцом и основой для всех последующих комментариев, но и до сих пор остается востребованным современным мандельштамоведением. В этом отношении показателен тот факт, что первый из появившихся в годы «перестройки» сборник стихов Мандельштама, выпущенный в 1989 году таллиннским издательством «Ээсти раамат» в серии «Поэтическая библиотечка школьника», никаких примечаний в своем составе не содержал. Однако вызвано это было уже не идеологическими, а объективными причинами, поскольку любой новый вариант комментария в условиях еще не полностью открывшихся цензурных границ, по сути, только повторял бы, корректировал и дополнял сделанное Харджиевым. Но за прошедшее с тех пор время появился не один пример комментированного прочтения художественного наследия поэта, что стало возможным во многом благодаря усилиям ведущих отечественных мандельштамоведов. И хотя проделанная работа нередко сопровождалась прямой полемикой, в ходе которой исследователи порой предлагали взаимоисключающие интерпретации, это лишь подтверждало особую актуальность существования профессионально подготовленного комментария поэзии Мандельштама, который продолжал бы расширять границы его научного и читательского понимания.

Такому требованию во многом отвечает издание, чьи «координаты» вынесены в подзаголовок данной публикации. Открывает книгу составленная Олегом Лекмановым «краткая инструкция по применению» «Как читать Мандельштама?», которой, в свою очередь, предшествует эпиграф из «Ревизора» Гоголя: «Дайте же открыть нам эту загадочную шкатулку. Что это за странная такая шкатулка, которая неизвестно зачем нам поднесена, неизвестно зачем перед нами поставлена и неизвестно зачем от нас заперта?» (С. 5). Уже из этой цитаты становится ясно, что перед читателем – не просто очередное собрание стихотворений, приуроченное к прошедшему в 2016 году юбилею поэта, а опыт построения принципиально нового механизма комментирования его произведений. Собственно методологическая часть, характеризующая данный факт, отнесена в книге непосредственно к комментарию, индивидуальную специфику которого Олег Лекманов, Елена Глуховская и Александра Чабан определяют так: «Есть две особенности, радикально отличающие нижеследующий комментарий к стихотворениям Мандельштама от предыдущих опытов в этом роде. Во-первых, основной акцент в нем сделан на прояснении конкретных реалий, а цитаты из текстов других авторов выявляются лишь в тех случаях, когда без этого совершенно невозможно понять комментируемое стихотворение Мандельштама. Во-вторых, каждое примечание сопровождается списком библиографических отсылок ко всем (по возможности) опубликованным работам и фрагментам работ о комментируемом стихотворении. <...> Таким образом, этот комментарий рассчитан и на

[1] Одновременно с этим, художественная, «практическая» заинтересованность поэта в самых высоких образцах мировой культуры представляет собой обратный пример – ситуацию, когда комментарий как таковой не нуждается в своем источнике: вряд ли ars poetica Мандельштама – «Разговор о Данте» – не выдержал бы существования, изолированного от «Божественной комедии».

[2] См.: Харджиев Н.И. Примечания // Мандельштам О. Стихотворения / Сост. и примеч. Н.И. Харджиева. – Л.: Советский писатель, 1973.

читателей-»любителей", которым, возможно, будет вполне достаточно объяснения непонятных слов, и на читателей-"профессионалов" (студентов и состоявшихся исследователей), которым в своих изысканиях будет необходимо опираться на опыт анализа произведений Мандельштама, уже накопленный до них» (С. 305)[3].

Текстологическим источником образовавших книгу стихотворений послужило последнее полное собрание сочинений, подготовленное Александром Мецем[4], но для данного издания несколько перестроенное. Составители (Олег Лекманов и Максим Амелин) объяснили причину этого следующим образом: «мы расположили все стихотворения <...> не по книгам и циклам, а в хронологии их написания. Такой порядок расположения стихотворений поэта экспериментальный, и мы, разумеется, не считаем, что отныне он должен стать каноническим» (С. 305-306). Трудно сказать, почему подобный способ организации назван экспериментальным, – именно так было построено подготовленное Сергеем Василенко и Павлом Нерлером в 1993–1997 годах первое полное на тот момент собрание сочинений Мандельштама, которое последовало за вышедшим в 1990 году первым научным изданием стихотворений поэта на его родине в «новое время»[5]. В данной ситуации подобное предуведомление вполне закономерно, поскольку вопрос о принципах расположения текстов в стихотворных изданиях ввиду конкретных литературно-исторических и биографических причин в случае с мандельштамовским творчеством приобретает особую актуальность.

Если рассматривать данную тему в собственно теоретическом аспекте, то можно с уверенностью утверждать, что традиционный способ – формирование издания в соответствии с вышедшими в свет при жизни поэта его сборниками стихов – более предназначен для читателя, которому важна именно авторская позиция, отраженная в порядке следования его поэтических текстов. Хронологическая модель совершенно явно ориентирована на исследователя, частично или полностью реконструирующего художественный мира автора, складывающийся и видоизменяющийся последовательно, на протяжении всей его творческой биографии. Образно говоря, если первый тип построения собрания сочинений поэта, рассчитанный на достижение прежде всего эстетического эффекта, сопоставим с индивидуальным авторским «сюжетом», то вариант, направленный на получение конкретного рационального результата, можно определить как «фабулу». Об этом же и пишут и сами составители и комментаторы книги: «выдержать хронологический принцип строго и последовательно в одном издании – подобное решение показалось нам интересным и многое проясняющим в эволюции мандельштамовского творческого метода» (С. 306).

Но, как хорошо известно, в научной практике цели, постулируемые на начальном этапе работы над тем или иным проектом, нередко расходятся с происходящим в процессе его реализации, а еще чаще не совпадают с конечным результатом. Отчасти такой эффект возникает и в данном случае применительно к первой из названных авторами его отличительных черт

3 Здесь нельзя не вспомнить о том, что под руководством Олега Лекманова ранее был осуществлен близкий научно-издательский проект – комментирование повести «Египетская марка»; см.: Мандельштам О. Египетская марка: Пояснения для читателей / Сост. О. Лекманов и др. – М.: ОГИ, 2012.

4 См.: Мандельштам О. Полное собрание сочинений и писем: В 3 т. Т. 1: Стихотворения / Сост., подгот. текста и коммент. А.Г. Меца. – М.: Прогресс-Плеяда, 2009.

5 См., соответственно: Мандельштам О. Собрание сочинений: В 4 т. Т. 1: Стихи и проза. 1906–1921 / Сост. П. Нерлер, А. Никитаев. – М.: Арт-Бизнес-Центр, 1993; Т. 2: Стихи и проза. 1921–1929 / Сост. П. Нерлер, А. Никитаев. – М.: Арт-Бизнес-Центр, 1993; Т. 3: Стихи и проза. 1930–1937 / Сост. П. Нерлер, А. Никитаев. – М.: Арт-Бизнес-Центр, 1994, – и: Мандельштам О. Сочинения: В 2 т. Т. 1: Стихотворения. Переводы / Сост. П.М. Нерлера, подгот. текста и коммент. А.Д. Михайлова, П.М. Нерлера. – М.: Художественная литература, 1990, – содержавшее и первый после составленного Харджиевым самостоятельный вариант комментария ко всем публикуемым стихотворениям и первый – к его прозаическим произведениям.

– попытке ограничить пояснения к текстам только сведениями фактического характера. Во многом этому способствует специфика художественного мировоззрения и творчества Мандельштама, «реальный» комментарий произведений которого неизбежно выводит исследователя на содержательный, суггестивный, по определению Лидии Гинзбург, уровень его поэтики. Вместе с тем никакая попытка интерпретации мандельштамовских стихов и прозы не будет считаться законченной и хотя бы в малой степени имеющей право на существование без обращения к фактам биографии автора и к историко-литературному контексту. Необходимость в конкретных реалиях проявляется уже в первом примечании, открывающем обширный раздел комментариев (С. 309–490) и посвященном самому раннему из известных стихотворений Мандельштама – «Среди лесов, унылых и заброшенных...», написанному в 1906 году еще во время обучения в Тенишевском училище. Указывая на обстоятельства появления этого текста, авторы неизбежно обращаются к практике предвосхитившего их коллеги: «Как указывает А. Мец, “это и следующее стихотворение написаны под впечатлением от рассказов о расправе правительственных войск в Зегевольде (позднее – Сигулда) в начале 1906 г.” <...> Лето того года Мандельштам с матерью и братьями провел в Зегевольде (Латвия)» (С. 309). Впрочем, с формальной точки зрения комментаторы остаются верны выбранному ими методу, поскольку без указываемых здесь внетекстовых реалий стихотворение действительно не может быть верно понято.

В то же время неожиданностью для неподготовленного читателя станет отсутствие в абсолютном большинстве этой части примечаний фактографической составляющей. Но данное обстоятельство ни в коем случае нельзя отнести к недобросовестности авторов, как правило, ограничивающихся только текстологической ссылкой на первую публикацию стихотворения и список библиографии о нем. Отличающая в этот период творчество поэта явная и декларируемая им самим ориентация на художественный опыт символистов менее всего требует объяснений и толкований, находящихся в сфере повседневной действительности, и позволяет оставаться в смысловом пространстве абстрактных понятий и категорий. До стихотворений, относящихся к самому началу 1912 года (С. 309–322), реальный комментарий отсутствует в силу объективных причин, что по-своему подтверждает результаты многочисленных исследований ранней поэзии Мандельштама, абсолютное большинство из которых указано в библиографической части примечаний к каждому из текстов этого отрезка времени.

Нетрудно догадаться, что ситуация принципиально меняется с началом акмеистического периода мандельштамовского творчества, который несколько условно можно отнести к 1912–1917 годам (С. 323–376). Внимание комментаторов последовательно привлекают явлении, объекты и персонажи повседневной реальности эпохи заката Российской империи: циферблат часов Царскосельского вокзала и само Царское Село, «лейб-гвардии гусарский его величества полк, предназначенный для личной охраны монарха», журнал «Нива» и романы Дюма-отца и Дюма-сына, «точильщик – одна из распространенных уличных профессий дореволюционного Петербурга», «золотой» – «денежная единица, введенная в Российской империи реформой 1897 года», правовед – «студент Императорского училища правоведения», броненосец – «появившийся в России в конце XIX века вид военных артиллерийских кораблей», сбитень и сайка, петербургские проститутки и бродяги, тюремные камеры Петропавловской крепости, ломовик, лубочная литература, сода-виски и кюрасо, теннис, футбол, крокет на льду (хоккей) и конное поло... Не менее широко представлены в сборнике примечания о важнейших составляющих пространства мировой культуры, к числу которых могут быть отнесены константинопольская Айя-София и парижский Нотр-Дам, «одна из наиболее известных династий Тутмосидов Древнего Египта», индивидуальные особенности творчества Баха, новелла «Падение дома Эшеров» По, «Домби и сын» Диккенса, римские Авентин и Капитолий, Казанский, Реймсский и Кельнский соборы и многое другое. Вряд ли стоит напоминать о

том, что без точного понимания этих образов (именно образов, а не просто слов и устойчивых словосочетаний), без знания стоящих за ними социально-исторических и культурных реалий полноценное восприятие стихов Мандельштама невозможно.

Подобная лексико-семантическая «дифференциация» присутствует и на последующих этапах мандельштамовского творчества, содержательная и формальная периодизация которого для современной науки стала постоянной величиной и не требует специального обсуждения. При этом процесс комментирования становится тематически двунаправленным: объектом описания оказываются, с одной стороны, единицы, входящие в активный словарный запас начала 1910-х годов и по тем или иным причинам сохраняющие свою актуальность, а с другой – лексические новообразования послеоктябрьской эпохи. Такова, например, ситуация с посвященным событиям 1905 года стихотворением «Когда в далекую Корею...», при обращении к которому в поле зрения комментаторов попадает используемый поэтом в мае 1932 года набор «архаической» лексики, отражающей историческую и бытовую специфику того времени: русско-японская война и оранжерея Тенишевского училища, недавно начавшие производиться конфеты ирис и затонувший от взрыва на японской мине броненосец «Петропавловск» и последовавшее за этим поражение русского флота в сражении при Цусиме... Одновременно с этим в тексте присутствуют и элементы культурного кода, актуальные для автора: Тарас Бульба из одноименной повести Гоголя и царевич Хлор из оды Державина «Фелица» (С. 429–430).

Исключительно чуткий к «живой стихии русского языка», Мандельштам, как и многие его коллеги по цеху, остро воспринимал языковые нововведения победившего пролетариата, в полной мере проявившиеся в тотальном засилье аббревиатур и самых разнообразных сокращений. Именно используя одну из таких расхожих лексических конструкций в глубоко личностном, экзистенциальном контексте первого из «московских стихотворений» мая-июня 1931 года «Еще далёко мне до патриарха...», поэт выразил свое отношение к современности: «Пора вам знать: я тоже современник, / Я человек эпохи Москвошвея». Вряд ли покажется преувеличением утверждение о том, что упоминаемый комментаторами «трест, образованный в 1929 г. по пошиву пиджаков, брюк и пальто» (С. 420), оказывается способен нести в себе не только фактические, но и лингвистические «дифференциальные признаки» новой эпохи[6]. В опосредованной, метафорической форме Мандельштам выразил свое отношение к аббревиатурам в «Четвертой прозе», в ее финальной части: «Ночью на Ильинке, <...> Гумы и тресты спят и разговаривают на родном китайском языке <...>. – Вий читает телефонную книгу на Красной площади. Поднимите мне веки. Дайте Цека...». И здесь кажется допустимым говорить о том, что имя этого персонажа с его традиционными фольклорными коннотациями – Вий – может ассоциироваться и с аббревиатурой, также становясь лингвистическим «отражением» внетекстовой реальности[7].

[6] Аналогичные элементы «новояза», ничуть не уступающие оруэлловским, но давно уже воспринимаемые как нормативная лексика, Мандельштам использовал для «экзистенциального самоопределения» в стихотворении «Стансы» («Я не хочу средь юношей тепличных…») мая-июня 1935 года: «Но, как в колхоз идет единоличник, / Я в мир вхожу – и люди хороши». К первой из этих строк комментаторы ограничились информацией о том, что «с конца 1920-х годов политика государства была направлена на всеобщую коллективизацию» (С. 450), хотя нововведенный «социально-хозяйственный» термин явно воспринимался образованной частью носителей русского языка как откровенно чужеродное, неприемлемое «словотворчество». Совершенно откровенно об этом писал один из самых последовательных противников революционного новояза Борис Пильняк, в романе которого «Голый год» (в 1922 году одновременно опубликованном в Петрограде, Москве и Берлине) эпизодический персонаж – священнослужитель – признается одному из героев: «Все спутал, все спутал!.. Знаешь, какие слова пошли: гвиу, гувуз, гау, начэвак, колхоз, – наваждение! Все спутал!». (Хочется надеяться, что в недалеком будущем не только образы, но и сами слова «колхоз» и «единоличник» (в его новоприобретенном статусе большевистской терминологии) будут требовать обязательного объяснения для читателей.)

[7] В данном контексте необходимо учитывать, что

В такой ситуации сказанное вполне допустимо проецировать на стихотворение апреля 1937 года «Как по улицам Киева-Вия...», что может наглядно продемонстрировать объективно существующую уязвимость комментария, ориентированного только на фактографическое описание и сознательно избегающего обращения к содержательной составляющей. В примечании к этому тексту Вий определен как «дьявольское существо из одноименной повести Н.В. Гоголя» (С. 485), что отчасти совпадает с расплывчатой формулировкой предыдущего объяснения, принадлежащего Александру Мецу: «фантастический персонаж одноименной повести Гоголя»[8]. При этом оба они соответствуют более широкой формулировке, характерной для современных этнолингвистичесих исследований: «персонаж одноименной повести Н.В. Гоголя, по своим внешним признакам и поведению схожий с целым рядом восточнославянских мифологических персонажей»[9]. Еще до недавнего времени не вызывал сомнений тот факт, что Вий «в восточнославянской мифологии персонаж, чей смертоносный взгляд скрыт под огромными веками или ресницами»[10], но общераспространенная, традиционная для литературоведения точка зрения об архаических корнях происхождения одного из самых известных гоголевских образов, его прямом заимствовании из восточнославянской фольклорной традиции в конце 1990-х годов была подвергнута обоснованному сомнению: «Есть все основания считать образ Вия не творением “простонародного воображения”, а авторской фантазии <...> Гоголя, сконструировавших своего героя из реальных мифологических мотивов, встречающихся в славянских традициях, но по законам романтической эстетики»[11]. Однако и это революционное утверждение ничего не добавляет к полному и точному пониманию образа Вия в мандельштамовском тексте: в данном случае уже не имеет значения, знал ли автор о трудностях установления генезиса своего «героя» (вероятнее всего, не знал), намного актуальнее те дополнительные значения, которые возникают в пространстве культуры в подобной смыслообразующей перспективе.

Высокая степень вероятности аналогичных «полифонических» толкований, невозможность сведения их к одному исчерпывающему комментарию прежде всего отличает образы, черпаемые поэтом из самой широкой культурной традиции – различные по своему происхождению исторические и мифологические имена, события и факты; известные литературные, музыкальные, живописные и фольклорные произведения и персонажи; образы, связанные с материальными видами искусств и др. Такие случаи многочисленны и разнообразны, начиная уже с «акмеистических» стихов, но если в этот период автор чаще всего остается в границах словарных значений, то позднее включение в поэтический текст подобных лексических единиц сопряжено с появлением у них дополнительных смысловых оттенков и даже нового содержания, как случилось с образом Вия, очевидно, ставшим метафорической персонификацией современной поэту действительности. Именно появление в стихах таких содержательных элементов,

и для самого гоголевского текста ранее отмечалась актуальность вербального аспекта повествования: Заславский О.Б. Проблема слова в повести Гоголя «Вий» // Wiener Slawistischer Almanach. 1997. Bd. 39. – В метафорической, но совершенно явной форме указание на одновременно революционное и фольклорное «происхождение» аббревиатур содержится в продолжении монолога персонажа «Голого года»: «Слышишь, как революция воет – как ведьма в метель! слушай: – Гвииуу, гвииуу! шоя, шоооя... гаау. И леший барабанит: – гла-вбум! гла-вбуумм!.. А ведьмы задом-передом подмахивают: – кварт-хоз! кварт-хоз!.. Леший ярится: – нач-эвак! нач-эвак! хму!.. А ветер, а сосны, а снег: – шоя, шоооя, шоя... хмууу... И ветер: – гвииуууу...».

[8] Мец А.Г. Примечания // Мандельштам О. Полное собрание сочинений и писем: В 3 т. Т. 1: Стихотворения / Сост., подгот. текста и коммент. А.Г. Меца. – М.: Прогресс-Плеяда, 2009. С. 665.

[9] Белова О.В. Вий // Славянская мифология: Энциклопедический словарь / Изд. 2-е, испр. и доп. – М., Международные отношения, 2002. С. 76, стб. 1.

[10] Иванов В.В., Топоров В.Н. Вий // Славянская мифология: Энциклопедический словарь. – М.: Эллис Лак, 1995. С. 90, стб. 1.

[11] Левкиевская Е.Е. К вопросу об одной мистификации или гоголевский Вий при свете украинской мифологии // Studia Mythologica Slavica. 1998. T. I. S. 314.

адекватное понимание которых выходит за границы традиционного словоупотребления, создает главную сложность их восприятия не только для широкой читательской аудитории, но и для профессиональных литературоведов и фольклористов.

В качестве еще одного произвольного примера такого расширительного понимания традиционных значений может выступать цикл «Стихи о русской поэзии» (июль 1932 года): составляющие его тексты, тематически и эмоционально обращенные едва ли не ко всей поэтической традиции русской литературы в ее самых высоких проявлениях, строятся на образах, заимствованных из восточнославянского фольклора. В третьем из стихотворений после экспозиции (если применительно к нему не сказать рекогносцировки): «Полюбил я лес прекрасный...» – появляется целый ряд живописных «героев», для которых характерно именно подобное метафорическое наполнение. Особое внимание читателя наверняка привлечет строка: «Тычут шпагами шишиги, / В треуголках носачи», – поскольку это довольно употребительное наименование, заимствованное из русского фольклора, может пониматься по-разному. Как свойственно многим периферийным, низовым персонажам фольклорной демонологии, шишига не имеет одного устойчивого означаемого, и говорить с абсолютной уверенностью о том, кто в мандельштамовском стихотворении скрывается за этим «именем», весьма затруднительно. До авторов рассматриваемого издания ни один из комментаторов внимания на них не обратил; в качестве объекта самостоятельного описания отсутствуют они и в тематически ориентированных исследованиях и энциклопедических изданиях по восточнославянскому фольклору; в примечании к «Стихам о русской поэзии» шишиги определены как кикиморы (С. 435). При этом необходимо учитывать, что в словаре Владимира Даля шишига трактуется не только как нечистая сила вообще, но и более широко и, в то же время, конкретно, как «нечистый, сатана, бес; злой кикимора или домовой, нечистая сила, которую обычно поселяют в овине; <...> черти», в подтверждение чего, в частности, приводится поговорка, вынесенная в заглавие настоящей заметки: «Шишига его смутил»[12].

И хотя фольклорное происхождение этого образа у Мандельштама очевидно, некоторые исследователи при анализе его ассоциативных значений явно удаляются и от значений реальных. Так, например, совершенно неожиданную, откровенно парадоксальную интерпретацию предложил Борис Гаспаров: «Как кажется, скрытым смыслом этих строк является гротескная картина “преображения” Фета-незаконного сына, носившего фамилию матери по первому браку, – в “Шеншина”, русского дворянина, офицера и камергера <...>. Слово шишиги (“нечистая сила”, по В.И. Далю) может быть понято как каламбурная передача новообретенного имени Фета»[13]. Вполне оправданным представляется несогласие с таким толкованием Владимира Мусатова, разделившего точку зрения Ирины Месс-Бейер, «увидевшей в шишигах и носачах контаминацию гофмановского Крошки Цахеса и гоголевского Носа. Перед нами – инфернальные существа, в руках которых оказалась лесная жизнь, и это один из признаков “беды”, случившейся с лесом. Палачи, читающие книги “на углях”, даны как продолжение шишиг и носачей. Власть вдвойне отвратительна своей любовью к книгам, авторов которых она сама же спокойно уничтожает»[14]. В результате, полностью дис-

[12] Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. В 4 т. Т. 4: Р – V / Изд. 2-е, испр. и значит. умноженное. – СПб.; М.: Издание книгопродавца-типографа М.О. Вольфа, 1882. С. 655, стб. 1. – Сам Мандельштам придавал этой книге и стоящему за ней «культурологическому» мировоззрению Даля исключительное значение – в 1922 году в одной из «программных» своих статей – «О природе слова» – он писал: «каждое слово словаря Даля есть орешек акрополя, маленький кремль, крылатая крепость номинализма, освященная эллинским духом на неутомимую борьбу с бесформенной стихией, небытием, отовсюду угрожающим нашей истории».

[13] Гаспаров Б.М. Сон о русской поэзии (О. Мандельштам. «Стихи о русской поэзии», 1–2) // Гаспаров Б.М. Литературные лейтмотивы: Очерки по русской литературе XX века. – М.: Наука. Восточная литература, 1993. С. 156.

[14] Мусатов В. Лирика О. Мандельштама. – Киев:

танцируясь от архаической основы этого персонажа, исследователи находят в нем и историко-литературное, и социально-политическое наполнение, но при любой из этих интерпретаций очевидно, что следование лишь одному из значений комментируемого образа, в данном случае фольклорному, не только не прибавляет понимания его «индивидуального» содержания в рассматриваемом контексте, а наоборот, затемняет смысл, уводя читателя в сторону.

Буквальное прочтение неизбежно приводит к искаженному пониманию как образов, входящих в пространство культуры, так и явлений бытовой повседневности. Например, финальную строфу стихотворения 1917 года «Еще далёко асфоделей...»: «Туда душа моя стремится / За мыс туманный Меганом, / И черный парус возвратится / Оттуда после похорон!» – авторы рецензируемого сборника комментируют следующим образом: «черный парус <...> поднимался на кораблях, чтобы сообщить о гибели капитана» (С. 373). Думается, что в данном случае речь все-таки должна идти о переосмысленном мифологическом сюжете – трагической смерти царя Эгея по вине Тесея, который во время возвращения домой после победы над Минотавром не сумел поменять на своем корабле черные паруса на белые, что его отец воспринял как известие о гибели сына и покончил с собой[15]. Примером буквальной расшифровки образов, связанных с биографическими реалиями, может служить ключевая строфа стихотворения «Еще далёко мне до патриарха....» июля – сентября 1931 года: «Когда подумаешь, чем связан с миром, / То сам себе не веришь: ерунда! / Полночный ключик от чужой квартиры, / Да гривенник серебряный в кармане, / Да целлулоид фильмы воровской». Если образ полночного ключика комментаторы объясняют как «ключ от квартиры <...> брата А. Мандельштама, где жил в этот период поэт», то воровскую фильму они интерпретируют как «фильм “Путевка в жизнь”, вышедший в прокат в июне 1931 г.» (С. 422). И здесь, очевидно, необходимо говорить о чересчур прямолинейном толковании мандельштамовской образности, поскольку упоминаемая откровенно эксцентрическая кинокомедия вряд ли подходит под определение «воровской»[16].

Если в адрес первой авторской части издания, «комментаторской», ее читателями могут быть высказаны нарекания самого разного рода (нетрудно предсказать разногласия в выборе комментируемых элементов художественного мира поэта, несогласие с предложенными объяснениями, упреки в отсутствии ссылок на источники приводимых в примечаниях интерпретаций и т.п.), то вто-

Эльга-Н; Ника-Центр, 2000. С. 414; речь идет о публикации: Месс-Бейер И. Эзопов язык в поэзии Мандельштама 30-х годов // Russian Literature. 1991. Vol. XXIX. № 3. С. 259–261. Нельзя не отметить, что и этот вариант «дешифровки», интертекстуальный, не кажется более убедительным, чем предыдущий, историко-литературный.

[15] См., напр.: Тахо-Годи А.А. Тесей // Мифы народов мира: Энциклопедия. – М., 2008 [электронное издание]. С. 975, стб. 2–3. Применительно к мандельштамовскому стихотворению эта параллель предлагалась неоднократно: Михайлов А.Д., Нерлер П.М. Комментарии // Мандельштам О. Сочинения: В 2 т. Т. 1: Стихотворения. Переводы / Сост. П.М. Нерлера, подгот. текста и коммент. А.Д. Михайлова, П.М. Нерлера. – М.: Художественная литература, 1990. С. 479; Шиндин С.Г. О некоторых семантических компонентах мотива полета в художественном мире Мандельштама // Концепт движения в языке и культуре. – М.: Индрик, 1996. С. 366–367; Мец А.Г. Примечания. С. 560 и др.

[16] Ср.: Шиндин С. Мандельштам и кинематограф // Toronto Slavic Quarterly. 2017. № 60. С. 16–17. – Надежда Мандельштам оставила свидетельство о встречах поэта со своим приятелем (Вторая книга / Подгот. текста, примеч. М.К. Поливанова. – М.: Московский рабочий, 1990. С. 438): «Заходил Боря Лапин <…>. Однажды он принес кусок киноленты, и мы рассматривали ее на свет», – которое без видимых причин стало основанием для утверждения о том, что в мандельштамовском образе подразумевается «“кусок киноленты”, подаренный поэту Б. Лапиным» (Мец А. Примечания. С. 604). Еще раньше для этого образа предлагалось совершенно экзотическое толкование: «целлулоидный рожок; с его помощью можно было звонить по телефону-автомату, не опуская 15-копеечную монету» (Михайлов А.Д., Нерлер П.М. Комментарии. С. 515). В любом случае налицо присутствие нескольких взаимоисключающих друг друга интерпретаций, равнозначных в своем праве на существование, о чем приходится постоянно помнить, обращаясь к поэзии Мандельштама, особенно 1930-х годов.

рая, библиографическая часть, составленная Олегом Лекмановым при участии Дмитрия Зуева, объективно остается вне критики. За все время изучения биографии и творчества Мандельштама подобного рода вспомогательный аппарат, ориентированный на максимально возможную полноту описания, публиковался, кажется, только дважды, в 1990 и 1997 годах[17]. Адресная, «точечная» библиография, целенаправленно относящаяся к каждому стихотворению, ранее в печати никогда не появлялась, а потому переоценить практическую, научную ценность предложенных составителями материалов невозможно. Но, разумеется, отдельные незначительные огрехи и мелкие недочеты случаются и при самом ответственном и профессиональном отношении к столь кропотливой и непростой работе; не избежало этого и рецензируемое издание.

Так, например, в описание статьи Томаса Лангерака «“Подхалимские стихи”. О творческой истории стихотворения Мандельштама “Не мучнистой бабочкой белой...”» опечатки вкрались в выходные данные: публикация, действительно, состоялась в издаваемых в Воронеже «Филологических записках», но не в 23-м выпуске 2005 года, а в вышедшем в 2006 году выпуске 25 (где, в свою очередь, содержится грамматическая опечатка в заглавии мандельштамовского стихотворения). Вероятно, сознательно остался не указанным составителями факт повторной публикации этого исследования (с несколько измененным названием, но с той же очевидной ошибкой в заголовке) в увидевшем свет в 2012 году сборнике статей «Текстологический временник. Русская литература XX века: Вопросы текстологии и источниковедения. Книга 2», подготовленном Институтом мировой литературы. Именно этот вариант был позднее размещен на странице «Публикации» в разделе «Академическая библиография» официального сайта Гентского университета, где преподает автор (https://biblio.ugent.be/publication/3071881). Там же находится другая статья этого исследователя – «Анализ стихотворения Мандельштама “Импрессионизм”» (https://biblio.ugent.be/publication/3111734), опубликованная в 2012 году в 4-м выпуске воронежского сборника «Универсалии русской культуры», но не попавшая в список литературы при комментарии мандельштамовского текста; вместо нее присутствует англоязычный «прецедент» – статья «Mandel’stams “Impressionizm”» (также с опечаткой в заглавии этого стихотворения на нидерландском языке). Кроме того, досадная оплошность отличает само библиографическое описание – предлагаемый вариант выходных данных: «Voz’mi na radost”: to honour J.v.d.Eng-Liedmeier, Amsterdam. 1980», – в действительности несколько отличается и выглядит так: «Возьми на радость: To Honor Jeanne van der Eng-Liedmeier. – Amsterdam, 1980». К слову сказать, библиография, сопровождающая комментарий к стихотворению 1932 года «Импрессионизм» (С. 431), могла бы быть расширена за счет еще нескольких позиций, безусловно заслуживающих внимания исследователей[18].

[17] См.: Осип Эмильевич Мандельштам / Сост. Н.Г. Захаренко, А.Г. Мец // Русские советские писатели. Поэты. – М.: Книжная палата, 1990. Т. 13. С.116–207; Литература о жизни и творчестве О.Э. Мандельштама // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1993 год: Материалы об О.Э. Мандельштаме. – СПб.: Академический проект, 1997. С. 259–356.

[18] Речь идет о публикациях: Панова Л.Г. «Мир», «пространство», «время» в поэзии О. Мандельштама. – М.: Языки славянской культуры, 2002. С. 59–60; Видгоф Л. «Но люблю мою курву-Москву»: Осип Мандельштам: поэт и город. – М.: Астрель, 2012. С. 428–430; Доронченков И. «Масло парижских картин». Из искусствоведческих примечаний к прозе и стихам О.Э. Мандельштама // (Не)музыкальное приношение, или Allegro affettuoso: Сборник статей к 65-летию Бориса Ароновича Каца. – СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2013. С. 532–534; Meijer J.M. Pictures in Mandel’stams Oeuvre // Dutch Contributions to the Eight International Congress of Slavist. – Lisse, 1979 и др. – С библиографическим окружением этого стихотворения уже за пределами рецензируемого издания иногда возникают просто трагикомические ситуации. Так, Лада Панова в своем упомянутом монументальном исследовании полемически комментирует одну из трактовок «Импрессионизма», однако в названной ею публикации (Михеев М.Ю.

При более внимательном и пристрастном прочтении списка литературы, входящей в состав примечаний, подобного рода примеры могут оказаться не единичными, однако они не носят критического характера, поскольку библиография научных, публицистических и даже художественных текстов вокруг имени Мандельштама за последние тридцать лет стала практически неисчерпаемой даже для мандельштамоведов. Данное обстоятельство придает предложенной составителями и комментаторами библиографической модели дополнительную ценность, становящуюся особенно актуальной в современных условиях постоянно снижающегося уровня исследовательских и образовательных стандартов, нередко совершающих последовательное движение от недобросовестности к профанации и откровенному непрофессионализму. Одним из проявлений этого на практике является полное игнорирование всего сделанного в науке ранее, что кажется невозможным в ситуации обращения к такому сложному для изучения автору, как Мандельштам[19]. И если для аспиранта это еще можно объяснить полной неосведомленностью его самого и абсолютным равнодушием научного руководителя, то вряд ли хотя бы как-то удастся оправдать отсутствие ссылок на предшествующие исследования в труде университетского преподавателя, где, как лаконично постулирует аннотация, «в онтологическом аспекте рассматривается поэтическая концепция пространства и времени творчества О.Э. Мандельштама. <...> Наиболее подробно рассмотрена семантическая наполняемость концепта “вечность”. Ключевые слова: жизнь, вечность, смерть, время, пространство»[20].

Отсутствует обращение к исследованиям коллег и в другой публикации – статье о метафорических формах наименования человека, присутствующих в мандельштамовской поэзии[21]. Данный факт тем более труднообъясним, что незадолго до этого автор выпустил в свет построенную в словарной форме монографию на ту же тему; словарь подобного типа был издан впервые, и, как сказано в аннотации, «в нем представлены индивидуально-авторские фразеологические единицы со значением лица, занимающие центральное место в индивидуальной языковой картине мира одного из выдающихся поэтов Серебряного века – О.Э. Мандельштама. Книга включает в себя 320 словарных статей, в каждой из которых содержится структурно-грамматическая и семантическая характеристика поэтических фразеологизмов; приводится необходимый культурологический и литературоведческий комментарий, раскрывающий образную основу фразеологических наименований человека.

Жизни мышья беготня или тоска тщетности? (о метафорической конструкции с родительным падежом) // Вопросы языкознания. 2000. № 2. С. 48) она отсутствует. В свою очередь, факт интерпретации мандельштамовского текста в ее монографии «Космология в поэтическом языке О. Мандельштама» с конкретными выходными данными («М., 2002. С. 99–101») указан в статье Натальи Злыдневой (Экфрасис в «Путешествии в Армению» Мандельштама: проблема референции // Исследования по лингвистике и семиотике: Сборник статей к юбилею Вяч.Вс. Иванова. – М.: Наука, 2010. С. 572), однако в реальности такой книги не существует, а «заголовок» ее полностью тождественен названию начальной части все той же монографии Лады Пановой. И если в первом случае в оправдание автора речь еще может идти об опечатке, то второй не находит никакого логического объяснения.

[19] В вводной части этих заметок уже приводились слова авторов настоящего издания о том, что «комментарий рассчитан <…> и на читателей-“профессионалов” (студентов и состоявшихся исследователей), которым в своих изысканиях будет необходимо опираться на опыт анализа произведений Мандельштама, уже накопленный до них» (С. 305).

[20] Пороль О.А. Онтологическое пространство в поэзии Мандельштама // Вестник Оренбургского государственного университета. 2015. № 6 (125). С. 38. Вот уж, воистину, прав был изучаемый подобного рода «онтологами» поэт: «Немногие для вечности живут…». Собственно говоря, в статье невозможно понять и то, как цитируются тексты этого автора.

[21] См.: Гончарова Н.В. Структурная характеристика фразеологических наименований человека в поэтических текстах О. Мандельштама // Фразеологические единицы как элемент языковой картины мира: Сборник материалов Всероссийской научной конференции. – Курган: Издательство Курганского государственного университета, 2015.

Словарь предназначен для широкого круга читателей»[22]. По какой причине автор вдруг решил проигнорировать собственный исследовательский опыт, во многом основанный на печатных трудах своих коллег, остается необъяснимым.

Подобное дистанцирование (или остранение?) характерно именно для исследователей, претендующих на абсолютную новизну теоретического и методологического инструментария, предлагаемого ими для интерпретации художественных текстов, когда творчество того или иного литератора становится лишь иллюстративным материалом. Применительно к поэтическому наследию Мандельштама одним из примеров подобного подхода может служить опыт обнаружения нового лирического жанра: «незамеченному в период своего возникновения и не имеющему пока еще научного термина жанру лирического “воления” целесообразно было бы присвоить имя волюнты (от лат. voluntas – волеизъявление) <...>. У О.Э. Мандельштама также имеются лирические тексты, принадлежащие к обозначенному жанровому инварианту». Но на этом автор не останавливается, а на материале мандельштамовской поэзии 1937 года продолжает свои изыскания и приходит к выводу о существовании еще одного из основных лирических жанров. К числу его отличительных черт относятся, в частности, «два жанрообразующих инвариантных параметра, дополняющих архитектонику присутствия – как интенцию самоопределения лирического субъекта, так и эвристическую суггестию лирического прозрения». Жанру лирических прозрений подобного рода предлагается присвоить термин эвиденция (от лат. evidenc – очевидный, явный), после чего статья завершается утверждением: «Жанровая стратегия лирической эвиденции весьма характерна для поэтического творчества Мандельштама, но едва ли он является единоличным изобретателем новейшей лирической жанровости»[23]. В том, что Мандельштам не является изобретателем эвиденции, сегодня вряд ли кто сомневается, отчего понятным становится отсутствие в публикации проекций на предшествующий научный опыт изучения его поэзии. Остается только желание вслед за известным литературным персонажем задаться вопросом: «Что он Гекубе? Что ему Гекуба?».

Но не следует надеяться, что подобному «минимализму» противостоят только высокое чувство ответственности и истинный профессионализм, – имитация, ставшая одной из отличительных черт современности, коснулась и этой сферы, прежде всего в практике высшего образования. Вот лишь один пример – библиография в сравнительно недавнем учебном пособии, которое посвящено поэзии Мандельштама, обозначенной автором как его «художественный мир»[24]. В процессе обучения студентам предлагается использовать, в частности, «Вторую книгу» Надежды Мандельштам, выпущенную в 1978 году в парижском издательстве «YMKA-PRESS» (sic!), а также известное исследование Омри Ронена «Лексический повтор, подтекст и смысл в поэтике О. Мандельштама», вошедшее в сборник «Slavic Poetics: Essays in Honor of Kiril Taranovsky», который увидел свет в 1973 году в «семиотическом» гаагско-парижском издательстве «Mouton» (в библиографии оно не упомянуто). Трагикомизм данной ситуации заключается даже не в том, что и мемуары, и статья уже неоднократно переиздавались в России, а в том, что в недавний период отечественной истории первые из них входили в список запрещенных антисоветских книг, а вторая была связана с изданием, имевшем статус нежелательного; вряд ли сегодня подобные раритеты можно встретить где-то кроме специализированных книжных собраний. Соответственно, и в данном случае можно говорить о «библиографической» имитации, что подтверждается

[22] Гончарова Н.В. Фразеологические наименования человека в стихотворениях О. Мандельштама: Словарь. – Курган: Издательство Курганского государственного университета, 2011. С. 2.

[23] Тюпа В.И. Эвиденции в стихах О.Э. Мандельштама 1937 года // Верхневолжский филологический вестник. 2016. № 2. С. 108, 110.

[24] См.: Бреева Т.Н. Художественный мир Осипа Мандельштама: Учебное пособие. – М.: ФЛИНТА; Наука, 2013. С 131–135.

как отсутствием указаний на источник цитат из воспоминаний вдовы поэта, так и неполнотой описания сборника статей, где появляется некое топографическое новообразование – «The Hague Paris», что свидетельствует о явном непонимании автором библиографии того, о чем идет речь. Данный факт позволяет объяснить еще одну специфическую черту этого списка – труднообъяснимую предрасположенность его составителя к авторефератам диссертаций, которым принадлежат 17 из 71 позиции. Зная, как легок и привычен сегодня поиск подобных электронных изданий в Интернете для соискателей ученых степеней, можно предположить, что именно на их долю выпало составление этого списка литературы.

Еще более экзотически «репрезентированы» воспоминания вдовы поэта в публикации, посвященной некоторым параллелям мандельштамовских оценок художественного творчества теоретическим положениям и практическим выводам русского формализма, где после упоминания о его взаимоотношениях с Велимиром Хлебниковым (малопригодного в качестве источника информации) следует лаконичное примечание: «Об этом см. небольшую главку «Хлебников» в мемуарах Н.Я. Мандельштам “Вторая книга” (1972)»[25]. Что подразумевает автор статьи и куда он в такой императивной форме направляет читателя, остается только догадываться. Там же, кроме сознательного искажения в цитате мандельштамовского текста, вновь обнаруживается зияющая лакуна в библиографии, хотя обойти сегодня сделанное в науке по заявленной автором теме просто невозможно; во всяком случае, недопустимо оставлять без внимания основополагающее, давно уже ставшее хрестоматийным исследование Евгения Тоддеса «Мандельштам и опоязовская филология», опубликованное в вышедшем в 1986 году в Риге издании «Тыняновский сборник: Вторые Тыняновские чтения». Если обобщить данный факт со сходными ситуациями, можно утверждать, что данная статья выступает произвольным, но более чем симптоматичным примером той тенденции, которая устойчиво прослеживается в обращении к мандельштамовскому творчеству в качестве объекта изучения с конца 1980-х годов. Как уже неоднократно отмечалось выше, исключительно сложный для восприятия художественный мир поэта неизбежно стимулирует читателей и исследователей на поиск нового понимания образующих его текстов, что для неискушенной и неподготовленной части аудитории становится причиной и поводом для самых фантастических домыслов и сопоставлений. Увиденные словно впервые, стихи в таком освещении становятся прежде всего отражением не столько интеллектуального, сколько «образовательного» уровня интерпретатора, чью научную состоятельность наглядно демонстрируют результаты его собственных изысканий.

Нередко на практике возможными оказываются совершенно невероятные, просто необъяснимые ситуации; вот лишь один пример, связанный с практикой библиографического обоснования текстов самого Мандельштама. В 2008 году цитировать его стихи, даже шуточные, по примечаниям к изданию 1973 года – это уже не нонсенс, это трудно назвать даже непрофессионализмом. В реальности источником цитаты для исследователя становится «черновая рукопись “Соломинки”, воспроизведенная Н.И. Харджиевым в книге “О.Э. Мандельштам” (серия “Библиотека поэта”)»[26].

[25] Арензон Е.Р. Осип Мандельштам и ОПОЯЗ // Методология и практика русского формализма: Бриковский сборник. Вып. II: Материалы международной научной конференции «II Бриковские чтения: Методология и практика русского формализма» (Московский государственный университет печати, Москва, 20–23 марта 2013 года). – М.: Азбуковник, 2014. С. 117.

[26] Ерыкалова И.Е. Культурные реалии петербургского серебряного века в стихотворении О.Э. Мандельштама «Соломинка» (Опыт прочтения чернового варианта) // Диалог культур и партнерство цивилизаций: VIII Международные Лихачевские научные чтения 22–23 мая 2008 года. – СПб.: Издательство Санкт-Петербургского государственного университета профсоюзов, 2008. С. 392. – Подобное именование «книги» (собрания мандельштамовских стихотворений) не может не вызвать в памяти слова совсем юной героини романа Леонида Добычина «Город Эн», обращенные к столь же юному главному герою: «– Ты читал книгу “Чехов”? – краснея, <…> спросила она», –

Более того: далее тексты поэта приводятся со ссылкой: «Мандельштам О. Сочинения. – М., 1980», – то есть на явление таинственное, если не сказать фантасмагорическое: первое после упомянутой книги 1973 года издание мандельштамовских стихотворений вышло только в 1990 году. Но речь в данном случае не может идти о простой опечатке и последовавшей ошибке расстоянием в десятилетие: реально увидевшее свет на закате истории Советского Союза собрание было двухтомным, а автор статьи оба раза ссылается на свой фантастический источник без указания тома. Во «втором издании» статьи, «исправленном и дополненном», сознательно или неосознанно (вероятнее всего, первое), самостоятельно или по совету коллег автор попытался скрыть некоторые несуразности предыдущего варианта, но профессиональной тональности это ему не прибавило. Источник первоначальной редакции мандельштмовского стихотворения – репродукция рабочего варианта его рукописи – скрыт за деликатной ссылкой «Мандельштам О. Черновой автограф стихотворения “Соломинка”», исчезли и таинственные «сочинения» 1980 года издания, вместо них тексты поэта приводятся все по тому же собранию 1973 года. (Попутно можно отметить, что многочисленные цитаты из текстов Анны Ахматовой даны вообще без каких-либо ссылок на источники.) Кроме того, в статье появились указания на книгу Ирины Семенко «Поэтика позднего Мандельштама: От черновых редакций к окончательному тексту», библиографическое описание которой дано в сокращенном виде, а начиная со второго появления становится «Поэзией позднего Мандельштама». В качестве источника сведений о биографии поэта в новой редакции «исследования», в середине 2010-х годов, не забыто и печально известное предисловие Александра Дымшица все того же 1973 года...[27] Говорить о том, насколько подобного рода подход дискредитирует и самого автора статей, и всю традицию изучения мандельштамовского творчества, не представляется необходимым.

Эту катастрофическую ситуацию, существующую уже не одно десятилетие и активно и всесторонне развивающуюся (а речь здесь не шла еще об электронных изданиях диссертаций, да и примеры были приведены только самые вопиющие), рассматриваемая библиография, как бы тщательно и умело, на основе собственного исследовательского опыта она ни была подобрана, разумеется, не исправит. Но, возможно, надежды авторов на лучшее наглядно отражены в примечании к главному и самому сложному поэтическому произведению Мандельштама – «Стихам о неизвестном солдате»: если комментарий к нему содержит лишь единственное определение, относящееся к образу «аравийское месиво, крошево»: «намек на сражения Наполеона в Египте» (С. 469), – то библиография занимает чуть меньше страницы. Соответственно, особую ценность вводимым составителями и комментаторами в научный оборот материалам придает не только их пионерский характер, но и тот факт, что они объективно не позволят впредь оправдывать свою «библиографическую недееспособность» недобросовестным и непрофессиональным авторам, будь то начинающие аспиранты, преподаватели столичных и провинциальных вузов и, конечно же, литературоведы любых школ и

как, впрочем, и его трагическое самоощущение в другой ситуации: «Как демон из книги “М. Лермонтов”, я был – один».

[27] Ерыкалова И. «Шуршит соломинка в торжественном атласе…»: Соломинка Мандельштама // Библиотечное дело. 2015. № 19 (253). С. 22. Случись автору этих публикаций добраться до рецензируемого издания, на с. 370 она наверняка найдет для себя много полезной информации. – Не так давно прогрессивная часть Интернет-сообщества единодушно осуждала обозревателя спортивной газеты, опубликовавшего статью, которая начиналась словами: «“Февраль. Достать чернил и плакать!” – эти строки Осипа Мандельштама как нельзя лучше характеризовали выступление ЦСКА в начале февраля» (Можайцев В. Не по Мандельштаму // Спорт-экспресс. 2015. 14 февр. С. 7). Думается, в данном случае для привлечения внимания читателей журналист вполне сознательно использовал провокационные функции имитации ошибки, приписав первую строку одного из самых известных пастернаковских стихотворений Мандельштаму, а вот сказать, с какой целью к близким приемам прибегают вузовские преподаватели, невозможно.

направлений и самой разной степени известности. Тем более когда безукоризненный электронный вариант книги размещен в Интернете и потому общедоступен:

https://drive.google.com/file/d/0B84zL2py7r7hZEc1N1FyUHJtVjg/view.

Негативная тональность, периодически звучащая в этом тексте, никоим образом не должна проецироваться на коллектив авторов, подготовивших рассматриваемое издание и предложивших свою модель понимания художественного мира едва ли не самого сложного для восприятия представителя русской литературы. Усилия, предпринятые ими, возможно, и не сделали поэзию Мандельштама намного ближе к читателям, но совершенно отчетливо наметили дальнейшие направления ее изучения. Все тексты его, безусловно, требуют самого подробного и тщательного, то есть профессионального комментирования в биографическом, фактографическом, историко-литературном и культурологическом аспектах[28]. Только так можно осуществить наше стремление к пониманию одного из самых глубоких и по-своему безграничных поэтических миров в литературе XX века, загадочным образом созданному Мандельштамом.

Шишига его смутил?..

[28] Пример такого синкретического описания, правда, применительно к прозе, являют собой примечания Ларисы Степановой и Георгия Левинтона к «Разговору о Данте» в последнем «академическом» издании мандельштамовских произведений: Степанова Л.Г., Левинтон Г.А. [Комментарии к: «Разговор о Данте», «Разговор о Данте. Первая редакция», «Разговор о Данте. Из черновиков»] // Мандельштам О. Полное собрание сочинений и писем: В 3 т. Том 2: Проза / Сост., подгот. текста, коммент. А.Г. Меца, коммент. Ф. Лоэста и др. – М.: Прогресс-Плеяда, 2010. С. 530–629.

Ирина ТАРАСОВА

МАЛЬДЯК: ИСТОРИЯ ОДНОГО РАССТРЕЛА

Мой отец, Тарасов Алексей Иванович, был расстрелян 13 августа 1938 года в лагере на прииске Мальдяк Магаданской области Сусуманского района. В этот день вместе с ним было расстреляно 127 человек. Это был второй приговор. По первому в 37 году он получил 5 лет лагерей.

Отец родился в 1899 году в бедной крестьянской семье пятым ребенком в селе Перекопное Ершовского района Саратовской губернии (бывш. Самарской). В 1921 году окончил Вольский сельскохозяйственный техникум, в 1927 году – Ленинградский сельхозинститут. Женился. После окончания родители работали в Сибири.

В 1936 году отец работал в Облплане г. Абакана Хакасской АО Красноярского края. С ним работал М.А. Коваленко, сосланный из Ленинграда за какие-то провинности. Коваленко арестовали после доноса редактора газеты «Советская Хакасия». Он критиковал редактора за неинтересную газету, предлагал свою помощь. В ответ – донос. Отца сначала вызывали как свидетеля, потом арестовали. НКВД «организовало» группу из 5 человек во главе с Коваленко. Были арестованы Василевский И.К. – ветврач, Канцлер В.П. – землеустроитель, Куликов В., Шишкин.

Я смотрела дело из Красноярска, присланное по моему запросу. На допросах все вопросы касались Коваленко: где встречались? о чем говорили?

Обвинили в контрреволюционной троцкистской деятельности, статья 58-10, часть 2. Тройка приговорила Коваленко – к расстрелу, остальных к 5 годам лагерей. Отец своей вины не признал. Была справка в деле от врача, где отцу предписывался легкий режим работы из-за плохого состояния здоровья. Шишкин на допросах признал свою вину и оговорил всех. Отсидев срок, он вернулся в Абакан, каялся, плакал, просил прощения у родных.

В июле 1937 года отец был этапирован на Колыму, на прииск Мальдяк.

После того как забрали отца, маму кто-то предупредил, что начали арестовывать жен, надо уезжать. Она, взяв меня и бабушку, уехала в Саратов к брату отца.

В 1956 году, по запросу мамы, прислали из Магадана документ о реабилитации и свидетельство о смерти. 13 августа 1939 года умер от абсцесса легкого.

В 1990 году, когда я запросила Магаданское КГБ о месте захоронения, так как собиралась лететь в Магадан, прислали новое свидетельство: причина смерти – расстрел 13 августа 1938 года.

В августе 1990 года мы с мужем прилетели в Магадан. В КГБ мне показали дело отца. В деле доносы от Михно и Вартанова с обвинениями в саботаже, невыполнении плана. Член саботажной группы Шестакова, Тарасов своей вины не признал. На тонкой папиросной бумаге был напечатан приговор группе из 15 человек: расстрелять. Михно, Вартанов и Шестаков тоже были расстреляны в один день с отцом.

Из Магадана мы улетели в Сусуман, из Сусумана переезд на рейсовом автобусе в Мальдяк. Там нас встретила Солоницкая Людмила Кузьминична, работник прииска, и повезла на автобусе на место расстрела, Гаранинскую сопку. Пустынная, покрытая редкой растительностью сопка. Никаких памятных знаков, крестов над этими страшными братскими могилами. Сопка названа по фамилии одного из магаданских палачей.

Людмила Кузьминична прислала мне книгу «За нами придут корабли», вышедшую в Магадане в 1999 году. Это список реабилитированных, чьи смертные приговоры приведены в исполнение на территории Магаданской области. Из этой книги я узнала, как проходило в те августовские дни «следствие» на прииске Мальдяк: помощник начальника 1-го отделения НКВД СССР Боген, командированный в декабре 1937 года в Магадан, за свои зверства в дальстроевском УНКВД будет привлечен к уголовной ответственности. Один из свидетелей по его делу А.В. Гарусов на допросе 28 апреля 1939 года показал следующее:



РСФСР

СВИДЕТЕЛЬСТВО О СМЕРТИ

ДЧ № 004566

Гр. Тараєов Алексей Иванович
умер(ла) 13 августа 1939 тысяча девятьсот тридцать девятого года
возраст 40 лет
Причина смерти Абсцесс легкого
о чём в книге записей актов гражданского состояния о смерти
1957 года марта месяца 27 числа
произведена соответствующая запись за № 152
Место смерти: город, селение
район область, край,
республика
Место регистрации: Маладан
Дата выдачи 27 марта 19 57 г.
Заведующий бюро записей актов гражданского состояния

Госзнак. 1950.

«В начале августа 1938 года я был командирован начальником РО НКВД Мельниковым на прииск Мальяк в распоряжение Богена. Боген поручил мне и группе товарищей проводить следствия, давая сроки: за 3 часа заканчивать 20 дел. Когда мы ему жаловались на непосильную работу, он приказывал бить арестованных, получать показания, что мы и делали. Боген сам показал нам пример, вызвав одного заключенного, он избил его кочергой, после чего и мы били чем придется.

10 августа приехал капитан госбезопасности Кононович с прокурором Метелевым в 2 часа ночи и к 6 утра рассмотрели более 200 дел, из которых 133–135 приговорили к вмн.

Прокурор на арестованных не смотрел и ни с кем не разговаривал».

«Председатель тройки УНКВД по ДС Павлов, видимо, поставил свою подпись позже».

В книге список – 7600 человек. Составитель считает, что будет дополнительный список – несколько сот человек.

Если еще учесть, что убитого человека записывали умершим от абсцесса легкого, то на сколько увеличится этот список?

Умершие от голода, холода, несчастного случая, застреленные при побеге или по прихоти охранника – их тысячи. Врач прииска Мальдяк Репьева Т.Д. вспоминает, что в 39 году умирало по 250 человек ежемесячно. Шаламов свидетельствует, что когда начальником лагеря на Мальдяке был некто Парамонов, ежедневно на прииске погибало до 30 человек. Двух недель здесь было достаточно, чтобы человек превратился в доходягу.

Вот в таком страшном месте мы были.

Жители Мальдяка продолжают добывать золото. Иногда бульдозер выворачивает кости несчастных мучеников.

Я очень благодарна Л. К. Солоницкой за внимание, доброту, участие. Мы с ней до сих пор переписываемся. С сотрудниками она несколько лет подряд ездила с цветами 13 августа на сопку, к тому дереву, где мы оставили свои цветы.



№ 3

СВИДЕТЕЛЬСТВО О СМЕРТИ

Гражданин(ка) Тараєов Алексей Иванович
умер(ла) 13 августа тысяча девятьсот тридцать девятого года
в возрасте 40 лет, о чем в книге регистрации актов о смерти
19 57 года 03 месяца 27 числа
произведена запись за № 152
Причина смерти Абсцесс легкого
Место смерти: город, селение Маладан
район
область, край Дальстрой
республика
Место регистрации Магаданское городское
местонахождение органа ЗАГСа
Дата выдачи 27 10 19 90 г.
Заведующий отделом (бюро) записи актов гражданского состояния
I-ФК № 304809

МТ Госзнака. 1956.

Редакция журнала:

Анна Сафронова (гл. редактор, проза): safronova-volga21@yandex.ru
Алексей Александров (зам. гл. редактора, поэзия, критика): alexandrov-volga21@yandex.ru
Алексей Голицын (документальные исследования): agolitzin@yandex.ru
Олег Рогов (архивные публикации, критика): rgv@mail.ru
Алексей Слаповский (проза)

Персональный сайт журнала: http://volga-magazine.ru/

Электронная версия журнала:
http://magazines.russ.ru/volga/

Подписано в печать 12 февраля 2018 г.
Журнал отпечатан в типографии
ИП Сергеев

При перепечатке ссылка на «Волгу» обязательна.